Новый Журнал



THE NEW REVIEW

нью-морк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1956.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 223 West 105th St., New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 898 Memorial Dr., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 223 West 105th Street, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 898 Memorial Drive, Cambridge, Mass.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub,

920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stock-holders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semi-

weekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 5 day of September, 1956. Irving Light, Notary Public, State of New York, No. 31-2362800, Qualified in New York County, Com., Expires March 30, 1957.

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатель М. ЦЕТЛИН

Пятнадцатый год издания

Кн. XLVI 1956

Редактор М. М. КАРПОВИ**Ч** Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, September 1956.
Quarterly, No. 46.
223 West 105th St. New York 25, N. Y.
Publisher: New Review, Inc.
Subscription Price \$7. — for one year.
Second Class Mail Privileges authorized
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>М. Иванников</i> — Заговор	5
Вл. Корвин-Пиотровский — Золотой песок (поэма)	25
И. К-расуский — Утренница	35
СТИХИ:	
Н. Берберова, В. Набоков-Сирин, А. Присманова, Л. Алек- сеева, А. Гингер	40
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
В. Александрова — Сов. литература после ХХ съезда КПСС	50
Ю. Иваск — Батюшков	68
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
Н. Валентинов — Встречи с Андреем Белым	84
А. Гумилева — Николай Степанович Гумилев	107
М. Шнееров — Воспоминания об Азефе	127
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
Д. Анин — Проблема «дебольшевизации»	140 157
С. Зеньковский — Россия и тюрки	1 7 2
А. Боголепов — Государственная Дума	199
М. Карпович — Комментарии. О воспоминаниях Ф. А. Степуна	
К семидесятилетию М. А. Алданова	238
БИБЛИОГРАФИЯ:	
М. Поливанов — По поводу книги А. В. Карташева «Воссоз-	
дание Святой Руси». Ю. Елагин — Sergei Bertensson and Jay	
Leyda. Sergei Rachmaninoff. М. Гофман — Баронесса Л. Вран-	
гель. Семья Раевских. М. Карпович — Глеб Струве. Русская	
литература в изгнании. Н. Ульянов — Наталия Кодрянская.	
Глобусный человечек. — Письмо в редакцию	
ПРИЛОЖЕНИЕ: Неизданные письма А. И. Герцена под редак-	
цией Л. Л. Домгера	1-48

Printed by RAUSEN BROS. 142 E. 32nd Street New York 16, N.Y.



3 A F O B O P

Хозяин подвала — усач туземец и носач — сахарно хрустя отменной кипенной крепости зубами, пообещал нам: «не заплатите к первому, выгоню» — и опрометью бросился из дверей вон, чтобы в нестерпимо южном сгоряча кого-нибудь не зарезать.

Мы заметались; но от неминучего срока нас отделял целый длинный предлинный — ростом в тридцать дней — месяц, и я без толку, с ленцой, кое-где кое-как потолкавшись, вяло кое-кого кое-как поспрошав, нет ли чего подходящего — подходящего, слава Богу, ничего не оказалось — снова повалился на койку: волноваться заранее у меня не хватало благоразумия. Кенарев, поступивший было на постройку, дня два поносил кирпичи — и опомнился: мое спокойствие показалось ему подозрительным — я повидимому на что-то рассчитывал. ${\cal H}$ он, чтобы не остаться в дураках, взял расчет и тоже лег; в насупленной, смугленькой, немудрящей — губки в выпяченный кружок — мордашке его таилась угрюменькая, гудящая про себя хитреца: не проведете. Затем к нам, храня брезгливое в нос молчание, присоединился и князь. И только Макеев, кляча костлявой резвости, подагрический краснолицый старик, с выкаченными от давнего — с 1919 года — ужаса глазами, бегал попрежнему, и добегавшись до знакомства с каким-то русским инженером, истязал теперь и его и себя долгими, опустошающими душу переговорами о подряде на покраску цистерн.

Я знал подробности этого ужасного поединка: инженер, свирепый торопыга и делец, всхрапывая от нетерпения, чернил страницы блоюнота кабалистическими выкладками, и Макеев, прикидываясь тоже дошлым и в меру пронырливым предпринимателем, как мог поддерживал видимость очень взросло-

го разговора — полуплутовски хмыкал, полуподдакивал, полуотнекивался, и с трепетным карандашиком и сам осторожно совался в книжечку. По вечерам, в подвале, мы оба выпученными глазами всматривались в заклятые тайны блокнотных листочков — и оба ничего не понимали: волшебного ключика к кабалистическим подвохам у нас, хоть плачь, не было. Инженер же между тем сангвинически кипел, напирал, требовал ответа, и уходить вглухую от его захватов становилось всё труднее: несостоятельность чрезмерного хитрячества Макеева могла обнажиться при каждом новом свидании. И один раз он едва уже не погиб — ляпнул что-то не то, хотел поправиться, и с перепугу и в растерянности ляпнул вторично что-то совсем невообразимое. Пучась и погогатывая, он летел вместе с занемевшим карандашиком в пропасть, — в ушах у него свистало как у парашютиста; и только яростная торопливость врага, заоравшего на него полым брудастым голосом, спасла его от гибели — идиотский лепет его пресекся, и погодя кое-как удалось удавить смех. Он уцелел, остался неразгаданным.

Но тянуть так до бесконечности было, конечно, нельзя, — инженер совсем тронулся: «Да или нет, да или нет» — орал он и вдруг, с разгона, с раздутыми в упор ноздрями умолкал, и только внутри его, в дородном торсе, поклокатывало: тоска, нетерпение, ярость. И это было тоже очень страшию — глядеть на него такого поклокатывающего: Макеев хватался за рот и попроворнее, похитрее уходил. И мы, и теперь уже солидною лисичкой с носом по ветру увивающийся возле нас Кенарев, снова и снова пытались разгадать выкладки, добраться до их недосягаемого смысла, и так, с тоскою и опаскою, однажды вечером, выпученными глазами блуждая по блокноту, набрели, на чертежик почти совпадающий с расплывчатыми контурами нашего вялого представления о цистернах как о чем-то железнодорожно-мазутно-нефтяном: какой-то продолговатый снарядик с выгнутыми краями. На верхней плоскости его торчала обрубленная, без головы, шея — туда-то, по всей вероятности, и полагалось лить разные железнодорожные

жидкости. Макеев затрясся, загоготал гусем — кое-что всётаки уяснилось. Посмеялся солидненько и Кенарев.

И уяснилось еще вот что: такие обезглавленные чудовища, в количестве пяти штук, инженер, подстрочно рыча и негодуя по всем пунктам коварнейшего договора, предлагал Макееву прогрунтовать и выкрасить серою краской в двухнедельный срок; в случае опоздания или небрежения при исполнении заказа, подрядчику — понимай, Макееву — угрожала кара: неустойка. Погодя, со страхом, с грехом пополам, мы полуразобрались и в параграфе насчет неустойки — платить бы пришлось непостижимо воображению и счету много; но дальше — дальше клубилась совершеннейшая неразбериха каких-то кубатур, процентов, амортизаций, — Макеев с гоготом, обеими руками только всплескивал по большой, розово лысой, навеки пучеглазой, навеки изумленной, навеки испуганной голове. Кенарев с гудящею солидностью разводил руками.

И кто знает, когда бы и как кончились все эти беспрестанные и непроглядные — мы уже совсем изнемогли — муки, если бы нашими перешептываниями и возней с бумагами не полюбопытствовал свысока и мимоходом — не оторвавшись от забот поважнее — князь. Это он почти разгадал и обуздал тайны скрытного блокнота (почти, потому что за спинами присмиревших и как будто бы разоблаченных выкладок мерцали призраки иных, горших опасностей, никаким арифметикам неподвластные, — да и так ли уже был силен князь в арифметике?); он же оживившимся в его мужественных пальцах карандашом набросал план работы, смету первых расходов. Он говорил резко, малопонятно, слишком убежденно, слегка шепелявя из кокетства, из самолюбивого пренебрежения к Макееву, к Кенареву, ко мне, ко всем нам взятым вместе — и по-моему сам не понимал ни черта из того, что говорил. Макеев глядел в его темное, сухое, храбро вислоносое, с угольно черными, сплошными — из-под самого пробора бровями, не знающее страха и сомнений лицо, как зачарованный.

Кончив малопонятно объяснять, князь сказал в уголок рта, совсем шепеляво, с уничижительной гундосинкой:

— Ежели вам угодно знать мое мнение, милостивый государь мой... — он любил подзадаться, озадачить, заранее осадить собеседника, и заранее огородиться от него изысканным хамством и вельможной вязью старинной барской речи, — «то оно таково: работу эту нужно брать, не раздумывая, без промедления...».

Макеев всё еще глядел на него, распустив губы.

- Што-с-с? не спеша и надменнейше прищурился тогда князь, и Макеев дрогнул, подобрал губы, и выпучась до слез загоготал: князя он боялся, пожалуй, больше даже, чем инженера. Делать было нечего работу приходилось брать.
- Брать, брать советовал и Кенарев, и мутнел взором совсем, как князь: под барственно полуопущенными веками.

* * *

Позднею ночью, с особливым вниманием прислушиваясь к вещему бормотанию снов, Макеев не приметил в их сокровенной сущности ничего угрожающего; наоборот: общий стиль видений был несомненно благоприятный, хотя и несколько запутанный. Поутру, на трезвом дневном свете, он уже начисто приценился к ним и окончательно уверился: всё, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, благополучно. Я приметил, как он в уголку пытал судьбу посредством верчения пальцев — и слава Богу, слава Богу, — в тот день гаданье удалось ему на полный балл: из трех раз пальцы без всякой хитрости сошлись трижды. Вопрос был такой: получу ли аванс? — и пальцы ноготь в ноготь ответили: да, да, да... Мы осторожно и с удовлетворением переглянулись. Мы были приятелями, и уже многое из таинственной науки предвосхищения было мне известно.

Я проводил его до ворот, мы враскачку и троекратно расцеловались; он с сочным гоготом всхлипнул, оторвался от меня, и подагрическим раскорякой, падая всем телом на правую пятку, которая повидимому была понадежнее левой, ринулся

вниз по улице. Я же не спеша вернулся в подвальчик — валяться на койке, курить, сочинять, подглядывать.

День прошел, как обычно: юнязь читал «Сионские протоколы», и пожимал прямыми, давно беспогонными плечами теперь ему было всё до ужаса ясно: и почему погибла Россия, и почему нам так во всем не везет. Кенарев, вкусно и полно посвистывая собранными в выпяченный кружок губками, долго точил бритву и наводил ее до сверхъестественной остроты: волосок, приложенный к ее разящему лезвию, преламывался надвое при малейшем дуновении. Тогда сдержанно довольный, под округло матовый посвист, поручик осторожно откладывал бритву, и еще некоторое время смотрел на нее: не поточить ли еще? — и, случалось, точил еще. С такою же анафемской тщательностью, до глянца в скулах, он брился, палец за пальцем перемывал руки и ноги, стежок к стежку латал носки и штаны — он умел и любил заполнять бездеятельные часы кропотливым уютом мелких забот. Во всем же прочем человек он был вовсе не медлительный — настырный и бойкий.

Так он уютненько копался и прихорашивался, а князь читал «Сионские протоколы» — до полудня. Перед обедом, как всегда, поспорили кому варить картофель? — и варить, как всегда, пришлось мне: князю было совсем не до еды, а Кенарев был не такой дурак, чтобы трудиться на даровщинку и для других. Прикинувшись скорбно и тяжко, не поднять век, от всего отрешенным, он так, в тумане рассеянности, случайно прилег на кровать, так же совсем случайно, в задумчивости, заснул — и проснулся как ни в чем не бывало и как раз вовремя: когда картошка поспела.

Князь молча, в хмуром беспамятстве, досапывая, доедая что-то, кажется, картошку, тоже немного пришел в себя.

— Вы не можете себе представить, господа, — с грустной и брезгливой вдаль усмешкой сказал он, — до какой степени всё окутано цепями мирового масонского заговора...

И Кенарев, вздуваясь от гудящей солидности, тотчас же согласился с ним.

— Это и меня волнует, князь, — очень осторожно, чтобы

не оступиться в приличном выговоре, хороня под языком некий стеснительный камешек, сказал он, сказал и опять загудел про себя и вздулся: не очень ли забрехался?

Но князя снова обволокло надменной ко всему бесчувственностью, он снова склонился к книге — и Кенарев, уже без всякой опаски, свойски, подлою одесскою, с суженными шипящими, скорописью зачастил всякое: о России, о масонах и вообще. Кое-что, уж ежели разговор зашел о серьезном, мог сказать и он. Будьте благонадежны!

Засим, как всегда, легли отдохнуть и спали до сумерек.

Макеев вернулся совсем к вечеру, растерянный, озирающийся, с шоколадными заусеницами на губах; правою рукою он держался за ляжку — там, в кармане брюк, норовил каждую минуту увильнуть из-под его попечительной ладони и потеряться только что полученный им и не осмысленный еще до последней очевидности аванс (минус одна рассыпавшаяся в металлическую мелочь — после двух плиток шоколада кредитка). Кенарев, мгновенно и безошибочно оживившийся от возможности пожрать и выпить на чужой счет, тотчас же потребовал магарыча — требовал он и орал с такою полнокровною, хлещущею через глотку убежденностью, что если бы Макеев не дал денег на угощение, обиделся бы не только он, но и я, и князь, до этого о магарыче и не помышлявшие. И Макеев, с улыбкою, на которую невозможно было смотреть, полез в карман, вынул пачку кредиток, отколупнул одну («еще» — в горловой повелительной ярости заорал Кенарев), отколупнул еще одну (опять заорал Кенарев) и еще одну, всё с тою же невозможною улыбкою. Кенарев одним мгновенным, ниспадающим от пробора к галстуху, от галстуха к пиджаку, от пиджака к брюкам, и наконец к жиг-жиг щеткой по сапогам, прихорашивающимся извивом — и причесался и всё, что надо, поддренул и где надо одернулся, и смахнул пыль, и бесовски бодро бросился за покупками. Я, не мешкая, всполоснул, расставил на столе стаканчики. Князь с достоинством очнулся от забытия. Выпить любили все.

Пили мы много, жадно, бестолково, и с голодухи напились

в полчаса — первые натужные здравицы, первые колом чарочки вмиг затянуло хмелем, дымом, размашистой, кто во что горазд, многоглаголивой неразберихой: Кенарев частил свои невозможные всё-таки, даже на пьяное ухо, шуточки-прибауточки — сначала со стеснительным камешком под языком, а потом без всякого стеснения; что-то орал я, квохтал Макеев, орал, чего-то не уберегший в себе, захмелевший и подобревший князь. Неожиданно — он недавно пристал к нам, и я еще по-настоящему до него не добрался — он оказался рубахой парнем. Брезгливо надменная, в висячий нос, с полуприкрытыми веками и шепелявинкой, фанаберия его после второй бутылки совсем рухнула: «Чаррочка моя, серребряная»... судорожно, четырехугольным ртом, со вздувшейся на (невозможном всё-таки) лбу бирюзовой ижицей, хмуро стыдясь улыбающимися глазами, ревел он вместе с нами — как будто и не презирал нас никогда, как будто бы никогда не щурился и не шепелявил.

Пили за новое предприятие, за здоровье Макеева, за здоровье всех, кому чару пить, поименно и опять за здоровье Макеева, отца и предводителя. Кенарев, щеголяя знанием обычаев офицерского бражничания, поднес ему чарочку по походному — на ладони; вобрав подбородки, с ижицами на лбу, мы зачастили рычаще: «Пей до дна, пей до дна»... Макеев — податься было некуда — выпил и убежал в угол перхать и кашлять. Он был не питок. Кенарев орал ему по-одесски: «Папашя, не бойсь»...

Потом мы целовали его в губы, большие, не по годам красные и даже спьяна противные губы старого сластены и бабника; и он с влажной и торопливой охотой отвечал на наши поцелуи; а потом — шквалом налетела ссора: безоглядно во хмелю разоткровенничавшись, Кенарев начал мелко и гадко колобродить — пихать квохчущего старика в бок, стряхивать ему на лысину папиросный пепел. Личико у него стало мычащим и курносым (хотя он и помалкивал и курносым сроду не был). Князь, что-то снова собрав в себе, глядел на него сумрачно, с обвисшим в щеках отвращением, совсем как трезвый

- будто и не пел перед этим о чарочке серебряной. Кенарев же всё пихал и сыпал. Тогда князь дернул шепелявым уголком рта: «а-тставить!» и Кенарев пихнул еще раз и перестал, и обиделся.
- Как офицер, начал он, гудя солидностью и слезною обидой, я не могу позволить...

Князь встал, его мотнуло. Он посопел в висячий нос.

Потом совсем сквозь зубы — чтобы не повыпадали и не перепутались буквы во рту — сказал по разделениям, прерывисто, с роздыхом:

— Господин. Кенарев. Предлагаю. Вам. Стреляться. Через. Платок. По-гвардейски. Сейчас.

Макеев и я ахнули, «позвольте» — едва прогудел Кенарев; но князя опять мотнуло, шаткая, на скорую и нетрезвую руку кое-как восстановленная им внутренняя его крепость опять рухнула, он едва нашел задом стул и, не чувствуя ни стула, ни зада, весь затрясся, рассыпался в кхе-кхе-кхекающем полусмехе-полукашле хлебнувшего через край не очень молодого уже человека — курильщика и запивохи, и почему-то, показалось мне, добряка.

Пирушка дымясь заколыхалась к рассвету.

* * *

На другой день никто из нас на работу, конечно, не пошел: без просыпу и наповал, как пришлось — ничком, навзничь, калачиком — убитые князь, Кенарев и я спали до двенадцати; Макеев осторожно тряс нас за плечи, шептал: — «Вы же обещали, господа, обещали» — и воздев кверху отчаянные руки, ужасался: на подушках и возле подушек посапывали полунаши-получужие лица, раззявленные, потолстевшие, сальные, в багрянце похмельного жара. Спали мы и после обеда, начерно и невесело опохмелившись недопитой накануне водкой, и вечером опять, немного веселее, опохмелились, и опять всю ночь спали. И только на третий день, всё еще припухшие и сиплые, стыдясь и ненавидя друг друга, как после преступления, мы отправились на поиски цистерн куда-то за город, на берег реки: точно и сам Макеев не знал, где они находятся. Он раскорякой, вприскочку послешал впереди и всё оглядывался — идем ли? При повороте длинный, дрянной, слишком розово плотский профиль его, старого, по мелочам, грешника, обезображивался бодряческой улыбкой, и хоботком, как можно симпатичнее, удлинялся нос; иногда, поджидая нас, он останавливался — тогда подрыгивала его нетерпячая коленка. Позади, всеми четырьмя колесами вкривь, вкось, врозь тарахтела по булыжникам повозка; на дне ее катались потряхивались банки с красками и еще какие-то пустые банки, ведра, кисти и всякие другие красильные принадлежности, которые по своему разумению, свысока и без колебаний накупил князь; на козлах бранился возница — далеко, мол, и невыгодно.

И как всегда во всех наших делах и предприятиях, нам фатально не везло. Прежде всего против нас ополчилась погода: в чреду тихих, теплых, волооко синеоких дней, которые оплывая парною теплынью тянулись от самой Пасхи, именно сегодня нужно было затесаться подслеповатому куценькому недоноску, насквозь промокшему, насквозь продрогшему, по уши в тучах. С российскою песенною врастяжку тоскою сеял не осенний (совсем как осенний) мелкий дождичек, почти совсем, как бывало у нас на окраинах, попахивало самодельным — не угольно городским — дымком бедных жилищ; где-то в неведомой и ненавистной мне с детства кузнице тетенькал полуторного звука — с альтово металлической присказкой молоток и доселе не разоблаченного мною и ненавистного мне кузнеца уныленького захолустного несчастья, и уж совсем по-нашему, по-российски, веерообразно и вполуповалку, чорт-е куда и чорт-е как, тянулись, полувалились мокрые заборы. Дорога так и эдак — иногда и вспять? — виляла между какими-то садиками, задворками, сараями, нужниками, и с нею пришлось помучаться — который раз повторялась чепуха с поворотами и прохожими: повороты заманивали в тупик, прохожие лгали. Макеев грозил кулаками тупикам, в спину прохожим, низкому небу. Мы шли, горбились, молчали.

Но и это было еще не всё: погодя умаялся, задымился

на мучительном подъеме, потерял подкову конь; он пристал на бугорке, раздуваясь, кидая из ноздрей паром, как на сказочной обложке — раструбами; и возница, такой же, как и хозяин подвала усач туземец и носач, сорвавшись с телеги, пружинно до самых колен приседал, пружинно сам из себя, как уколотый, во весь рост взвивался, грозил зарезать, зарезаться, выбросить груз на мостовую, и мы его едва уговорили, едва утихомирили, едва охлопали по плечам. (В суматохе, под шумок, прошелся дождь погуще). И мы опять брели, теперь уже по затуманившемуся берегу слюдяной реки, по мокрым коричневым голышам, которые дурацки, как на зубах, хрустели под ногами, и с затаенным, исподлобья, нетерпением ожидали препятствия воистину возмутительного, чтобы в последней, докипевшей доверху, до кадыка ярости, разораться, может быть, даже разрыдаться, послать всё к чортовой матери — и повернуть обратно домой, в давно обжитый подвальчик — валяться на кровати, думать о том о сем, надеяться, что вскоре пофартит по-настоящему.

Но тут — когда к кадыку совсем сладко и цельно подкатило — показались и цистерны: земное, многократно увеличенное, рыже ражее воплощение бесплотного чертежика из блокнота (и сновидческих набросков). Поросшие от непогод ржавой шерсткой, они животами кверху лежали в каких-то деревянных яслях-козлах возле самой воды. Пахло от них жестяной окисью, и дивиться им приходилось, завалив голову навзничь — столь громоздки и огромны вблизи были они. Такого мы всё-таки не ожидали: князь, Кенарев и я сели на корточки под крутым жестяным боком чудовища, затем каждый порознь из своего запаса, не поделившись даже дружелюбно сообщнической спичкой, закурили; и все порознь и по-разному — князь сквозь зубы, Кенарев вульгарной пришепетывающей скорописью, я интеллигентски истерически — подумали разноголосым хором: «Скверрно» — «пашшиво» — «ужас, ужас». «Пропал, пропал» — втайне орал в то время про себя Макеев — и бодрячески заискивающе потоптавшись возле нас. гуляющей походкой увильнул за противоположный бок ци-

стерны погадать: как и что. Вскоре он вернулся и подсел ко мне — пахнуло сладковатой шерстяной затхлостью чужого намокшего пальто. Я скосил глаза в его сторону: он, выпучась, уже ждал вопроса, понимания, сочувствия. Я поднял брови, и он исподтишка, из подмышки левой руки просунул наружу за спину три растопыренных пальца правой и ими же от них отмахнулся, что обозначало: из трех раз пальцы не сошлись ни разу. Я выпучился, ужаснулся. «По-нят-но» — отчетливо и по слогам сказал вдруг князь, и мы кинулись взорами в разные стороны: неужто приметил? Погодя Макеев полувопросительно, одним только завившимся в хоботок носом, полузагляжул ему в лицо — но князь, сидя на корточках с надменною и вызывающей в белесую даль улыбкою, был от нас далеко и недоступен для самого пронырливого любопытства. И Макеев так и не посмел обратиться к нему — полуподался назад и осторожненько перепархивающими перстами прошелся у себя под шляпой по лбу — князюшка то наш того. «Конечно» поддакнул я взглядом — но что же делать? И Макеев с сытым сокрушением пособолезновал — вот беда то! И вздулся, как Кенарев, и, показалось мне, даже и погудел.

* * *

Это были омезрительные дни: со сроком платежа за квартиру совпадал и другой ужасный срок: к первому же по некому дьявольскому замыслу (может быть, князь был и прав?) предполагались и смотрины выкрашенным цистернам — так с повелительной суховатой легкостью безупречных периодов требовал договор, параграф такой-то. Два параграфа пониже и покороче, но с тою же недоброю легкостью приговаривали виновника, не справившегося с заданием, к разным карам: предупреждение, неустойка и наконец полное расторжение договора. Последние Макеев переживал особливо вопиюще потрясающе: рык, залихватский треск надвое разорванного, а, может быть, даже четвертованного контракта, опять рык, бешено гопачное впритоп топотанье ногами — и погодя мученический венец всех незадач: долговая тюрьма. На суде — он уже по-

поделился со мной вязким, хрипловатым, мокрыми паутинками, липнущим к шоколадному нёбу шопотом — он решил напирать главным образом на свою невменяемость: оглушительный выстрел над ухом — давняя подвальная шуточка разрезвившихся кожаных человеков — выстрел, после которого всё на свете из ладного и крепкого воедино — разлетелось в мелкие, несоединимые, сколь их ни сдавливай в висках, дребезги, выстрел этот не мог не тронуть самых жестоковыйных присяжных. Но приговор их менялся каждый день: иногда они благостно ограничивались и удовлетворялись условным осуждением, больше похожим на почти родственное предупреждение, нежели на юридический вердикт, иногда же, очерствев душою в присяжно заседательском законничаный, полновесно закатывали годика два-три отсидки — степень наказания зависела от погоды, от настроения, в котором пребывали мы, шаркая по бокам цистерны наждачными бумажками и кистями, от последнего разговора с Буховецким (так звали инженера). Разговоры же с ним, по мере приближения к первому числу, становились всё короче, всё опаснее, с нехорошими вибрациями в голосе: ужасный толстяк загодя подходил гневом. На осторожнейшую с удлинением хоботка просьбицу в рассуждении, так сказать, нового небольшого авансика — у инженера заклокотало в торсе и он глянул на Макеева так, что тот загоготал, с гоготом вышел из бюро в переднюю, и раза два гоготнул еще на улице, хотя и придерживал рот рукою.

Надежд на благоприятный исход борьбы с ним было мало. Проклятые цистерны никак нам не давались: за неделю мы успели вычистить и выкрасить только две штуки, да и то не до конца — позабыли вычистить их и выкрасить внутри. В гулкие и сырые недра чудовищ, где неудержимо, как в бане, пелось глубоким басом, и песне еще глубже, еще басовее вторило неотступное забубенное эхо, лазали мы поочереди: работа там почиталась потруднее, вроде водолазной. По-настоящему работали только двое — Кенарев и я, и Кенарев лучше меня: и пять классов гимназии, которые он в свое время дурак дураком отсидел, и недолгое и, вероятно, не очень до-

блестное его офицерство, которым он гудяще гордился, были ошибочными путями в его жизни. Через несколько дней бодрый и неприкаянный дух его с облегчением вселился в оболочку мастерового — она пришлась ему как раз впору: с головы до пят. И я и князь были по сравнению с ним совершеннейшими недотёпами: в то время, как мы, плюясь кровяными стустками ржавчины, чихали над очисткой какого-нибудь ничтожного метра, он точными и спорыми движениями очищал вдвое больше и лучше, и оставался при этом целехоньким: пыльная чихательная нечисть обходила его осторожную, себе на уме, по ветру мордашку стороной. И красил он тоже очень хорошо — в меру сочащаяся кисть его охаживала бока цистерны с умной изящной легкостью. Он был почти мил в своем бумажном набекрень колпачке, с собранными в посвистывающий кружок губами, сметливый, ладный, расчетливо вдохновенный. На него-то и была теперь вся наша надежда. На князя мы больше не надеялись — он провалился: смаху, с такою надменною категоричностью сделанные им покупки никуда не годились: краска долго не сохла, отекала бородавками, из кистей лез волос. Всё это, впрочем, нисколько его не смущало — появились у него какие-то иные, высокие тревоги. На работу он являлся позже всех, сдержанно чем-то озабоченный, со сплошными бровями под кепкой, и столь же озабоченный, со сплошными бровями, раздираясь в широком фрунтовом шаге российской императорской пехоты, не дождавшись шабаша, уходил. Подступиться к нему нечего было и думать: «штосс?» — надменнейше бы прищурился он, и, может быть, дал бы и в морду — с него могло статься. И Кенарев, осторожно гудя от возмущения, ябедничал на него Макееву с великою осмотрительностью. И я — вечный и пронырливый соглядатай чужих страстей — подсмотрел, как Макеев, преисполнясь безумием сладчайшего, почти буховецкого гнева, орал полным, сколько в грудь входило, голосом, топал ногами, грозил кулаком и, кажется, раза два ткнул им в ненавистное лицо нерадивца, задавалки и мучителя — всё это, конечно, в распаленном своем воображении, с оглядкой, шепотом, за самою дальнею цистерною, чтобы упаси Бог никто, а особливо князь, не приметил. Потопав, наоравшись до надсада в стиснутой глотке, он горюном присаживался на прибрежный камень и закусывал тоже с оглядкой — чтобы не попросили, шеколадкой.

...Как-то в середине недели князь на работу не явился вообще, — вечером за ужином после одной рассеянной картошки он сказал, форся шепелявым в пол рта спокойствием:

— Господа, мои опасения вполне оправдались: Буховецкий, как я и предполагал, — масон. Небольшой степени, но влиятельный...

* * *

Некогда совершенно, казалось бы, неистощимый месяц, грузнея двухзначными цифрами с каждым календарным листком, с каждым не передожнуть торопливым — в пыли, в поту, с ниспадающими на лоб волосами — днем приближался между тем к последней субботе, скинуть с которой что-нибудь на после, на завтра, на как-нибудь успеется потом, не было уже никакой возможности — всё скопилось в ней: и посещение инженера и недокрашенные цистерны и плата за квартиру. И я, а думается мне и Макеев, и князь, а иногда при всех своих удачах и увлечениях красильными подвигами даже и Кенарев, все, с дурным нетерпением бесповоротно осужденных ждали конца: лишь бы поскорее.

Относительный житейский лад в подвальчике был давно нарушен: Кенарев походя пакостил князю, так очевидно перед всеми до отрезвления напугавшему его тогда на пирушке; князь опять из-под полуопущенных век едва замечал Макеева и совсем не замечал Кенарева, который всё-таки обскакал его на первенстве в деле; и поручик и князь оба ни в грош не ставили Макеева, Макеев ненавидел и одного и другого: Кенарева за хамство, князя за фанаберию и за ужасные вести (будто страхов и без того было мало!) о масонах, и обоих боялся. В перекрестной общенеприязни уцелел только я: я был малозаметен, ни на что не рассчитывал, никому не мешал и, особенно ни к кому не подольщаясь, потрафил каждому. Я с го-

товностью разделял задушевную трапезу, которой, случалось, потчевал меня Кенарев, волооко исходя воспоминаниями о некой Нюсичке, по всей вероятности вполне подстать ему дрянце, тяжко однако же его разочаровавшей: после одного ночного исступленно задыхающегося свидания в очаровательно подлунном городском саду, измятый, гудяще обиженный и недоумевающий поручик убедился в том, что она, увы, не была девушкой. А спустя еще несколько дней он убедился кое в чем похуже, — ему пришлось обратиться к врачу. На том, собственно, и кончалась вся эта любовно венерологическая история — Кенарев вскоре из Одессы уехал и о Нюсичке никогда больше не слыхал, и о чем, казалось бы вспоминать; но он с удивительной бережливостью в подробностях постоянно возвращался к ней, этой истории: она была его золотым фондом. Он очень, пожалуй, больше даже, чем офицерским чином, чванился своим тогдашним доверчивым простофильством, своим несомненным над кем-то — хоть и над Нюсичкой — превосходством, - и доверчивостью и превосходством в его жизни единственными и неповторимыми (обычно-то надувал он, и приз безгрешного и бесприбыльного превосходства доставался другим: им объегоренным). Одним словом, ему хотелось покрасоваться и перед собою и передо мною всем тем, что у него было самого наилучшего, и я, как мог, споспешествовал ему в этом — бранил Нюсичку, соболезновал ему, гудяще скорбел вместе с ним. И расходились мы очень довольные друг другом, в обоюдной прибыли. Несколько по иному — а в сущности так же нехитро — столковался я с князем. Князю теребить себя лирическими отступлениями было недосуг; единственное, что занимало его, занимало до сомнамбулического полузабытья — это масонские козни; и я с тою же готовностью на благоговейных на ципочках следовал за ним, когда он надменно и снисходительно прищурясь, по ступенькам таинственности сводил меня, бывало, долу в декоративный, подергивающийся от света семисвечников полумрак сионских лож, трепетный полумрак — было в котором и что-то древне библейское и средневеково фальшивомонетческое и извечно заговорщицкое. Ладил я, в общем, и с князем. О Макееве же и говорить не приходилось: его сны, его тревоги, его страхи уже давно стали моими снами, моими тревогами, моими страхами.

Он каждую ночь присматривался к пестреньким и, как ни прикидывай, скверным со всех сторон кошмарчикам, каждое утро с унылой злостью гадал на пальцах, и пальцы, осторожно покрученные под одеялом, как ни хитри, не сходились вещали одно и то же: «Быть скверной неожиданности, быть скверной неожиданности». И скверные неожиданности, покорные сигналам из сумеречного мира предвосхищений, возникали на дневном свету одна за другой: в среду у нас украли целую банку белил («по-нят-но», сказал князь); в четверг какой-то прохожий ночной подлец на свеже выкрашенном боку четвертой, предпоследней по счету цистерны начертал саженно-заборную непристойность («старо, старо», пробормотал князь); а в пятницу хлынул весенний непроглядный дождь и девственная кожа вновь отлакированного чудовища покрылась водянистыми нарывами. Конечно, работу пришлось делать сызнова — нарывы содрали наждачною бумагою, и когда сквозь покраску на жести проступила суриковая кровь, Макеев и ужаснулся и восхитился невольно: покрытая ранами и язвами цистерна была именно то — в земной огрубленной достоверности — видение, которое пестренько мерещилось ему в вязкой мгле сна накануне, и о котором мы только что утром по дороге сюда шептались — именно такое: ободранное, ало сочащееся — полнее, ярче, увереннее, чем утром, вспоминал теперь Макеев.

Но уж воистину пророчески устрашающим был его сон последний: с пятницы на субботу. Зловещая значительность кошмара усугублялась участием в нем Буховецкого, участием вне всякого сомнения недобрым, но неуловимым: при пробуждении память о нем затягивало непроглядно и вглухую. Досадуя, перекурив, Макеев раза три погружался в сновидческую глубь — и просыпался ни с чем, с какою-то кошмарною мелочью, разбираться в которой не стоило труда. На рассвете ему,

кажется, повезло, попалось что-то очень крупное, главное, вероятно Буховецкий, и он почти уже всплыл к пробуждению с добычею, и всплыл бы наверное, если бы не в меру ретивого к работе Кенарева не дернула нелегкая под руку толкнуть, разбудить его — он всхрапнул, дернулся и, не уличенный им до конца улов, воспользовавшись его внезапным спросонья замешательством, ушел в глубину и покрылся там тиною непроглядного, хоть плачь, забвенья. «С добрым утречком» — бодренько, отсырелым за ночь баском частил между тем Кенарев — «пора, пора, седьмой час»... И Макеев едва не плюнул в него с досады. «Так помешать, так помешать» — плакался он мне немного погодя по дороге к реке, подагрически тыркаясь по булыжникам, норовя упасть пяткой на камень попригляднее — «Но я уверен, я совершенно уверен, — выпученные глаза его страждуще и ошалело голубели в старом непроспавшемся лице, — что это был он»...

* * *

Последнюю, пятую цистерну мы докрашивали уже под вечер: Кенарев глухо гремел сапогами, гудел про Стеньку Разина и далекой иволгой посвистывал внутри снаряда; я кое-как красил наверху; внизу, из небрежного и надменного далека обычной своей сомнамбулической от всего отчужденности, кое-как, неряшливо шлепал кистью князь. Он не спешил, не волновался — спешить было некуда, надеяться было не на что: все масонские штучки были ему давно, доподлинно и наперед известны. И Макеев, истязаемый его мужественной и зрячей убежденностью в их общей неминуемой сопогибели, его невыносимой медлительностью, его недосягаемостью для гнева осторожно из-за угла самой дальней цистерны тряс кулаками, трясся сам, и то и дело бегал в кусты. Там, ну, погадав, скажем, на пальцах, он поспешал к нам, и из последних сил ужасно улыбаясь, удлинняя нос и лебезя, умолял нас поторопиться, поторопиться, и опять бросался в кусты, и опять возвращался; и его мерзко улыбчатая, носато пронырливая пристаючесть была столь невыносима, столь мучительна, что и я, и князь, стиснув зубы, и на самом деле в конце концов заторопились — зашлепали кистями наперебой: лишь бы поскорее, лишь бы поскорее. Но докрасить цистерну нам так и не довелось — Макеев вдруг загоготал, высоко и тряско, как в театре, заломил руки и выпучился на закат. Мы оглянулись: с холма, за которым пылало огромное в два обхвата солнце, сверкая и пылясь, по направлению к нам дьявольски быстро скатывался мотоциклет, на руле его раскорякой, локтями врозь лежал человек в спортивном костюме, очень толстый и сердитый даже издали, даже отсюда: за полверсты. Его колотило машинной дрожью. Это был сн, Буховецкий.

Скандал взорвался ошеломляюще быстро: толстяку просто не терпелось поскорее наорать, нашуметь, послать всех к чорту, к чорту, к чорту. Бурча и всхлипывая в грузных попыхах, он тотчас же — как только мотоциклет обмер: — бросился к цистернам, и Макеев тяжкою набок прискачкою рвался за ним, и очень боялся и отстать от него и наступить ему на пятки, и всё погогатывал и погогатывал. Они обежали одну, другую, третью цистерну, и толстая кремовая шея инженера в распустившемся вокруг нее отложном вороте рубахи явственно побагровела и сжухла; он круто обернулся бурой, гавкающего выраженья рожей — той самой, едва не вскрикнул, попятился Макеев, которая всю ночь безнаказанно истязала его — и заорал округло, оглушительно, с полым призвуком: «Этта-жа футуризм, этта-жа шарлатанства, этта-жа не покраска»... Потом, страдая, с раздутыми в упор ноздрями умолк — оставленный им вопль бился в ушах Макеева, содрогаясь, — и поклокотал торсом, а, поклокотав, плюнул, снова бросился к своему металлическому коньку, яростною толстою ногою в высоком шерстяном чулке весь вскинувшись налег, рухнул на какой-то тугой, с грохотом опавший под его напористою тяжестью, рычажок, и погодя уж опять гоночным нетопырем, локтями врозь трясся на руле машины, опять даже издали бешеный и толстый.

Эдакого мгновенного, полыхающего завершения Макеев не предполагал всё-таки в самых черных предвосхищениях и

толкованиях своих снов, — распустив губы, он не отрываясь глядел на дорогу. Этта-жа, этта-жа, — едва слышно в последних судорогах кончалось, глохло в нем бурдастое эхо. И я и князь, а за компанию с нами и по недомыслию на мгновенье приставший было к нам и Кенарев, возбужденные и раскатами только-что отгремевшего скандала и освобождением от труда, хлопот, неизвестности, каких-то перепутавшихся взаимообязательств, тоже следили за мотоциклетом, и когда он наконец, наконец-то крошечный, крошечно грохочущий, перевалил гребень и низвергся в малиновую преисподнюю чудесного с детства заката — были почти счастливы: «Finita» — без всякой шепелявости и гундосинки сказал князь и сочно, по-макеевски, загоготав, бросил кисть через плечо, как бывало бокал в шантане. Кенарев — он уже опамятовался и отказался от нашей неблагоразумной веселости — с дурным наслаждением вогнал кол в жестяное брюшко банки с краской, потом кол выдернул и вогнал его поглубже, и лицо у него, хоть он буйствовал молчком, было мычащее. В общем, это было неплохо, но к концу рассказа я ожидал от него, по правде сказать, выходки похлеще — и он недолго и не очень помучавшись, решился. Доконав банку, он подошел к Макееву, и с камешком под языком сказал довольно удачно — сухо, отрывисто, в пол кривого рта, совсем под князя: «Господин Макеев. Я попросил бы вас заплатить мне деньги за работу» — сказал и загудел, угрюменько довольный: хорошо вышло. Но Макеев подобрал губы и схватился за ляжку: «Денег нет» неожиданно твердо и живо ответил он, и Кенарев гудеть перестал. Они помолчали и Макеев, подумав, на всякий случай ссутулился, распустился и весь — шляпа, нос, плечи, руки обвис разнесчастным старичком сиротинушкой лет эдак на семьдесят пять, а может быть и больше, подобно тому как неоднократно на пробу сутулился, распускался, обвисал, дряхлел в предварительных страхах перед присяжными. Тогда Кенарев потребовал денег вторично, на этот раз уже без всякого камешка под языком — подлою, узко-шипящею скорописью: на него уже накатывало. Но Макеев и на этот раз, и несколько раз

после этого, попрежнему разнесчастным и даже разнесчастнее прежнего сиротинушкой, с придурковатой кротостью отвечал, что денег у него, голубчик мой, нет и нет, вот пристал человек. Так они препирались некоторое время: Кенарев ждал, когда на него уже по-настоящему накатит курносое самозабвение, Макеев — когда начнут терзать. Я же и князь в сторонке ждали, когда они наконец схватятся: я для того, чтобы увидеть, записать и приголубить старика, князь — чтобы набить Кенареву морду. И всё вышло, как по писаному, как написано: на Кенарева наконец, наконец-то накатило — он схватил квохнувшего Макеева за лацкан пиджака и с продольным коленкоровым треском сорвал вполне поспевший лацкан прочь; Макеев замотался, попятился, — Кенарев еще бойчее попер на него, примеряясь еще звучнее и послаще сорвать с пиджака ворот или что-нибудь другое, что попадется под руку. Они задышали, затопали, закружились на одном месте — и мы едва развели их: князь оттащил и ударил-таки Кенарева, а Макеев — без шляпы, с сорванной с одной стороны и развороченной до белья грудью, одна рука на заднем кармане брюк, припал ко мне большой, лысой, в розовых крапинках, всхлипывающей головой, и от него изрядно пованивало и ванильно пахло шеколадкой, которую он Бог весть когда в этой суматохе успел всунуть себе в рот, и теперь весь в слезах, в поту, задыхаясь — валяя тугой и вязкий ком кверху, к носу, к носу наспех дожевывал...

Мих. Иванников

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК

I

Ты помнишь ли, мой Кирик милый, Прогулки утром на-авось? На скалах розовая Рось Двойное эхо разносила, Текла меж пальцев, и слегка Топила пробку поплавка.

Там воздух родины любовно Ласкал нагретую щеку, Был каждый мускул на-чеку, И сердце отбивало ровно Без перебоев, точно в срок, Свой добросовестный урок.

И преклоняя слух прилежный К земным таинственным речам (Лишь теплый ветер по плечам Водил своей ладонью нежной), Я слушал имя, по слогам Причалившее к берегам —

И слабый шелест и журчанье, И в небе трепет голубой, — Со мной (и может быть с тобой) Земля сходилась на прощанье, Но важен был походный шаг Латынью раненых бродяг.

Мой милый Кирик, брат названный, Услышишь ли ты голос мой? Иль где-то, на большой прямой, Ты затерялся точкой странной, И вспыхнул, и погас (увы) К концу вступительной главы.

П

Не первым вздохом, не свиданьем, Не наготой покорных плеч, — Мы счастье мерим после встреч От них оставшимся страданьем. Мы счастьем может быть зовем Лишь безнадежный плач о нем.

Но как бы ни было, — на деле Есть счастьем меченые дни, Как золотой песок они В сердечной трещине осели, — Там — ловко отраженный мяч, Там — ёж иль цирковой силач.

Иль сонный крик на переправе, — Бранится лодочник со сна, Над Белой Церковью луна Встает в серебряной оправе, И ночь возносит на дыбы Александрийские дубы.

Мы слишком вверились Декарту И в рассужденьях и в любви, — Ты как-нибудь принорови Географическую карту К законам логики простой, К лужайке, солнцем залитой.

Знакомые меридианы, Знакомый параллельный круг,

Шрифт неразборчивый, и вдруг, — Не голос северной Дианы, Но мамы ласковый кивок За верно понятый урок.

Ш

Все дыры, скважины и щели Безоблачный пророчат день, Из черной стала синей тень У отдыхающей качели, И в светлых лужицах апрель Легко разводит акварель.

Он нежно кисточкой проводит По голубому полотну, Он любопытному окну Блистательный пейзаж находит И смахивает, не сердясь, Всё лишнее в цветную грязь.

Не забывая строгих правил, Мой чисто вымытый двойник В свой перепачканный дневник Две кляксы новые поставил И, промакнув их наконец, Сосет запретный леденец.

А я, через года́ пустые Склонившись за его плечом, Играю выцветшим мячем, Печально правлю запятые, Но ничего мне не понять В том, что писалось с буквой ять.

Так наши почерки несхожи, И так щека его кругла, Что, отступая от стола,

Я восклицаю — Боже, Боже, — Затем некстати целый день Меня преследует мигрень.

IV

Мигрень иль совести уколы, Височный нерв или душа? Вопроса в корне не реша, Две резко несогласных школы Согласны, кажется, в одном: Причина недуга — в больном.

Всему виной воображенье, Ума своеобразный плен, — Кто выгоде прямой взамен Предпочитает пораженье, — Кто поздно вечером тайком Ведет беседы с двойником —

И я, зажатый подворотней, Нигде ключей не находя, Ловил горошины дождя И думал, что всего охотней Сосал бы трубку я теперь В вагоне, по дороге в Тверь.

Тверь выбрана совсем некстати Для рифмы, кажется, одной, Но так запахло вдруг весной, Что, дотянувшись до кровати, Я понял: Тверь, конечно, нет — Но Кук мне выберет билет —

И барышня, за длинной стойкой, Бесплатно улыбаясь, вмиг Меня снабдила кучей книг И гидом, и отдельной койкой, — А рядом плотный господин Басил мне что-то про ундин.

V

Он признается мне с охотой, Что лыжный изучает спорт, Год круглый не снимает шорт, Не поступается ни йотой Хронометрических побед, Что в поезде — он мой сосед.

И поезд тронулся. Ракета, Футбольный мяч и лимонад, Развернутая наугад Вполне свободная газета, И в верхней сетке чемодан С наклейками различных стран.

Спортивно-синими очками Он тычет в застекленный пляж, Его таинственный багаж Удобно собран под руками, И сердце под шестым ребром В соседстве с золотым пером.

И пес, породисто зевая, Стальным ошейником звеня, Поглядывает на меня, Хвостом небрежным помавая, Но левый желтоватый глаз Чуть подморожен про запас.

Проводником наполовину В купе опущено окно, Пейзаж, описанный давно, Я осторожно отодвину, Лишь нехотя упомяну Пальто прилипшее к окну.

۷I

А между тем, художник смелый На чистом воздухе не прочь Изобразить луну и ночь, И черный луч от башни белой, Наметить углем складки гор, Замазать дымом семафор.

А между тем, и в самом деле Ночь прокатилась по земле, И где-то в нищенском селе По-русски петухи запели, И в кружке глиняной сирень От лампы удлинила тень.

И в школе грамоты начальной В кружке любительском селькор Читает Машеньке в упор Печорина конец печальный, — Мила, стыдлива и нежна Его колхозная княжна.

О, Русь! О, Рось, — твое теченье Меня прибило к тем годам — Былого счастья не предам, Люблю, — и ясно мне значенье Твоей приветливой струи И вздохи тайные твои.

Всё дальше, дальше в глубь ночную Уходит поезд. Путник рад Без визы въехать в старый сад, Где мальчик книжку записную Украсил (кто не без греха) Попыткой робкого стиха.

VII

Поэзия! Живая роза
На острие карандаша,
Как бы притихшая душа
Играет листьями мороза
В ночном саду моих тревог, —
Тень осторожная у ног —

Поэзия! Почти зевая Мы правим Пушкина. Каков Он в смысле магии стихов? — Гремит музыка боевая — Где эта, так сказать, струна, Которая была б слышна?

И ямб классический к тому же Теперь не в моде, — почему Так полюбился он ему? Свободный стих отнюдь не хуже, — Ритмический рисунок, — вот, Где тайна магии живет!

Парижский критик мой, — не даром Он обучал нас тридцать лет, — О, сколько съедено котлет, О, сколько выпито за баром! Но как он весь еще горит, Как по-французски говорит!

И всё же, мне порой сдается (Какое слово!), мне порой Мерещится (опять!) живой Материал (увы!), где бьется Без гофрированных прикрас Живое сердце в добрый час.

VIII

О, сердце, сердце, символ странный Любви и горестных потерь, — Приотвори немного дверь На зовы юности туманной! О, как сжимается оно От чувств, осмеянных давно — —

Сентиментальных отступлений Мне мил сомнительный закон — Выносят кресла на балкон, Апрельский день без преступлений, Без героических страстей, Быть может даже без гостей.

На оцарапанной коленке Живая корка наросла, На свежей белизне стола С загаром золотистым пенки, И так тепло, и так светло, Что хочется разбить стекло.

Девятый час, не очень поздно, — Слышнее дачниц голоса, Еще терзаться полчаса — Люблю, сказал Евгений грозно — И легким парусом возник Его матросский воротник.

Так, рифма к рифме, понемногу, — И первый черновик готов, Виденье утренних мостов Или вступленье к монологу, Не скрашенному новизной В часы бессонницы ночной.

IX

Мы знаем Гингера и Блока, На книжной полке у меня Литературная родня Без пятнышка и без порока, — Шекспир, Набоков, Гуль, Платон, В. Сирин, Слоним и Мильтон...

Здесь три спасительные точки Отводят во-время беду... Вновь под вагоном находу Постукивают молоточки, И в мой полуреальный мир Случайный входит пассажир.

Веревкой накрест перевязан Его уродливый пакет, Он ищет места, места нет, — Никто, конечно, не обязан, — И, щуря виноватый взор, Он ускользает в корридор.

Одно мгновенье! Так знакома Его седая голова — — Заглохший сад, роса, трава И призрак Чеховского дома — — Возможно-ль? Дачная мечта, Рассказ в печатных пол-листа — —

Увы, литературным вздором И безнадежно начинен, — Но если вдруг посмотрит он Таким же близоруким взором, Но если — И дрожит слегка Стекло от встречного свистка.

X

О чем я впрочем? На диване Лирически храпит сосед, На задней выпуклости плед Пристал в обтяжку; там, в кармане, Бумажник холмиком торчит, И пес его ворчит, ворчит — —

Опять не то. Прогулка, что ли?
Затеял Кук — теперь изволь — —
Стреляет головная боль,
И стонешь, стонешь поневоле — —
За дверью, в шляпе набекрень
Тиролец с перышком — — Мигрень

Всё неотвязней, всё жесточе — — Я медленно тону в песках С холодным трупом на руках Под небом европейской ночи. Мрак безголосый, тишина, В альпийском озере луна.

Дремотно пробегают ели В картонной прелести своей, Платок или воздушный змей, Иль просто облако без цели Скользит в воздушной вышине, — Мир, зачарованный вдвойне.

Мой милый мальчик дремлет тоже, Он ровно дышет. Иногда В окне с черемухой звезда Плывут в обнимку — — Боже, Боже! И мячик розовый в углу Змеей свернулся на полу — —

Вл. Корвин-Пиотровский

УТРЕННИЦА

Лесник Трофим затянул потуже ремень, взял лампу и пошел в избу, где на сене спали охотники. Через полчаса, тихо разговаривая, они все трое вышли из лесной сторожки. Ночь стояла еще густая, под ногами похрустывал ледок, лес молчал, звезды над головами тихонько мигали.

- Куда же ты нас поведешь?
- На Бузыгину сечу.

Охотник обрадовался.

— Ага, вот-вот. Об этой сечи я уже слышал от твоего отца. Веди.

Трофим хмыкнул не то одобрительно, не то насмешливо, и пошел по дороге вниз под увал, где тьма была еще гуще. Только по шуму шагов Трофима охотники узнавали, куда итти. Лесник шел легко, как днем, охотники спотыкались о корни, проваливались в ямки и Трофим досадливо слушал громоздкий шум их шагов. Деревья казались огромными, как горы, вершинами в самое небо.

Охотники спустились в лощину, потом поднялись опять на увал.

— Вот мелоча́, — сказал Трофим, — надо кустьев нарубить на шалаш.

Он отошел в тьму и осторожное тяпанье топора раздалось справа. Охотники ощупью набрали охапки ветвей и опять пошли. На фоне чуть светлого неба впереди порой мелькали двигающиеся громады, — это лесник тащил нарубленные ветви. С дороги свернули на тропу. Теперь деревья совали ветви прямо в лицо, и надо было итти очень осторожно. Один охотник проговорил: — Вот, дьявол, куда ведет. Ни зги не видать. Как находит?

Трофим усмехнулся про себя: — «Как находит... дурач-

ки...» Ему захотелось засмеяться. Ему вспомнился отец. Отец, бывало, в глаза вот хвалит охотников, вот хвалит, а за глаза про них иного слова нет, кроме дурачки. Правда, дурачки. Веди их куда хочешь, пойдут. Вот навалил ветвей на них. Можно бы и поближе к току нарубить, там тоже молодняк есть. А пусть понесут. Им это лучше: труднее, на такой охоте слаще добыча.

— Дошли, — сказал он шепотом.

Деревья раздвинулись, отошли в стороны. Небо стало просторнее. Оно было попрежнему темное и звезды блестели, прядая золотом, как ресницами.

- Здесь надо шалаш строить. У этой сосенки. Тетерева́ сюда летят.
 - Сюда? Много?
 - В какое утро штук двадцать.

Лесник нашарил колья, поставил их, и все трое, вполголоса переговариваясь, начали строить шалаш. Можно бы говорить и громко, но Трофим знал: эта таинственность, этот шопот нравятся городским охотникам.

- Ну кто останется здесь?
- Я.

«Безусый. Ну с ним можно...».

И Трофим сказал:

- Только смирненько сидеть надо. Бейте, ежели недалеко сядет.
 - Знаю, знаю.

«Много ты знаешь» — усмехнулся про себя Трофим.

- А мы на глухарей? шепнул другой охотник.
- Что ж, пойдемте. Это еще будет с вёрсту. За болотом.

Они — двое — пошли дальше. Деревья опять плотно обступили их со всех сторон: надо было раздвигать руками ветви, чтобы они не хлестали по лицу. Хруст веток под ногами звучал резко. Вот крупный лес кончился. Пошли по мелочам, продираясь с силой. Трофим остановился и сказал охотнику почти на ухо:

— У вас пальто свистит. Идите тише.

- Как свистит?
- Свистит. Тише надо.

Охотник прислушался; правда, ветки, задевая брезентовое пальто, свистели...

За молодым лесом — болото, под ногами захлюпала вода. Но нога не проваливалась: весна успела растопить только верхний слой, а внизу еще — лёд. Спотыкались о кочки. Охотник упал, вполголоса ругнулся. Трофим зашипел:

— Тише...

Впереди опять встала стена леса. Трофим прошел вправо, вернулся, зашептал:

— Сюда.

Оба вышли на бугор.

— Здесь будем ждать.

Он сел наземь. Охотник нерешительно потоптался возле и тоже сел.

Теперь, когда они сидели неподвижно, тишина стала полной, и лишь биение своего сердца слышал охотник. Лесник тронул его за руку и показал на лес через поляну.

— Утренница, — одним дыханьем сказал он.

Над лесом краснела большая звезда.

- Это Венера, тоже дыханием сказал охотник.
- Молчите. Теперь скоро.

В ближних кустах крикнула во сне пичуга.

Левее от Утренницы забелелся край неба, будто помутнел.

- Заря, продышал Трофим.
- Заря, дыханием повторил охотник.

Вдруг недалеко в болоте резко заскрипело как немазанные ворота.

- Что это? продышал охотник.
- Ку-ро-пат-ка.

Тотчас отозвались еще куропатки. Они кричали со всех сторон, громко, резко. Над головами слышался свист их крыльев. Большая птица шумно пролетела низко сбоку.

Трофим прошептал: — Журавли.

Он теперь стоял, весь вытянувшись, и напряженно слушал.

— Токует, — вдруг прошептал он, — слышите? Глухарь токует.

Охотник снял шапку, слушал долго, напряженно, но ничего не услышал. Только кричали куропатки.

— Идите. Тише.

Ночь бледнела, и деревья теперь отделялись от мрака, стояли каждое отдельно. В лесу под высоким деревом они оба опять остановились. Тетерева токовали и справа, и слева, и впереди, и сзади. Непередаваемый, единственный, трепетный зов. То и дело недалеко в лесу раздавалось хлопанье больших крыльев и тяжелый лет.

— Слышите? Глухарь...

Теперь охотник услышал странные звуки — будто пощелкиванье сухого дерева: «Тэк, тэк, тэк, тэко...» И вслед за пощелкиваньем тотчас щебетанье: «кичивря, кичивря...»

- Слышу, сказал охотник.
- Идите. Под песню. Два-три шага, не больше. Я буду здесь.
 - Ладно. Иду.

Охотник пошел. Он не попадал под песню, с треском ломал сучья и чем дальше лез, казалось, шумел сильнее. «Э-эх, охотник», — подумал насмешливо Трофим. Он взодхнул, выбрал поваленную сосну и сел. Делать было нечего. За сколько годов он впервые вот так, просто, сидит в лесу, не выслеживая. Он только слушал. Кричали куропатки, токовали тетерева, крякнули утки, каждая пичуга кричала по-своему... Трофим вспомнил: мать вот недавно говорила: «Женись. Птицы женятся, звери женятся. Чего ты один, как кочет на базаре?» Он засмеялся. Странное томление захватило его. Сколько раз он прежде слышал эти птичьи и звериные зовы? Не сочтешь. Сейчас он слушал и затомился. «Э-э, зовут!» — подумал он о птицах насмешливо.

Красный свет разлился в лесу. Деревья уже стояли четкие, и каждую вершину можно было разглядеть отдельно. А птицы

кричали сильнее. Недалеко затоковал глухарь, и тотчас тяжелый лёт глухуш послышался возле него. Под песню Трофим пошел к глухарю. Он шел скачками. Вот дерево. На суку — видный до последнего пера, весь залитый красным заревым светом — токовал глухарь. Он поднял и распустил веером хвост, голову тоже вверх и ходил напряженно по суку, тэкая. Глухуши летали подле, квохтали, спускались за землю. Вдруг по лесу прокатился гром. Глухуши стремительно сорвались, полетели прочь, глухарь за ними, захлопал крыльями. На момент всё смолкло.

- Э-эй! Ай! раздался за деревьями человеческий крик. Трофим, нахмурясь, пошел на крик. Охотник, шумно ломая ветви, шел к нему навстречу, радостный. Он нес в руке глухаря. Трофима кольнула ревность, «дурачок убил», но он сразу справился и, как бывало отец, прикинулся недалеким, подобострастным.
 - С полем вас, поздравил он.
 - Спасибо, спасибо.

Охотник, посмеиваясь от возбуждения, положил глухаря на землю, а сам полез поспешно в карман. Трофим уже знал, что это значит, смущенно отвернулся, и, чтобы спрятать смущение, поднял глухаря.

- Эге, фунтов шестнадцать будет, сказал он.
- Будет, обязательно будет, проговорил охотник и засмеялся довольно.

Они пошли назад. Из-за леса уже подымалось солнце...

Игорь Красуский

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ КАРАИБСКОЕ МОРЕ

Здесь начинается Гольфштром От зарева и от закатов. Мне говорил о нем Муратов, Когда мы в Риме шли вдвоем.

Там начинается Памир, Памир рассыпал нас по миру. Не возвращались мы к Памиру, — Милее сердцу был Гольфштром.

Он вещей силой нас питал, Он дал сознанье нам когда-то. От зарева и от заката С тех пор наш разум запылал.

Вглядись в него. Как чуден он! Не символ ли его стихия? Смотрись, смотрись в него, Россия, И возродись из тьмы времен.

Проконсул или триумвир — К Памиру больше нет возврата, И всё равно — в огне заката — Кто держит в тяжких лапах мир.

…Был римский полдень так богат, Так полон всем, что есть и было, Что я доселе не забыла Тот разговор, тот римский сад

С Нептуном мраморным у входа, Пришедшим в мир из глуби вод, — Вот этих вод, чей грозный ход Несет тебя в мой край, Свобода.

**

Ребенок маленький лепечет, О том, что больше Бога нет, И люди говорят при встрече: — Кто выдать мог ему секрет?

Секрет прополз в воображенье, Секрет прокрался в сладкий сон, Оттуда не исчезнет он, От сна не будет пробужденья.

К чему кощунственный намек? Храните лучше тайны ваши! Ведь от Моления о Чаше Еще остался черепок.



Шумели деревья. Шатался гуляка. — От рака? От сердца? От сердца? От рака?

Повисла подруга на слабой руке И плачет, сама в безысходной тоске.

Шумели деревья, как будто старались С земли оторваться, сорваться, умчаться,

И всё бормотания их раздавались:
— Пора расставаться. Боюсь расставаться.

И ночь наступала. И нового мрака Несли утешение тучи большие.

— От рака? От сердца? От сердца? От рака? О, шопот влюбленных! О, слезы людские!

**

Кассир спросил: Туда и обратно? — Только туда. В путь безвозвратный. Не возвращаются никогда Туда, откуда гонит беда. Кассир удивлен: умрет, где родился. Над ним возлюбленный смерч не носился, Над ним не сверкала наша гроза И только мимо шли поезда. Прощай, кассир! Спасибо за дело, За дальний билет, за звонкую мелочь, За обещанье счастливых дней И за мерцанье вокзальных огней. Кажется, это когда-то уж было: Дама сказала, что зонтик забыла, Рвался ребенок из чьих-то рук И приближался к окошку друг: — Хотела бы ты вернуться обратно? Куда? Мне некуда. Всё — безвозвратно. И только в памяти свист голосов: Адресов, адресов, адресов, адресов.

ОТРЫВОК

Часы в столовой к ночи стали, И гости выпили вино. Он говорил, а мы молчали И смирно слушали его.

Он говорил, что плох Шекспир, Что скучны Баха бормотанья, Что жаждет оглушенный мир Четырехстопного молчанья. Он был по-своему поэт, И новой эры возникало Неотвратимое начало На тысячу иль больше лет.

1956

Н. Берберова

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1.

Как над стихами силы средней эпиграф из Шенье, как луч последний, как последний зефир... сотте un dernier rayon... — так над простором голым моих нелучших лет каким-то райским ореолом горит нерусский свет.

2.

Целиком в мастерскую высокую входит солнечный вечер ко мне: он как нотные знаки, он фокусник, он сирень на моем полотне.

Ничего из работы не вышло, только пальцы в пастельной пыли. Смотрят с неба художники бывшие на румяную щеку земли.

Я ж смотрю, как в стеклянной обители зажигаются сто этажей, и как американские жители там стойком поднимаются в ней.

3.

Всё, от чего оно сжимается, миры в тумане, сны, тоска, и то, что мною принимается как должное — твоя рука;

всё это под одною крышею в плену моем живет, поет, но сводится к четверостишию, как только ямб ко дну идет.

И оттого что — как мне помнится — жильцы родного словаря такие бедняки и скромницы: холм, папоротник, ель, заря,

читателя мне не разжалобить, а с музыкой я незнаком, и удовлетворяюсь, стало быть, ничьей меж смыслом и смычком.

«Но вместо всех изобразительных приемов и причуд, нельзя ль одной опушкой существительных и воздух передать и даль?»

Я бы добавил это новое, но на подобие кольца сомкнуло строй уже готовое и не впустило пришлеца.

4

Вечер дымчат и долог: я с молитвой стою,

молодой энтомолог перед жимолостью.

О как хочется, чтобы там в цветах вдруг возник, запуская в них хобот, сизый сумеречник!

Содроганье — и вот он! Я по ангелу бью — и уж демон замотан в сетку дымчатую!

5.

Какое б счастье или горе ни пело в прежние года, метафор, даже аллегорий, я не чуждался никогда.

И ныне замечаю с грустью, что солнце меркнет в камышах, и рябь чешуйчатее к устью, и шум морской уже в ушах.

6.

Есть сон. Он повторяется, как томный стук замурованного. В этом сне киркой работаю в дыре огромной и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю след надписи и наготу червя. «Читай, читай!» — кричит мне кровь моя: Р, О, С.... нет, я букв не различаю.

7.

Зимы ли серые смыли очерк единственный? Эхо ли всё что осталось от голоса? Мы ли поздно приехали? —

Только никто не встречает нас! В доме рояль — как могила на полюсе. Вот тебе ласточки! Верь тут, что кроме пепла есть оттепель!

1953

В. Набоков-Сирин

УТРО

(из повести о Вере Фигнер)

Сыро. Блещет иней тонкий точно рыбья чешуя. Дальний звонкий топот конки средь тумана слышу я.

На колесах блещут спицы, блещет дождь на драпе плеч. С имперьяла колесницы двух модисток слышу речь:

«У франтих жакет на вате, краска на каемке век — а сегодня в каземате удавился человек...»

Блещут бронзовые канты часовых вокруг тюрьмы. Входят в крепость арестанты — с ними вместе входим мы.

Звон часовни дребезжащий, сахарный над кухней дым... Спится ль им под утро слаще или горечь снится им?

Гулко ходят часовые между вышками стены. Громыхают ломовые... Утро. Фонари бледны.

Бледен школьник, занимаясь, бледен первенец царя. И туманна, занимаясь, петербургская заря.

ОБЛАКО

Вода, вставая утром из русла, питает облако своим туманом. Туман, что через жизнь я пронесла, и не был и не может быть обманом.

Туман, слезою капая из глаз, быть может продолжает то движенье, тот начатый за облаком рассказ, которого конец есть возвращенье.

Пусть дождь идет, туманное звено то снизу вверх, то сверху вниз сдвигая... Конечно, эта жизнь идет на дно, но, кажется, за ней встает другая.

Анна Присманова

УШЕДШЕЙ

Последним, не твоим письмом Наш разговор остановили...
Твой город, улицу и дом, Что так перу привычны были, Могу забыть. И весь твой путь — В надежде, горечи, заботе — Могу легко перечеркнуть Теперь карандашом в блокноте: Две тонких линии всего — И больше нет тебя, родная. А новый адрес? Я его Бог даст, в мой смертный час узнаю!

ЛЕСНОЙ МАДОННЕ

Расцветает трава любовней, Пахнут липы теплей и слаще Над смиренной Твоей часовней, Смело в диком лесу стоящей.

Ты добра к мотыльку и птице И к больному лесному зверю... Не умею Тебе молиться, Просто тихо люблю и верю.

В чистый сумрак войду и стану, Помолчу и тихонько выйду, — И, как белке сквозную рану, Ты залечишь мою обиду.

Лидия Алексеева

УГОЛ

Незаслуженное чудо ожидает за углом тех которым очень худо. Обогни стоячий дом.

Усмири тревожный трепет в шумной и большой груди. Удержи сердечный лепет. Темный угол обойди.

Воцари в спокойном сердце золотую пустоту, победи в пустынном сердце кровяную суету.

Темный угол, угол дома обойди и обогни. Грянули раскаты грома, брызнули его огни.

Тех которым было худо белым счастьем обожгло. Неожиданное чудо не случиться не могло.

Александр Гингер

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА КПСС

Прошло уже полгода со времени XX съезда компартии. За эти месяцы в Москве, Ленинграде и в ряде городов Союза было много собраний писателей, на которых обсуждались вопросы, связанные с решениями XX съезда. Формально в центре дискуссии всюду стоял вопрос об отказе от культа личности, т. е. от культа Сталина, разоблаченного Хрущевым на закрытом заседании съезда. Единодушно признавалось, что этот культ нанес большой вред художественной литературе. Но недаром говорится — свято место пусто не бывает — и отказ от культа личности столь же единодушно заменяется культом «коллективного руководства» или культом Ленина.

Вчитываясь в отчеты таких собраний, нетрудно почувствовать, что отмена «культа личности» породила, с одной стороны, растерянность в руководящих кругах литературных организаций, а с другой, потребность писателей хотя бы задним числом пересмотреть многое, связанное со сталинским засилием в литературе. Представление об этих настроениях можно получить вчитываясь в редакционную статью «Литературной газеты» от 8-го мая. Признавая «ложность приукрашивания действительности», сказавшейся в романах С. Бабаевского, газета решительно высказывается против «приземления» тематики, которое она находит в таких произведениях, как «Времена года» В. Пановой, «Оттепель» И. Эренбурга, «В родном городе» В. Некрасова. Литература, по мнению авторов редакционной статьи, должна отражать «движущие силы эпохи». Вводя это отнюдь не новое понятие в послесъездовскую дискуссию, отдельные писатели, а иногда и целые литературные группировки пытаются конкретизировать эти «движущие силы»: «Как ни странно, — читаем мы в этой статье, — появились витии, которые, например, в призыве к актуальности литературы усматривают желание отвести писателей от правды»... «Находятся люди, которые зовут нас назад, к середине и началу двадцатых годов, утверждая, что вот тогда-то было всё хорошо и даже чуть ли не идеально. В речах иных ораторов на собраниях писателей и работников искусств речь шла уже о том, чтобы развенчать Маяковского и Станиславского (!), пересмотреть наше отношение к осужденным общественностью произведениям Зощенко. Словно мы стали идеологически и эстетически неразборчивы и уже не знаем, что хорошо, что плохо».

Нетрудно увидеть в этих обиняком оброненных замечаниях редакционной статьи отголоски очень горячих споров: «Некоторые доходят до утверждений, что от народности, от реализма у нас ничего не осталось или что наша литературная наука парализована, находится в состоянии деградации. Нет сомнения, что эти люди пекутся о размножении всевозможных школок и концепций, и вовсе не заботятся о том, чтобы развивать, обогащать единственно научную марксистоко-ленинскую теорию литературы»... Такие попытки со стороны писателей оцениваются «Литературной газетой» как «нигилистический замах», как «бездумный пересмотр почти всего, что создано нашей литературой и искусством».

Оценить значение выявившихся в послесъездовской дискуссии разногласий можно только раскрыв смысл того, что стоит за условными формулами этих споров. Что имеют в виду те участники дискуссии, которые призывают вернуть современную литературу «к середине и началу двадцатых годов»? Что стоит за призывом пересмотреть или «развенчать Маяковского»? «пересмотреть наше отношение к произведениям Зощенко»? Что, наконец, означает «нигилистический замах», в котором обвиняет «Литературная газета» некоторых литераторов?

Середина и начало двадцатых годов прочно связаны с Нэпом. Нэп означал, конечно, не только экономические уступки крестьянству. По сравнению с режимом, который воцарился в конце двадцатых годов при осуществлении ускоренной индустриализации и насильственной коллективизации, Нэп в воспоминаниях многих писателей остался как расцвет либерализма и чуть ли не как эра свободы. Но именно по той же причине этот период подвергся позже суровой критике официальных публицистов. Наиболее отчетливо эта оценка нашла свое выражение в статье Александра Аникста «Наша литература» («Знамя», апрель 1945 г.):

«Помните ли вы, какой бурной была наша литературная

жизнь в начале двадцатых годов? Одна за другой возникали писательские группы и школы, возглашавшие о своем появлении на свет широковещательными манифестами, публичными выступлениями, а иногда и просто эпатирующими выходками... А диспуты! Какие жаркие литературные схватки и стычки происходили на эстраде в Политехническом музее, в доме Герцена и в клубе МГУ, где глашатаи многочисленных писательских групп старались превзойти друг друга голосом, острыми словечками, а часто просто руганью, — и всё это при оживленном участии шумливой аудитории, аплодировавшей с одинаковым рвением ораторам разных направлений. Теперь литературная жизнь стала иной. Нет в ней прежнего шума и трескотни. Большинство 'гениев' и 'талантов', столь легко провозглашенных в те годы, растеряв своих поклонников и поклонниц, исчезли с горизонта. Иных уж нет, а те далече... Ушли, безвозвратно ушли те времена. Я слышал, как один литератор, держа в руке недавно вышедшие мемуары другого, элегически воздыхал:

— Как интересно было тогда в литературе! Сколько было остроты и свежести, сутолоки и шума, и во всем этом была жизнь...».

«И верно, — заканчивает Аникст свои воспоминания, — много тогда было шума вокруг да около литературы, шума, который творили, главным образом, различные мелкобуржуазные группки и направления, далекие, а то и просто враждебные великому делу социалистической культуры. Большая советская литература — как массовое явление — тогда рождалась, и притом вовсе не в литературных спорах эстетствующих юношей и не на шумной эстраде. А теперь она есть»...

«Разброду» первого десятилетия после октябрьской литературы Аникст с удовлетворением противопоставляет «тишину» конформизма: — «Не появляются больше литературные манифесты с шумным успехом, но очень серьезно проходят вечера поэтов. Прежних групп и группочек нет, — есть единый Союз советских писателей. Журналы почти ладят между собой. В клубе писателей тихо. Но эта тишина не должна нас обманывать. Писатели сидят не в клубе. Идет большая, серьезная работа. Нет так называемой 'литературной жизни' в ее старом понимании, но зато есть литература».

Читая эту характеристику начала и середины двадцатых годов, которую одиннадцать лет назад дал Аникст, поражаешься насколько и по своим формулировкам и по своему

подтексту она близка редакционной статье «Литературной газеты», цитированной выше. Это сходство помогает читателю понять позицию официальных руководителей литературы в послесъездовских спорах: неистово приветствуя отмену «культа личности», стремясь на словах отгородиться от ниспровергнутого Сталина, эти руководители не склонны идти на какие-либо реальные уступки в вопросе о свободе творчества.

Эта их позиция находит свое отчетливое выражение в отношении к требованию переоценки Маяковского (упоминание рядом с Маяковским имени Станиславского следует отнести за счет техники амальгамы, с помощью которой советские публицисты любят дезориентировать читателей). Впервые сдержанная попытка «пересмотреть» отношение к Маяковскому была сделана Бухариным на І-м съезде советских писателей в 1934 году («Время Маяковского прошло»). Попытка эта встретила решительный протест так называемых «левых» поэтов — А. Суркова, А. Безыменского и других. Им удалось заручиться поддержкой Сталина, изрекшего вскоре после этого, что Маяковский «был и остался лучшим советским поэтом». После окончания второй мировой войны в литературной среде была вновь сделана попытка переоценить творчество Маяковского. Она нашла свое выражение в статье критика Корнелия Зелинского «О лирике» («Знамя», № 8/9, 1946 г.). Большинство советских поэтов, писал Зелинский, все еще по инерции движутся в русле представлений «лирики двадцатых годов, с ее гипертрофией внешней темы, а иногда и противопоставления ее всей природе человека». В двадцатых годах это было понятно и законен лозунг Маяковского «наступать на горло собственной песне». Но во второй половине сороковых годов, когда в центре внимания стоит «жизнь личности», это кажется Зелинскому анахронизмом. Впрочем, высказав эту смелую мысль, критик тут же стал заметать следы (что вовсе не спасло его от упреков со стороны «братьев-писателей»). Однако факт остается фактом: несмотря на то, что творчество Маяковского (кроме его сатирических пьес) не пользуется успехом у современных читателей, посягать на его культ при жизни Сталина было строжайше запрещено. Но весьма знаменательно, что и после XX съезда литературное руководство продолжает оберегать культ этого поэта.

Пожалуй еще ярче склонность к идеологическому кон-

серватизму сказалась в протесте против требования о пересмотре отношения к произведениям Зощенко. Творчество Зощенко, Ахматовой и других писателей, поэтов и критиков было осуждено с благословения Сталина в 1946-48 гг. Это был период высшего взлета принудительного «конформизма». Казалось бы, в этом вопросе теперь можно было ожидать смелого пересмотра. Но литературные «консулы» бдят и остаются непреклонны. Их позиция сказалась, между прочим, и в том, что все эти попытки пересмотра прежних сталинских директив редакционная статья «Литературной газеты» охарактеризовала как «нигилистический замах» (когданибудь, в другой связи, надо будет остановиться на превратностях судьбы таких понятий, как «космополитизм», «нигилизм», «либерализм» и др.).

И тем не менее будет ошибкой недооценивать в послесъездовских спорах значение выявившихся разногласий.

В недавно появившейся второй части повести Эренбурга «Оттепель», главный конструктор завода Соколовский искренно жалеет художника Володю Пухова за то, что он мало бывает среди людей и поэтому не замечает «перемен»: «Выпрямились люди. Ворчат, но это признак здоровья».

До «выпрямились» еще далеко. Но что-то действительно переменилось. И не хочется пройти мимо этих больших и малых перемен. Сенсацией на създе было выступление Шолохова. И «Литературная газета» на этот раз решилась открыть предохранительный клапан и дать возможность более широко обсудить это выступление. Своим острием речь Шолохова была направлена против всего руководства Союза писателей. Речь его часто прерывалась «смехом и аплодисментами». Иначе расценили ее не только в Союзе писателей, но и в более широких литературных и читательских кругах. В «Литературной газете» от 5-го апреля целая страница посвящена этим откликам. Оказывается, редакция газеты получила «несколько сотен» откликов и отобрала из них наиболее яркие. Среди таких писем-откликов наиболее значительно письмо критика Веры Смирновой. Смирнова прежде всего спрашивает Шолохова, почему его выступление на съезде вызывало «смех, оживление, аплодисменты», а «не суровое напряженное молчание, думы?» От самого талантливого писателя читатели вправе были ожидать «глубокого анализа, страстного обличения всех причин и условий, породивших отставание литературы». Вместо этого Шолохов сосредоточился на «след-

ствии», на «отрыве писателя от жизни». «Но почему, — спрашивает Смирнова, — писатели осели в Москве, почему они оторвались от жизни? Не можете вы — настоящий писатель, художник — всерьез считать следствие за причину. Не можете вы всерьез коммунальную квартиру и материальные трудности считать причиной творческой слабости наших писателей. Вряд ли Белинский, Достоевский и Гоголь были более обеспечены, и вряд ли у Гладкова, когда он писал свой «Цемент», и у Либединского, написавшего «Неделю», были соответствующие условия. Вы знаете лучше других: если художником овладевает образ, мысль, — ему не помешают никакие примусы и шумы»... В конце письма Смирнова, извиняясь за свой «полемический задор», с плохо скрытым разочарованием пишет о том, чего ждали от Шолохова его читатели: «От вас мы ждали очень смелых, больших мыслей: они вам по плечу», но за Смирнову ее мысль додумывает до конца читатель, сама она предпочла ее не формулировать.

Почти все высказывавшиеся о речи Шолохова — вне зависимости от того были ли они за Шолохова или против него, — останавливались на самом характере выступления писателя, почувствовав в нем «демагогичность», неуместный «шутливый тон». Но, повидимому, никто не отдал себе отчета в том, что вся эта речь по своей языковой развязности — анахронизм. Она была уместна в первой половине 30-х годов. И она режет слух людей второй половины 50-х годов, не только принадлежащих к верхам советской интеллигенции, но и за ее пределами. Сегодня все они стараются говорить и писать не только правильно, но и «культурно». Когда в мае прошлого года праздновалось 50-летие Шолохова, его навестил специальный корреспондент «Литературной газеты», В. Соколов. Он рассказал о том, как живет и работает у себя дома писатель (улица, на которой он живет, носит его имя). Заглянул корреспондент и в школьную работу дочери Шолохова Маши, ученицы 10-го класса, и привел даже выдержку из ее классного сочинения: «Какое счастье сидеть утром с книгой в руках где-нибудь в траве в тени»... Трудно представить себе, чтобы Маша могла бы, не морщась, читать в газете речь своего знаменитого отца, выдержанную в духе комсомольца начала 30-х голов.

Гораздо более существенные перемены сказались в восстановлении репутаций многих прежде оклеветанных и исчезнувших писателей, поэтов и критиков (многие из них были

расстреляны, другие отправлены в ссылку или в концлагерь и умерли там). Восстановление это проводится в нарочито скромной, по возможности, незаметной форме: в отделе хроники «В Союзе писателей» появляется заметка петитом о том, что по постановлению Секретариата Союза образована комиссия, которой поручается заняться «литературным наследством» писателя имя рек. В таком порядке еще до начала XX съезда было сообщено об Эрдмане, авторе пьесы «Мандат», поставленной в свое время Мейерхольдом, о Владимире Киршоне, арестованном и исчезнувшем во время московских процессов 1936-38 гг., о еврейских поэтах Л. Квитко и П. Маркише. После XX съезда такие сообщения участились: восстановлены И. Нусинов, А. Селивановский, Бруно Ясенский, Иван Катаев (член «Перевала»), И. Фефер, Михаил Кольцов, И. Бабель. В конце июня «Литературная газета» сообщила о том, что к печати уже подготовлены два тома произведений М. Кольцова; в первый том включены фельетоны, очерки и рассказы, написанные «за период 1920-1937 гг.», во второй вошли фельетоны, посвященные впечатлениям о поездках по странам Западной Европы и Востока. Большое место занимают среди них испанские впечатления; там же печатается повесть «Испанская весна» и большие отрывки из «Испанского дневника». В скором времени должен появиться однотомник «Избранное» из произведений покойного И. Бабеля. В книгу включены рассказы разных лет (из «Конармии», «Одесских рассказов»), пьесы «Закат», «Мария» и раздел «Несобранное», в который вошли произведения последнего периода жизни Бабеля (1936-1938 гг.). К их числу относятся рассказы «Поцелуй», «Ди Грассо», воспоминания о Горьком и о Багрицком. Во время работы комиссии по литературному наследству она получила от частных лиц «черновую рукопись неоконченной повести и парижские письма» Бабеля, неопубликованный рассказ «Суд», а также дневник писателя, в который Бабель заносил свои впечатления, будучи корреспондентом во время похода Первой конной (июнь-сентябрь 1920 г.). Однотомник выйдет со вступительной статьей И. Эренбурга.

В июньской книжке «Нового мира» опубликованы письма не только Горького к Кольцову, но и Кольцова к Горькому. Восстанавливаются репутации не только загубленных и оклеветанных советских писателей, но и иностранных. Так, в апрельской книжке журнала «Звезда» появились переводы

(А. Кулишер и Н. Рыковой) рассказов В. Сарояна. Успел дойти до Нью-Йорка и первый том произведений Бунина с предисловием Л. Никулина. Большинство рассказов, включенных в этот однотомник («Антоновские яблоки», «Суходол», «Князь во князьях», «Забота», «Последнее свидание» и др.), взяты из сочинений Бунина, появившихся до революции, но вошли в него и рассказы, написанные в эмигрантский период («Солнечный удар», «Темные аллеи», «Подснежник», «Ворон»).

В произведениях художественной литературы новые веяния еще почти не нашли своего отражения. С тем большим вниманием надо прислушиваться к новейшей публицистике. Среди статей и очерков последних месяцев заслуживает быть выделенной статья Василия Ажаева (автора романа «Далеко от Москвы») «Молодые силы советской прозы» («Новый мир», март, 1956 г.). Статья эта выросла из доклада, прочитанного Ажаевым на третьем совещании молодых прозаиков (в январе 1956 г.) и частью навеяна впечатлениями XX съезда. Встреча на Совещании с представителями литературной молодежи оставила в Ажаеве противоречивые впечатления. Со всех концов Союза съехалось немало молодых и способных писателей. Немало, однако, заметил Ажаев в них черт, заставивших призадуматься «старших товарищей» и тех, кого писатель, как и самого себя, относит к «среднему поколению». Рассказывая о своих наблюдениях от работы в семинарах Совещания, Ажаев отмечает «мелкотемье и бытовизм» современных литературных новинок. Интерес статьи Ажаева заключается не столько в характеристике творчества молодых прозаиков, сколько в попытке выяснить, что представляет собой самое молодое литературное поколение: «Чем типична биография писателя самого молодого поколения? Кто таков этот молодой советский человек, в чем его отличие от молодых писателей предыдущих поколений?»

Тема о самом молодом литературном поколении Ажаевым только поставлена, но не решена. Между тем вопрос этот чрезвычайно важен, так как именно от этого поколения зависит ближайшее развитие советской литературы, и в какой-то мере от него будут зависеть и перспективы развития советского общества.

Ажаев отчетливо намечает возрастные рамки этого «самого молодого поколения»: «Только часть из них была непосредственными участниками Отечественной войны... Даже если брать самых старших, то их война застала в возрасте

18-20 лет. Большинство же, — те, кому сейчас двадцать пять, двадцать восемь, или стукнуло тридцать, — было застигнуто войной в возрасте десяти, тринадцати или пятнадцати лет». Из этого факта, конечно, не вытекает, что юный возраст изолировал их от впечатлений военной эпохи. Напротив. Именно война формировала их. Больше того: «Воевали они или война их просто сорвала с родных насиженных мест в эвакуацию, — так или иначе они в детстве и в юношеские годы вплотную соприкоснулись с жизнью, полной тягот и трудностей, узнали ее не по книгам и отнюдь не в приукрашенном виде» и, конечно, — по Ажаеву — «с молоком матери впитали любовь к своей социалистической Родине и верность делу коммунизма». Второй особенностью этой литературной молодежи является то, что при всех трудностях многие из этого поколения «сумели получить высшее образование». Поражает в этом поколении и тяга к ранней «профессионализации». Это имеет не только положительную, но и отрицательную сторону, так как, вступая в литературу сейчас же после окончания высшего учебного заведения, молодые писатели имеют плечами «весьма облегченную школу жизни и они не обладают зачастую качественно важным запасом жизненных впечатлений», отличаются «бедностью реального жизненного опыта». Отсюда тот «тощий багаж», с каким приходит в литературу послевоенная молодежь. Отмечая талантливость некоторых из них (Лидии Обуховой — автора повести «Глубынь-городок», А. Володина, поэта О. Шестинского и др.), Ажаев не скрывает, что многие из нынешней литературной молодежи заражены такими болезнями «как иждивенчество, самодовольство, зазнайство». «Получив в подарок к дню своего рождения высокое звание — гражданин Советского Союза, — такие молодые люди воспринимают многие блага жизни, в том числе возможность свободного ученья и выбора профессии, как должное и само собой разумеющееся».

Только очень немногие положения в характеристике Ажаева самого молодого поколения отвечают действительности. Большинство же утверждений автора надо причислить к категории той «красивой неправды», которая таким пышным цветом расцвела к концу войны и в послевоенный период. Да, сегодняшнее молодое поколение было детьми, когда началась война. Но отнюдь не «любовь к своей социалистической Родине (да еще с большой буквы!) и верность делу «коммунизма» всосали эти дети «с молоком матери», а горькие чувства,

питавшиеся тяжелыми переживаниями, голодом и лишениями, которые обрушились на них из-за вопиющей неподготовленности страны к войне. Дети этого военного периода, из среды которых и выходят молодые писатели, рано познакомились с неприкрашенной правдой жизни и они и являются сейчас той молодежью, на биографию которой старшие пытаются навести официальный лак.

Из беглого обзора художественной беллетристики военных лет, посвященной «детям», можно установить одну, более или менее общую черту нынешнего самого молодого поколения: оно росло, привыкнув с детства жить про себя, пряча от растерявшихся взрослых свои думы; в массе своей оно честнее и прямее своих старших предшественников, которых так лакирует поэт Евгений Долматовский в своей поэме «Встреча ровесников»; оно ненавидит «громкие слова», стыдится их. У этого поколения свои мечты и идеалы, но эти молодые люди не торопятся их высказывать. Из-за своей скрытности эта молодежь часто изумляет представителей среднего и старшего поколения. В этой связи полезно заглянуть в ранние послевоенные драматургические произведения (до чистки 1946-48 гг.). Наиболее симптоматичен был первый конфликт, возникший при постановке пьесы А. Гладкова «В новогоднюю ночь» (1945 г.). Со стороны театральных критиков она встретила почти единодушное осуждение, а у молодежи пользовалась вплоть до своего изъятия из репертуара неизменным и большим успехом.

В центре пьесы Гладкова «В новогоднюю ночь» шестеро молодых людей (три девушки и трое молодых мужчин); они заняты исключительно вопросами своего личного счастья. Главный герой пьесы, Дмитрий Шахов, скрывает от любящей его девушки не только свое увечье, но и полученные высокие награды. Он хочет, чтобы его любили не за то, что он «герой», а за то, что он представляет собой как личность, как «частное лицо». «Идея личного счастья здесь резко, грубо, откровенно противопоставлена и заслоняет собой самую мысль об общей судьбе государства, народа, человечества», — неистовствовал М. Гельфанд в статье «Драматургия в 1945 году» («Знамя», № 7, 1946 г.). Поглощенность молодых героев своими личными проблемами нарочито подчеркнута драматургом в образе глухого, немощного старика, деда молодых героинь. На протяжении всех трех действий дребезжит его унылый голос, спрашивающий: «А в газетах что нынче пишут? А в газетах что нынче пишут?» Но ответа на свой вопрос старик так и не получает до самого конца пьесы.

Своими личными проблемами заняты и молодые герои пьесы Л. Малюгина «Старые друзья», тоже вызвавшей большой интерес именно среди молодых зрителей. Начавшаяся послевоенная чистка 1946 года резко прервала попытки писателей добраться до характерных черт самого молодого поколения. Только после смерти Сталина эта тема вновь стала притягивать к себе внимание писателей. Этой теме, в частности, посвящена и новая пьеса Н. Погодина «Мы втроем поехали на целину» («Новый мир», декабрь, 1955 г.). Когда директор совхоза, куда приехали молодые новоселы, увидал их, у него дрогнуло сердце: как с таким человеческим матерьялом выполнить трудные задания? «Я не люблю осуждать нашу молодежь за то, что она не походит на молодежь моей юности, — говорит директор, — это старая песня. Нас тоже осуждали. Но вот что всё-таки страшило: дети. И озорные как на подбор. А как иначе? Большинство — поколение войны. А возраст тот, когда завей горе веревочкой»... «Ох, думаю, разбегутся они в первый же месяц. А чем я их удержу? Что тут прельстительного? И как великолепно они обманули все мои худшие ожидания!»

С этими размышлениями директора перекликаются личные наблюдения Николая Погодина в очерке «Кустанайские встречи» («Знамя», ноябрь, 1955 г.). Основная мысль автора сводится к тому, что нынешняя молодежь имеет «очень небольшое сходство со строителями Комсомольска на Амуре», которых хорошо знал в своей молодости Погодин. «Сейчас. — добавляет он. — не те времена, прошла романтика и новизна первых пятилеток, была великая народная война, и самый труд на целине, — это не постройка романтического города». К сожалению, эти верные наблюдения встречают холодный прием у большинства советских экспертов, которым поручен контроль над литературой и искусством. И когда Погодин набросал сценарий для будущей кинокартины о работе на целине и дал его на просмотр одному видному работнику искусства, тот вернул его Погодину с горьким упреком: своим сценарием Погодин разрушил все его представления о целине и ее работниках. Погодин раздраженно замечает: «Откуда у множества ценителей, редакторов, консультантов эти представления, если никто из них даже примерного представления не имеет о географии этих мест?.. Но чем меньше

у них подлинных представлений о сущей жизни, тем решительней они нападают на литературный материал, совершенно не совпадающий с их застоявшимся кабинетным мышлением...» Этот крупный кинематографический деятель был разочарован тем, что большинство молодежи, поехавшей на целину, руководствовалось вовсе не романтическим влечением, а личными интересами и мотивами. Его резнула трезвость молодежи. Погодин к этой трезвости относится терпимее и человечнее.

Большинство «ребят», приехавших на целинные земли, не окончили средней школы. Причиной этому была война. Многие среди молодежи потеряли семьи. Они скупы на слова и улыбки, речь их часто пересыпана 'некультурными словами' и ведут они себя не так 'как повелевает высший идеал'. «По этому высшему идеалу, — замечает не без иронии Погодин, — на целину должны ехать лучшие из лучших молодых людей, которых принято называть посланцами Родины. Зачем, не понимаю, столь высокая аттестация? Ее выдерживают, как должно быть и в жизни, редкие, но есть великое множество не лучших и не худших, которые и не распределяются по категориям, а опять-таки находятся в движении, растут, отстают, спотыкаются, попадают в жизненные катастрофы, словом, составляют огромное жизненное море. Какой-нибудь парнишка с тихим взором будет скромно помалкивать, если вы назовете его посланцем Родины, но, говоря по сущей правде, окажется, что он приехал сюда менять свою биографию... Найдутся здесь ребята, у которых жизнь где-то на заводе, в каком-то коллективе не устроилась, дала трещину. Они, как кто-то мне сказал, поехали 'на новенькое', т. е. на новое, где их еще не знают, за прошлые ошибки осуждать не будут и где, отсекши свое прошлое, можно заново начать жизнь».

При всем том, по наблюдениям Погодина, «отпетых, хулиганствующих, неисправимых» среди приехавших молодых новоселов — немного — человек пять на коллектив в 250 человек. Большинство встреченной писателем здесь молодежи — люди угловатые, порой даже малоотесанные, «будничного происхождения», они не очень учены по части книжной мудрости, но остро чувствуют «всё ненастоящее, мелкое» и часто поражают вдумчивых наблюдателей своей внутренней интеллигентностью и порядочностью. К сожалению, эти очень ценные наблюдения Погодина, нашедшие свое отражение в его

очерке, не были вработаны автором в его пьесу. И только сопоставляя «Кустанайские встречи» с пьесой «Мы втроем поехали на целину» убеждаешься, что ее герои те самые молодые люди, о которых так хорошо рассказал писатель в своем очерке.

Большой успех выпал в нынешнем театральном сезоне на долю пьесы молодого драматурга В. Розова «В добрый час» («Театр», март, 1955 г.). В чисто сценическом отношении пьеса бедна, она принадлежит к типу тех драматических произведений, в интерпретации которых участвуют не только театральные работники, но и сами зрители. Центральная фигура в пьесе — только что окончивший десятилетку младший сын профессора биологии Андрей Аверин. Он явно тяготится жизнью в семье, где царит интеллигентски-мещанская атмосфера. Она наводит на него тоску. Приятельнице старшего брата Маше Андрей как-то говорит: «Да, с виду у нас чистота, уют. Мать старается (подходит к столу, вертит в руках большую пепельницу-раковину). Во, какую каракатицу купила! Зачем? В доме никто не курит. Говорит — для гостей... В детстве мы у каких-то родственников в Сибири жили, в войну. Ничего не помню, только бревенчатые стены и ходики... Мягко тикали. Что-то от них приятное на душе осталось. А у нас? (махнул рукой) Иногда мне хочется пройтись по нашим чистым комнатам и наплевать во все углы...».

Андрей — нелегкий человек, но в нем подкупает его прямота и ненависть к громким словам. Той же Маше он рассказывает об одном школьном эпизоде: как-то в девятом классе спросили кем кто хочет быть. «Ну, ребята отвечали, кто что думал. Так ведь не все правду. Федька Кусков, например, сказал — летчиком. Зачем сказал? Так, для бахвальства. А сейчас хочет приткнуться туда, куда легче попасть. Володька Цепочкин ответил еще хлеще: кем бы ни быть, лишь бы приносить пользу Родине. А этот Володька был, есть и будет подлецом первой марки: подлипало и прихлебало! А я тогда честно сказал — не знаю. Что поднялось! Как, комсомолец! В девятом классе и не знает! Чуть ли не всей школой прорабатывали! Этак ведь на всю жизнь ко всякому призванию отвращение получить можно...».

Андрей не выдерживает конкурсного экзамена в технологический институт и внезапно решает уехать в Сибирь со своим двоюродным братом Алексеем, приехавшим на конкурсный экзамен в Тимирязевскую академию, но тоже не

выдержавшим конкурса. Алексей собирается вернуться на работу в МТС. Мать Андрея, узнав о решении сына, расплакалась: не о такой жизни мечтала она для своего любимца. Андрей старается успокоить ее: «Мама, ну разве это самое важное, кем я буду? Каким буду — вот главное! А дорога она разная может быть; но всё равно, если во мне что путное сидит — выйдет наружу, обязательно выйдет. И учиться я буду, всё время буду»... Любопытная подробность: укладывая чемодан, Андрей отдает своему двоюродному брату Алексею конверт с деньгами. На вопрос последнего, откуда у Андрея оказалась довольно крупная сумма, тот отвечает, что это он на «Москвича» (автомобиль марки «Москвич») копил: «Мои кровные... отец с матерью дарили, по грошам собирал. Три года не дотрагивался, святыня...». Андрей мечтает о том. что, когда получит работу в Сибири, он из первой же получки пошлет отцу с матерью «хоть десятку»...

Об этом спектакле «Литературная газета» (от 20-го марта 1956 г.) в статье «Чувство времени» писала, что на нее было трудно попасть в те дни, когда по соседству, в самых крупных 'взрослых' (спектакль был поставлен Центральным детским театром) театрах пустовали кресла и ярусы. Этот спектакль завоевал сердца зрителей «неприкрашенной правдой жизни».

Молодежная тема стоит в центре внимания многих писателей-драматургов и имеет успех у зрителей. Две пьесы — «Колесо счастья» бр. Тур и «Ошибка Анны» К. Финна, хотя и встретили сдержанный прием у критиков, пользуются неизменным успехом у зрителей. Театральный рецензент «Литературной газеты», разбирая оба спектакля, писал, что было бы «соблазнительно» успех этих пьес отнести за счет «примитивности» зрителей. Но это было бы несправедливо, тем более, что «основную массу публики составляет молодежь». Вот почему автор статьи склоняется к другому выводу: успех обоих спектаклей объясняется тем, что они построены «на жизненной достоверности темы».

Любопытно отметить, что черты характера Андрея в пьесе «В добрый час» В. Розова характерны и для героя рассказа И. Меттера «Директор» («Знамя», июль 1956 г.). Сереже Ломову двадцать три года. Он уроженец Ленинграда. Ему было девять лет, когда началась война, во время которой его родители погибли от голода. Сережа рос в детском доме, потом поступил в Педагогический институт. По окончании

его он получил место директора в сельской школе. Сережа собранный, молчаливый человек. Когда в его присутствии представитель министерства поставил его в пример другому окончившему институт и недовольному полученным назначением, Сереже стало неловко: «Он всегда испытывал чувство стыда, когда при нем говорили попусту высокие слова». Нелегко далось Ломову начало его самостоятельной работы. Оказалось, что он слабый администратор. Положение осложнилось тем, что Ломов не умел, да и не хотел подлаживаться к начальству. Вскоре на Ломова был написан донос заведующей учебной частью школы. Ломова вызвал к себе Совков, руководитель областного отдела народного образования. Из беседы с ним Ломову стало ясно, что выговор он получит вовсе не за «слабое руководство», а за то, что он дружит с учителем Лаптевым, не пользующимся приязнью начальства за свою прямоту и честность; кроме того, Ломов собирался исключить из школы ученика Романенко, демонстративно не желавшего учиться, отец которого однако был в близких отношениях с партийным начальством. Вместо того, чтобы оправдываться перед Совковым Ломов вдруг «грубо» стал наступать на мозоли Совкова:

«Я еще совсем не умею работать, — сказал Ломов. — Это очень трудно — быть директором. И выговор я наверняка заслужил. Но только вовсе не за то. Вы меня не научите врать. У вас нет при школе интерната. По-вашему, это просто 'бытовой вопрос'? Вечерами ребятам некуда деться, нечем заняться, и это у вас называется 'внеучебный вопрос'! А если есть учителя, которых всё это беспокоит, у которых это болит, и они хотят, чтобы детям лучше, разумнее жилось, то вы бросаетесь к ведомости и считаете двойки! Романенко надо выгнать из школы. И не только потому что он бесполезен, а потому что он вреден. Ложь складывается из тысячи мелочей. Если ребята каждый день видят, что рядом с ними сидит такой ученик, то они не верят ни мне ни вам. Они понимают, что это не зря. За этим тоже ложь! Они видят, что его батя шляется к завучу, присылает ей сено, вертится около директоров... Для того, чтобы зло искоренить, надо его назвать. И не только по фамилии, как частный случай, а как явление!».

Не привыкший выслушивать от своих подчиненных такие речи, растерявшийся Совков «царственно глупым голосом» заявил, что он жалеет о том, что «кадры Ленинградского пединститута так легко поддаются чуждым влияниям» и обе-

щал «сделать из этого соответствующие выводы». У рассказа нет обычного благополучного «закругления». Только после заседания педагогического совета, на котором был зачитан присланный от Совкова выговор, Ломова подстерегают ученики школы и кто-то взволнованно спрашивает его: «Сергей Петрович, вы не уедете от нас?»

Не нужно закрывать глаза на то, что почти все литературные новинки — как о молодежи, так и произведения самих молодых писателей — с художественной стороны — далеко не на высоком уровне. Тут Ажаев прав: «среди них нет таких, которые стали бы властителями наших умов и наших душ... Мы не видим пока орлиных взлетов в молодой литературе». И то же самое отметила в области драматургии передовая «Литературной газеты» (от 17-го марта 1956 г.): «Многим пьесам не хватает воздуха большой жизни, типических примет времени». Нередко бывает, что пьеса поставлена, идет только пятый раз, «а в зале уже пустуют кресла и ощущается тот колодок, который возникает всегда, когда нет живого общения между зрителем и сценой».

При всем том для новейшей публицистики, наряду с какой-то неуверенностью в оценках, свойственны осторожные поиски чего-то нового, большей свободы для элементарных проявлений человеческой личности, выхода за рамки того, что еще вчера автоматически принималось как обязательное и непререкаемое. В этой связи, может быть, заслуживает внимания вновь проснувшийся в читательских кругах интерес к мемуарной литературе.

В статье «Рядовые деятели партии» Г. Ленобль («Литературная газета», 24-го апреля) дает отзыв о новой книге И. Козлова «Жизнь в борьбе». Козлов — автор книги «В крымском подпольи», печатавшейся в журнале «Знамя» в 1947 году и тогда обратившей на себя внимание. Козлов — старый рядовой член компартии. Останавливаясь на его новой книге, Ленобль вспоминает, какой популярностью пользовалась мемуарная литература в первые годы после октябрьской революции. Затем, примерно, с середины тридцатых годов этот мемуарный поток совсем прекратился. Изданные в первые годы после октября мемуары вскоре стали библиографической редкостью и «практически выпали из читательского обихода». В этом, по мнению Ленобля, выразилось отрицательное влияние культа личности, «оборотной стороной которого явилось пренебрежение к старым партийным кадрам, не-

дооценка их революционной деятельности». Ленобль советует, пока не поздно, призвать еще живых свидетелей партийной истории записать свои воспоминания. Тем, которым это трудно, надо помочь, пригласив к ним специальных редакторов. Останавливаясь на новой книге воспоминаний Козлова, Ленобль осторожно замечает: «Не надо при этом меньшевиков и эсеров времени первой русской революции превращать в прямых прислужников хозяев или агентов охранки, как подчас это бывает в наших романах и пьесах. В такой мелкобуржуазной стране, как Россия 1905 года, положение было гораздо сложнее и мелкобуржуазная революционность определенных слоев общества была неизбежной».

Еще интереснее, пожалуй, последняя статья Ленобля («Литературная газета» от 14-го июля) «Исторические деятели и народная правда». Речь в ней идет не больше не меньше, как о пересмотре отношения к личности Ивана Грозного и его времени: «Сейчас в среде историков идут споры о том, как следует расценивать этот важный и значительный период русской истории, — пишет Ленобль, — добавляя: — Чем бы споры эти ни завершились, можно с уверенностью сказать, что с недавно царившим культом Ивана Грозного будет покончено и будут трезво взвешены и положительные и отрицательные стороны его деятельности...» В порядке критики и самокритики Ленобль признается, что драматическую повесть Алексея Толстого «Иван Грозный», написанную в соответствии с официальной тезой тех лет (повесть появилась в 1942 году), «сейчас перечитываешь с чувством горечи и обиды». Чувство неудовлетворенности вызывает не только «настойчивая идеализация» Ивана IV, но и многих опричников, в том числе Малюты Скуратова...

На тяге к мемуарной литературе не-политического характера останавливается и советская писательница А. Бруштейн в заметке «О мемуарной литературе» («Новый мир», февраль, 1956 г.). Она рассказывает — на основании своих личных наблюдений — о том, какой отклик среди писателей и, особенно, среди литературной молодежи, встречают устные рассказы живых «свидетелей истории» — М. К. Куприной-Иорданской, принимавшей близкое участие в руководстве журнала «Мир Божий» (в конце минувшего века), а после его закрытия, журнала «Современный мир», Алтаевой-Ямщиковой, автора большого числа исторических романов, Н. Ф. Скарской — младшей сестры Веры Комиссаржевской. А. Бруштейн

отмечает, что в «библиотеках очень велик читательский интерес к книгам-воспоминаниям, на них записываются в очередь за несколько месяцев вперед. Большинство этих читателей — молодые люди, от чего это явление становится особенно радующим: молодежь сама включается в ту связь между минувшим и будущим, из которой вырастает культура».

* * *

Мысленно обозревая материал, подвергшийся анализу в этой статье, приходишь к следующим выводам:

За истекшее со времени XX-го съезда время литературное руководство не только обнаружило явное нежелание идейно-политически возглавить в литературной среде борьбу против «культа личности» Сталина, но, признавая на словах вред этого культа, оно стремится отстаивать все решающие позиции сталинского периода в литературе. Когда под давлением, идущим с литературной периферии, оно вынуждено делать уступки (реабилитация оклеветанных в прошлом писательских репутаций), оно старается и это провести как можно менее заметно.

Инициатива пересмотра прошлого и активность, как это бывало уже не раз в истории прежних переломных моментов развития, проявляют более далекие от руководства и более молодые представители литературной общественности, не обнаруживающие пока признаков консолидации в какую-либо оформленную группу. Это до известной степени ослабляет шансы на успех пересмотра прошлого, особенно в вопросе о свободе творчества.

Тем не менее выявившиеся пока тенденции к пересмотру прошлого обладают некоторым динамизмом. Динамический элемент косвенно вносится сейчас представителями самого молодого поколения, психологически и политически менее связанного с прошлым, чем его предшественники.

В. Александрова

БАТЮШКОВ

Константин Николаевич Батюшков. Крючковатый нос, чтото птичье в лице. Светлые курчавые волосы. Разбегающиеся
голубые глаза. Приподнятые удивленные брови. Легкая улыбочка. Хилость, хрупкость. Малый рост: субтильная фигурка.
Всё, вообще, небольшое. О себе самом он писал: «...я имею
маленькую философию, маленькую опытность, маленький ум,
маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек. Я часто
унываю духом, но пе совсем, а это оправдывает мое маленькое...
то піпіпітент ретіт (вспомни Декарта)» (Гнедичу, в августе 1811 г.).

Да, в нем было много детского. В письмах к друзьям он очень по-ребячески называет себя по имени: «...и в тридцать лет буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется, ненавидит Славян (т. е. Славяно-Россов, сторонников Шишкова), тибуллит на досуге» (Гнедичу, 27-го ноября 1811 г.).

Но маленький Батюшков, который чуть ли не в каждом письме упоминает о слабом своем здоровьи (то грудь болит, то меланхолия), был боевым офицером: правда, не таким, как Денис Давыдов, лихой гусар-поэт, но всё же малодушия в сражениях он не проявлял. В 1807 г. Батюшков был ранен под Гейльсбергом, а в 1813 г. участвовал в кровопролитнейшей «битве народов», под Лейпцигом. Его любил и отличал храбрейший из храбрых — «римлянин» Раевский; его любили и баловали полковые товарищи и друзья-поэты. Никто над его физической слабостью не смеялся. А ведь зло подсменваться тогда очень любили...

Какая была у него натура? Что он любил, чего ему хотелось? Сильные порывы были ему чужды. На войну он отправился добровольцем: отчасти по долгу дворянской чести, отчасти потому, что в ту эпоху все «горели желанием» послужить отечеству на поле брани. Но, служа честно, войной он не вдохновлялся.

Женщины: Батюшков дважды чуть было не женился — в Риге, на девице Мюгель, и позднее в Москве, на девице Фурман. Оба раза сильно был увлечен и от счастья своего, от ценей Гименея отказался не без горечи. Но, судя по письмам, — стихам, дружбе и друзьям (Гнедичу, Жуковскому. Вяземскому и, в особенности, безвременно погибшему поэту Петину) он уделял больше внимания. В инсьме к Гнедичу он иншет: «...А нока пойдем с рублем к Каменному мосту и нотом направо...» (3-го мая 1809 г.). Однако, упеминание это о любви продажной — единично. Непристойностей, которыми изобилуют письма Вяземского и Нушкина, у него не находим. По сравнению с приятелями своими, арзамасцами, он чист, прохладен. Знал ли он вообще женщин?

В другом письме, всё к тому же Гнедичу, он восклицает: «...где то чистое, сердечное сладострастие, в которое сердце мое любило погружаться? Оно улетело с песнями Шолио, с сладостными мечтами Тибулла и милого Грессета, с воздушными гуриями Анакреона» (август 1811 г.). Сладострастием воображения дышит его неистовая «Вакханка» (1815 г.). Здесь Батюшков не прохладно-меланхоличен, а горяч, даже «зноен». Есть огонь и в его раю — в эллинском Элизии:

Где любовник воскресает С новым пламенем в груди, Где, любуясь пляской Граций, Нимф, сплетенных в хоровод, С Делиєй своей Гораций Песни радости поет.

(1810-12 rr.)

Но, кажется, прохладная меланхолия более соответствовала его характеру, его натуре.

Еще задолго до «Евгения Онегина» Батюшков избрал своим девизом il dolce far niente (Гнедичу, 30-го сент. 1810 г.). Ему жилось привольно в родовой новгородской деревеньке в ветхом усадебном домике. Хорошо было ему и в Неаполе, где он служил в русской миссии (1818-19 гг.). «Уединение — источник благ и счастья», иниет он в одном ранием стихотворении (1808 г.): Он любил предаваться созерцанию «в тени черемух, акаций» или «в прохладе ясеней». Одинокие прогулки, мечтания, чтение стихов, писание стихов — вот те невинные занятия, которые более всего были ему по душе. В русской деревне и в Италии, у Везувия, ему дышалось свободно. Здесь

создавалась атмосфера напбольшего благоприятствования для развития его натуры, его таланта. Всё же он продолжал жаловаться: и на слабое здоровье, и на безденежье, и на отсутствие друзей-собеседников. Но не шум сражений и суета столиц, а тишина русских полей и неаполитанского залива — вот тот светный фон, на котором легче всего воссоздается читателем его совершенная, безбурная поэзня. Батюшков-поэт расцветает в спокойной тишине мечтательной лени. Это счастливое far niente пленяло и Пушкина: по он никогда не мог довольствоваться малым — тем элегическим счастьем, которым дышит приятно-меланхолическая поэзня его скромного, старшего собрата. Правда, и Батюшкому иногда хотелось созерцать нечто великое. Тратической темой был для него «Умирающий Тасс»: однако, эта растянутая историческая элегия ему не удалась (хороши в ней лишь отдельные немногие стихи). По отзыву Пушкина, трагизма итальянского поэта Батюшков не понял: это умирающий Василий Львович (дядя поэта), а не Торквато Тассо!.. До понимания трагического маленький Батюшков не дорос. Но в малом был он счастлив. Поистине чудом был угаданный им образ совершенства русской поэзии. Впрочем, самое понятие совершенства исключает понятие размера, количества. Безразлично, велико ли оно или мало. Оно — есть.

Апогей, акмэ Батюшкова — в первых трех строфах элегии «Тень друга» (1814 г.), носвященной намяти лучшего друга, поэта И. А. Петина (1789-1813), убитого под Лейнцигом. Вот отзыв Пушкина об этом стихотворении: «Прелесть и совершенство — какая гармония!»

Я берег покидал туманный Альбнона: Казалось, он в волнах свинцовых утопал. За кораблем вилася Гальциона, И тихий глас ее пловцов увеселял. Вечерний ветр, валов плесканье, Однообразный шум и трепст парусов, И кормчего на палубе взыванье Ко страже дремлющей под говором валов, Всё сладкую задумчивость питало. Как очарованный у мачты я стоял И сквозь туман и ночи покрывало Светила севера любезного искал.

Мастерство, высокое мастерство этих стихов существенно, но всего замедленного очарования их путем формального анализа объяснить нельзя. Очень последовательная композиция.

Образы тумана, тишины повторяются и, *не спеща*, развивают лирическую тему. Влагозвучие достигается повторением ударного а, согласными л, р, и, и и звуковыми группами: вечерний ветр, ветр и трепет, светила севера и других, менее заметных, например — коричего, дремлющей. Язык карамзинский, «средний», славянизмов почти нет; и нет выражений разговорных, по изложение развивается естественно, свободно. Всё неярко, просто и, при этом, тщательно выверено.

Языковая мелодика Батюшкова в известной схеме Эйхенбаума не принята во винмачие, не учтена. Это мелодика — не декламационная (Державии), не напевная (Жуковский), не говориям (некоторые строфы «Евгения Онегина»). Это мелодика — не громкой речи, не песенного лада, не разговорных интонаций, а медленного плавного чтения. Это чистая поэзия, зависимость которой от любой прозы, а также от пения, напева — минимальна. Это очень замкнутое в себе совершенство.

Элегическую гармонию «Тени друга» лучшие поэты того времени усвоили. Они заимствовали у Батюшкова его образ очарованного поэта. Вот примеры:

Баратынский:

Как очарованный стою Над дымной бездною твоею...

1821 г.

Жуковский:

Безмолвное море, лазурное море, Стою *очарован* над бездной твоей...

1823 г.

Пушкин:

Могучей страстью *очарован*, У берегов остался я...

1824 г.

Пушкии более всего был обязан Батюшкову: не только в юности, но и в зрелые годы (на что меньше обращалось внимания в работах В. П. Гаевского, Н. М. Эллиаша, М. О. Гершензона). Стихотворение Батюшкова «К другу» (князю Вяземскому, 1815 г.) отозвалось в одном из лучших стихотворений зрелого Пушкина («Восноминание» 1828 г.):

Батюшков:

...когда окрест замолкнет шум градской И яркий Веспер засияет На темном севере, твой друг в тиши ночной В душе задумчивость питает.

Пушкин:

Когда для смертного умолкнет шумный день И на немые стогна града Полупрозрачная наляжет ночи тень, И сон — дневных трудов награда...

Совнадающих выражений немного (Когда... замолкнет шум градской и — Когда ...умолкнет шумный день). Но основная тема та же: ночь (хотя и не белая, полупрозрачная, у Батюшкова). И то же чередование мужских и женских рифм, шестистопных и четырехстопных ямбов. Немало близких по звучанию групп согласных: у Батюшкова окрест, градской, яркий, друг. У Пушкина: смертного, града, полупрозрачная, трудов награда. Не есть ли это сочетание плавного р с любой другой согласной одно из самых счастливых в русском языке? У Батюшкова оно встречается постоянно. Вот несколько примеров:

Я имя милое твердил В прохладных рощах Альбиона...

1814 г.

Мне снилось в юности: орел-громометатель От Мелеса меня играючи унес...

1816-17 гг.

И трауром покрылся Капитолий...

(«Умирающий Тасс», 1817 г.)

Ты пробуждаещься, о, Байя, из гробницы При появлении Аврориных лучей, Но не отдаст тебе багряная денница Сияния протекших дней.

Неаполь, 1819 г.

У Батюшкова находим и другие примеры ппструментовки. В следующих стихах доминирует м:

Из мест, где Мантуя красуется лугами, И Минций в камышах невидимых лежит...

1819 г.

Та же звукопись у Кузмина:

Медлительного Минчо к Мантуе...

Но, в противоположность поэтам нашего века, очень уж явной эвфонии Батюшков избегал: сплошную инструментовку он, ве-

роятно, осудил бы как нечто чрезмерное, излишнее, как по-грешность против хорошего вкуса.

Русская поэзня может обходиться и без этого очень чистого, очень искусно-выверенного и даже несколько искусственного совершенства. Большие поэты, Тютчев, законный наследник громкого, одического Осьмнадцатого Века, и Блок, внук или правнук Жуковского, которого он «оцыганил», этой батюшковско-пушкинской гармонии остались чужды, и они «не проиграли». Но понятие совершенства, как вещи самодостаточной п предельно-чистой, лишенной посторонних примесей, применимо лишь к Батюшкову и к Пушкину, поскольку он первому следовал. Тютчев и Блок — поэты — замечательные, но несовершенные. Самое очарование их поэзии в том, что она несовершенна. Предпочтение, оказывамое ими патетическому красноречню (Тюгчев) или цыганскому «вою» творчески оправдано. Однако, можно утверждать, что «любая» прекрасная, во несовершенная поэзия русского поэта воспринимается и будет восприниматься на светлом фоне предельного, чистого совершенства, обретенного маленьким Батюшковым. Это он заложил храм русской поэзии. Это он утвердил канон, догмат, по отношению к которому все возможные отстунления останутся ересями, пусть и великими ересями. Возможно и даже желательно любое беззаконие, любое безобразие (Державии или Маяковский), но законом «во веки пребудет» догмат совершенства, установленный малым поэтом Батюшковым. Этот догмат воспринят был и Пушкиным: вообще Батюпіков полностью в Нушкина «вопісл» как часть — в целое неизмеримо большего размера, но не лучшее по качеству.

Ватюшков угадывал величие грядущего поэта — пушкинское величие. Это как будто подтверждается следующими его замечаниями об Ариосто (в письме к Гнедичу, 29-го ноября 1811 г.): этот поэт «...умеет соединять энический топ с шутливым, забавное с важным, легкое с глубокомыслием, тени с светом... умеет расстроить даже до слез, сам с вами плачет п сетует и в одну минуту и пад вами смеется, и над собой смеется. Возьмите душу Виргилия, воображение Тасса, остроумие Вольтера, добродетели Лафонтена, гибкость Овидия: вот Ариост». Ариосто я не знаю и плохие стихи батюшковского перевода пз этого поэта не убедительны. Но убедительна и знакома характеристика великого поэта, в котором легко узнать Пушкина... Разве это не Пушкин «Евгения Онегина»: эпический п шутливый, забавный и важный (т. е. величественный, торжественный

на языке того времени), легкий и изредка глубокомысленный, трогательный, плачущий и смеющийся то над читателем, то над самим собой... Лучшую характеристику Пушкина, певца «Евгения Онегина», не найти; и она отчасти совпадает с кузминской. Пушкин Кузмина: Он — жрец и он веселый малый, Пророк и страстный человек..., Романтик, классик, старый, новый? Он — Пушкин и бессмертен он...

И если в нем признаем брата,
Он не обидится: он прост
И он живой. Живая шутка
Живит арапские уста,
И смех, и звон, и прибаутка
Влекут в бывалые места,
Так полон голос милой жизни,
Такою прелестью живим,
Что слышим мы в печальной тризне
Дыханье светлых именин.

(1921 r.)

Конечно, кузминский Пушкин «телеснее» батюшковского Идеального Поэта, воплощенного в зыбком образе Ариосто. Но у обоих — то же богатство противоположных и творчески-согласованных переживаний; тот и другой одушевленнее иконного Пушкина-всечеловека, созданного Достоевским. Всё-таки, прихотливая параллель между батюшковским Ариосто и кузминским Пушкиным может показаться неубедительной. Но, несомненно, что Батюшков в своей характеристике певца «Неистового Роланда» создает образ Идеального Поэта, — каким он должен быть и каким он, может быть, втайне сам хотел стать. Батюшков им не стал. Но в малом своем «поэтическом хозяйстве» он преуспел. Умеренное, ненавязчивое благозвучие, равномерное распределение поэтической энергии в строфах, чистое совершенство, изымающее из языкового материала «лучшие слова» — вот качества поэзии Батюшкова. Это также качества поэзии Пушкина, который, однако, в противоположность своему старшему брату-поэту учителю, не брезгал никакими словами (за чением мещанской вульгаты). «На глаз» — пушкинский слотри богаче батюшковского: у варь раза него (самые «высокие» в «Анджело»), хамзмы И (самый «первозданный», грубый в «Балде»), и разговорные выражения «хорошего общества» (в «Евгении Онегине»). Но любую речь Пушкин эвфонически гармонизировал, логически развивал и уравновешивал в своей поэзии по законам батюшковского стихотворства. Последнее утверждение путем сравнения текстов

едва ли доказуемо. Можно исследовать воздействие элегий Батюшкова на многие лирические стихотворения Пушкина. Но нельзя методами академическими доказать принятие Пушкиным основного батюшковского канона поэтики. Методы академические всегда очень ограничены. Свободная критика может итти дальше. Она — шире. Она может кое-что утверждать, основываясь на «интуиции», но, конечно, не должна, при этом, противоречить фактам. То, что многие иногда «интуитивно» находят в поэзии Пушкина — равновесие, самообладание, трезвость мысли и сладость звуков — уже есть в поэзии Батюшкова. Их обоих иногда легко спутать... Может быть, лучшие батюшковские стихи — эти:

О, память сердца, ты сильней Рассудка памяти печальной...

Странным образом, эти строки Пушкину не понравились. Но Аполлон Майков, использовав эти два батюшковских стиха в качестве эпиграфа, подписал их именем Пушкина, спутал... Они, действительно, звучат очень по-пушкински и окрылены рифмой, встречающейся у обоих поэтов: печальной — дальной. Вообще же, Пушкин восхищался поэзией Батюшкова. О своих стихах, посвященных «Музе» (В младенчестве моем...), он сказал: «я их люблю, они отзываются Батюшковым...».

Батюшковские реминисценции находим и у позднего Пушкина. Об этом уже говорилось выше. Приведем еще несколько примеров. Стих в песне Вальсингама («Пир во время чумы», 1830 г.) — «Есть упосние в бою» перекликается с батюшковским переводом из Байрона — «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (конец 10-х г.г.). В стихотворении «Счастливец» (1810 г.) читаем:

Слышишь мчится колесница Там по звонкой мостовой...

А Евгений (в «Медном Всаднике») слышит за собой

Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой...

Нередко Пушкин «совпадает» с Батюшковым в «Евгении Онегине» (Д. Д. Благой). В 7-ой главе: Прощай, свидетель падшей славы; а у Батюшкова башни древние царей — «свидетели протекшей славы». Характеристика самого Онегина отчасти намечена в батюшковских стихах о «добром приятеле»,

Который с год зевал на балах богачей, Зевал в концерте и в собранье, Зевал на скачке, на гулянье, Везде равно зевал...

(«Прогулка по Москве», 1811 г.)

Вытовые описания в «Евгении Онегине» отчасти предвосхищаются в послании Батюшкова к графу Вьельгорскому (1809 г.), где дается каталог всякого модного вздора: трубки, сыр выписной, Гамбургский журнал... Но всё это мелочи. Отдельные примеры (хотя их можно было бы привести больше) — недостаточны. Узы поэтического родства, связывающие Батюшкова и Пушкина — неразрывны и обнаруживаются пренмущественно «интупцией». Каждый читатель в этом легко убедится, читая «вперемежку» обоих поэтов: логика и эвфония у них та же. Ниже я даю несколько комментарий, объясняющих самый факт возникновения поэзии Батюшкова. Ее чудо, как и всякое чудо, остается, к счастью, необъяснимым.

Отец Батюшкова принадлежал к той малочисленной элите, которая образовалась в царствование Екатерины II, когда служба перестала быть обязательной для российского дворянина (еще по указу Петра III). Многие дворяне обленились, опустились, но всё-таки культурный уровень хотя бы и очень ничтожного меньшинства благородного сословия несомненно повысился. На службе Батюшкову-отцу не повезло; он поселился в своей захолустной деревеньке, и собрал очень значительную библиотеку. Батюшковсын, рано отосланный в нетербургский наиснон, отцовским книгохранилищем воспользоваться не усиел. Но екатерининская элита очень ему импонировала. Он иншет, что в обществе того времени инсатели ваимствовали «людскость», вежливость, благородство. Общество умных женщин (П. М. Ниловой, А. П. Квашинной-Самариной), благосклонное менторство старших друзей (М. Н. Муравьева, И. М. Муравьева-Апостола, А. Н. Оленина, позднее Н. М. Карамэниа), наконец, друзья-сверстники в «веселом доме» кн. П. А. Вяземского и потом в Арзамасе, — для него самого были лучшей школой «людскости», культуры. Ведь по собственному признанию, в школе он до корней (просвещения) не добрался. Это была та культурная среда (раннего ампира), в которой Батюшков рос, развивался. Она была гармонической. Трещина в ней образовалась позднее, после возвращения русских войск из Парижа, когда начали создаваться тайные общества. В них принял участие сын покровительствовавшего Батюшкову М. Н. Муравьева — Никита, автор известной Конституции (проекта). Сохранились его отметки на полях батюшковских «Опытов в стихах и прозе». Поэзией молодой Муравьев интересовался мало, но его возмутило прославление Батюшковым просвещенного абсолютизма в России.

Батюшков был западником. Русская история начинается для

него при Петре, а культура — развивается и преуспевает под эгидой Екатерины и Александра. Так что, с его точки зрения, всё в России обстояло благополучно (хотя сам он и был обойден наградами, не повышался по службе и иногда почти бедствовал). Правда, можно найти у него и замечания гуманно-либеральные: так, в письме к сестре он пишет, что не хочет своих крестьян обирать. Но никаких следов социального иегодования мы у него не находим. Это-то и раздражило Никиту Муравьева. «Возмутительных стихов», подобно Вяземскому, Пушкину, Рылееву — Батюшков не инсал, не мог написать. И не только потому, что политика его интересовала мало. Самый склад его мышления был чужд всему революционному. Он нередко предавался меланхолии, в душе его росло «черное пятно» (каследственное безумие). Он знал, что ему суждено сойти с ума. Но мыслил он гармонически, как и Жуковский: при этом, гармония Жуковского вмещала мистическое небо, а батюшковская — одну землю.

В ранией юности Батюшков взял на себя роль беззаботного «эпикурейца». Позднее оп всё чаще впадал в уныние, и даже в отчаящие, которое перешло в помешательство. Но все эти житейские злоключения и мрачные настроения поэтической гармонии его не парушали. В поэзии и в поэтике своей Батюшков оставался верен ранним, юношеским «впечатлепиям бытия». Его мировоззрение сложилось в ту эпоху раннего ампира, когда русское культурное общество находилось в самой «гармонической» стадии своего развития. «Дией Алексапдровых прекрасное начало» в какой-то степени определило его творчество. Даже общение с «левыми» литературными кругами в начале 1800-х г.г. (Пнин, Попугаев, Радищев младший) на Батюшкова никакого влияния не оказало.

Как слагался Ватюшков-поэт? В поисках совершенства оп обратился к итальянскому языку, звучащему «как арфа». Оп, повидимому, стремился настроить русскую лиру свою на итальянский лад. Язык русский, писал он Гнедичу: «...плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? Что за щ, ший, щий, тры? О варвары! А писатели? Но Бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и его наречие. Я сию минуту дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостпого Петрарки, у которого, что ни слово, то блаженство» (1811 г.). По известному отзыву Пушкина стих Ватюшкова — «Любви и очи, и ланиты...» — звучит по-итальянски. Действительно, итальянский язык был для Батюшкова идеальным языком поэзии. Но его поэтическая речь оставалась вполне русской и «на практике» он пользовался осужденными им звуками, вроде ы и щий: и они гар-

монии его поэзии нисколько не нарушали. В «Тени друга» — «взыванье ко страже дремлющей...» — здесь *щей* гармонирует

со звуком ч (кормчего, очарованный, мачты).

Русским каноном батюшкова был средний стиль Карамзина и Дмитриева. Этот созданный ими язык «хорошего общества» — Жуковский и Батюшков упростили, одушевили и ко времени появления Пушкина довели до совершенства. Пушкин целиком «усвоил» элегического Батюшкова, а «напевный» Жуковский «остался про запас» и был позднее использован Фетом, Блоком.

Батюшкова, как и Парни, называют пред-романтиком и даже романтиком: ведь во второй половине 10-х г.г. он увлекался Байроном и перевел «морскую песню» из байроновского Чайльд-Гарольда (IV, 178). Позднее, уже в состоянии безумия, он написал ему письмо: «прошу Вас, Милорд, прислать мне учителя Английского языка, когда я снова буду обитать в Москве, в сем доме. Желаю читать Ваши сочинения в подлиннике. Молитесь Невесте моей» (1826 г.).

Но зыбкое романтическое небо Батюшкову не приоткрылось (как Жуковскому, прозревавшему «вечное» в стихах памяти Марии Протасовой). В благозвучных плавных его элегиях нет романтической тоски и романтических прозрений. Печальный прекрасный мир его поэзии остается земным. Романтизм ни в Батюшкове, ни в Пушкине ничего не объясняет (хотя оба они иногда пользовались романтическими сюжетами). Более оправдано другое объяснение: их творчество может быть истолковано, как ампирное. Ампир — это несколько упрощенный классицизм в архитектуре начала XIX-го в. Из Франции он распространился по всей Европе. Для русского ампира характерна разноцветная штукатурка (чаще всего белая, желтая, но иногда и розовая, зеленая), которой покрывались усадебные колончатые «домы» в Москве, в подмосковных и в провинции: эта окраска смягчала строгость стиля. В Петербурге ампир строже, суровее.

Батюшков — первый русский литератор, который ампир осознал. В своей замечательной «Прогулке в Академию Художеств» он называет имена Томона, Захарова, Гваренги и восхищается архитектурными ансамблями Петербурга, «смешением воды со зданиями», решеткой Летнего Сада в окружении лип, вязов, дубов.

Ампир, угаданный и истолкованный Батюшковым (под влиянием Оленина) был позднее «переведен» Пушкиным на язык

поэзии (в «Медном Всаднике»):

Люблю тебя, Петра творенье Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный...

Оба поэта ампир прославляли. Но более существенно, что и понимание поэзии у них обоих ампирно. Их божество, их музы — классически-разумны, а не романтически безумны, заумны. При этом, оба они доверялись и чувству: у прохладного Батюшкова была его «память сердца», а Пушкин знал «язык страстей». Они оба сильно чувствовали, но не были чувствительны. Они разумны, но не рассудочны. За чувствительность они укоряли Шаликова, а за рассудочность, «умничанье» — Вяземского.

Эмоции свои Батюшков и Пушкин подчиняли логике и разума, и сердца; поэтому, все чувства так прозрачны и одушевленны в их поэзии. Исторический тон ее — это ампир: строгий, столичный (в «Медном Всаднике») и более мягкий, провинциальный или деревенский (в лирике обоих поэтов; и в «Евгении Онегине», где, впрочем, охвачена вся дворянская Россия того времени).

Ампирны определения творчества в статье Батюшкова «О легкой поэзии». Главные достоинства слога — это «движение, сила, ясность. Критик ...каждое слово взвешивает на весах строгого вкуса, отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным. В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкой плавности; оп требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях...» Можно ли утверждать, что Батюшков излагает здесь исповедание классицизма? — Нет, это понятие может повести к недоразумениям. Авторитеты классиков уже были низложены. Появились новые жанры, неизвестные классикам, и новые кумиры. Не только Пушкин, но уже и Батюшков восхищался богом романтиков — Шекспиром; и ему нравился «дикий» (барочный) Державин. Если вообще нужна вывеска (для исторической ориентации), то самой подходящей является ампир, обнимающий почти всю русскую культуру первых двух-трех десятилетий ХІХ-го века: и зодчество, и словесность — не только поэзию Батюшкова, Вяземского, Давыдова, Пушкина, Дельвига, Грибоедова, Баратынского и в какой-то мере даже Жуковского, но также и юридический стиль Сперанского, конституционные проекты декабристов и, может быть, лаконическое красноречие проповедей митр. Филарета. Явления эти очень разные и далеко не все они «гармоничны». Всё же немало в них общего. Это общее: то разумное чувство камня и слова, та «трезвость духа», то умение ограничивать тему, которые характерны для всего ампира.

Почти все мыслящие люди того времени могли бы одобрить пушкинское определение вдохновения. Вдохновение — «...есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению оных» («Возражение» Кюхельбекеру, 1824 г.). Вдохновению (ума и сердца) Пушкин противополагает восторг (эмоциональный и рассудочный), который «исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного». Этот восторг (романтический) Пушкин, и не вся ли его эпоха, осуждает. Определение вдохновения и восторга, как и многие другие пушкинские формулировки, подсказано Батюшковым. Но, как всегда и везде, были и еретики: философствующие архивные юноши или Кюхельбекер с его грандиозными замыслами романтической трагедии — вдохновению предпочитали восторг.

Ампир, как явление культуры, несомненно многое в Батюшкове и Пушкине объясняет, но, к счастью, далеко не всё. Ведь поэзия и вообще искусство должны оставаться необъясненными до конца: иначе писание стихов и любое творчество лишились бы всякого смысла.

Все литературные и исторические комментарии кажутся бледными при сопоставлении их с комментариями поэта, жившего уже не в Петербурге, а в Ленинграде, где через сто лет, он перекликнулся с забытым Батюшковым. Я имею в виду Осипа Мандельштама. Его стихи, посвященные Батюшкову, были написаны в 1932 г.:

Словно гуляка с заморскою тростью Батюшков нежный со мною живст. Он тополями гуляет в Замостье, Нюхает розу и Зафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку, Кажется я поклонился ему: В светлой перчатке холодную руку Я с лихорадочной радостью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо, И не нашел от смущения слов: — Ни у кого — этих звуков изгибы... И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство Косноязычный, с собой он принес — Шум стихотворства и колокол братства И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса: — Я к величаньям еще не привык; Только стихов виноградное мясо Мне освежало случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови, Ты, горожанин и друг горожан, Вечные сны, как образчики крови, Переливай из стакана в стакан...

Звуков изгибы, говор валов, шум стихотворства, колокол братства, гармопический проливень слез... это уже не слагаемые исторической эпохи (ампира), а слагаемые поэзии Батюшкова, заново пережитой его отдаленным «потомком».

Ничего не объясияя, только показывая, Мандельштам заново воссоздает, воскрешает Батюшкова-поэта: его рука в светлой перчатке холодная, мертвая, но его поэзия продолжает жить, очаровывать. Она опять «изымает душу» из ее «обыкновенного состояния» и делает любимцев своих (поэтов) «несчастными счастливцами» (из письма Батюшкова Гнедичу, август-сент. 1811 г.).

Батюшков, уже омраченный душевно, сказал Вяземскому, в нюне 1826 г. (Соч., VIII, 481): «...я похож па человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, и упал, и разбился вдребезги. Поди, узнай, что в нем было». Нет, сосуд этот не разбился; Пушкин припял его из рук Батюшкова, а почти через сто лет его решился поднять Мандельштам. Дарования этих поэтов не равноценны. Нежный Батюшков и нежный Мандельштам — «субтильные фигурки»; они поэты, хотя и удивительные, однако, пе великие. Но у них был тот же образ совершенства, они стремились к той же гармонизации плавной поэтической речи, что и великий Пушкин. Самый бедный из всех этих трсх поэтов: Батюшков. Беден его словарь, его стихи бедны мыслию и чувством, и очень уж узок, певместителен излюбленный им жанр (элегии). Но у пего приоритет в плане времени: в своих элегических стихотворениях он, первый, создал образцы той плавной «членораздельной речи», которая остается и останется основным каноном русской поэзии, — каноном, который не в силах поколебать великие ересп Тютчева, или Блока, или Маяковского. Ересям, покуда жива русская (и вообще, любая), поэзия, надлежит быть. Ереси подтверждают незыблемость догмата...

Очарованный Батюшков всё еще стоит у мачты: он слышит валов взыванье, слышит однообразный шум и трепет парусов. А

мы слышим каждое им произнесенное слово: всегда самое лучшее, самое чистое — тщательно выверенное, но срывающееся с его уст «естественно-просто». Его стихи не только слышимы, но и видимы: их даже можно осязать, как «складки мраморной драпировки» (Белинский).

Поэзия Батюшкова — незыблемый догмат и чудо звучания. В ней та *та межесть*, и та *нежность*, о которых Мандельштам сказал: одинаковы ваши приметы... (1920 г.).

Батюшков родился 18-го мая 1787 г., умер 7-го июля 1855 г. Приблизительно половину своей жизни он провел в безумии. Помешанным был дядя его отца, Андрей Львович Батюшков. Он замыслил свергнуть с престола Екатерину. Весь этот заговор был плодом расстроенного воображения. Мать поэта, Александра Григорьевна, сошла с ума. Поэт знал — какое тяжелое наследство обременяет его. Душевная болезнь обнаружилась в 1822 г., когда он жил в Крыму. Приятель его, Н. В. Сушков, рассказывает: «Однажды застаю его играющим с кошкой. — Знаете ли какова эта кошка, сказал он мне, — препонятливая! Я учу ее писать стихи — декламирует уже преизрядно». Тогда же Батюшков сжег свою дорожную библиотеку и жаловался на хозяина гостиницы: он будго бы наполняет занимаемую им комнату сороконожками, тарантулами, сколопендрами. Его привезли в Петербург и оттуда отправили на излечение в Зонненштейн (в Германии), где он прожил четыре года. Здоровье его не улучшилось. В 1828 г. он вернулся в Россию, в сопровождении немецкого врача. Антона Дитриха, который вел подробный журнал его болезни. Медицинский диагноз болезни остается неясным. Но всё же очень интересны некоторые наблюдения, сделанные Дитрихом. Настроение Батюшкова постоянно менялось: неистовствуя, он оплевывал врача, и именовал себя Сыном Божним: плача и каясь, он просил вырвать у него зуб во славу Матери Божией; чем-то восторгаясь, он говорил стихами, по-русски, по-французски, по-итальянски. Иногда он устрашал, иногда же вызывал жалость. И — оставался поэтом. Упиваясь звуками «авзонийской речи», он восклицал: O, patria di Dante, patria d'Ariosto, patria de Tasso! O cara patria mia! О Шатобриане он говорил, что ему следовало бы именоваться: Château Brillant, и, при этом смотрел вверх, словно любуясь видением волшебного замка. Собою Батюшков уже не владел, но поэзия еще владела им.

Очень по-батюшковски, нежно-мелодично и ампирно-мраморно звучат стихи, написанные Батюшковым в годы душевной болезни: Царицы, царствуйте, и ты, императрица! Не царствуйте, цари! Я сам на Пинде царь! Венера мне сестра, и ты моя сестрица, А Кесарь — мой святой Косарь.

Смысл — неясен, но игра слов (кесарь-косарь) — игра поэтическая. А сестрицей он называет родственницу, ухаживавшую за ним в Вологде, Елизавету Петровну Гревенс (Элиза). Всё стихотворение посвящено ей; эта пьеса является вариантом «Памятника» Горация, при чем ряд выражений заимствован у Державина (Так первый я дерзнул в забавном русском слоге — О добродетелях Фелицы говорить). В последнем стихотворении, написанном до безумия, Батюшков изрекает:

...Рабом родится человек, Рабом в могилу ляжет, И смерть ему едва ли скажет, Зачем он шел долиной чудной слез, Страдал, рыдал, терпел, исчез.

(«Изречение Мельхиседека»).

Ватюшков страдал немало. Но в несчастии своем он был, по собственному признанию, «несчастным счастливцем» (как все поэты). Рыдания его элегий — счастливые, блаженные, очищенные поэзией. Поэтому он и не «исчез» (вопреки его Мельхиседеку), и не скоро еще исчезнет.

Голодной осенью 1920 г. Мандельштам писал:

За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь.

Молясь за поэзию, он молился и за Батюшкова...

Выражение «бессмысленное слово» не должно вводить в заблуждение. Можно поставить знак равенства между тем, что Мандельштам называет бессмысленным словом (поэтическим) и тем, что Пушкин называет «глуповатостью» (поэзия, прости Господи, должна быть глуповата). Говоря о бессмысленности и глуповатости они оба осуждают рассудочность, а не разум. Их бог поэзии умеи, а не заумеи (Ходасевич). Это не бог Хлебникова и дадаистов. Это — Аполлон. Помешавшийся Батюшков впал в заумь, но поэзию свою и поэтику он создавал, находясь в здравом уме и твердой памяти. Он творил, руководствуясь логикой — логикой ума и сердца.

Юрий Иваск

ВСТРЕЧИ С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ*

марксизм, апокалипсис, идея «взрыва»

В 1933 г. вышел том воспоминаний Белого «Начало века», там было и о 1905 г. Меня очень занимало — скажет ли чтолибо Белый о том, как я его лечил от анархизма «социал-демократическими пилюлями»? Около этого вопроса он ходил, но не сказал обо мне ни слова. Такое же умолчание я рассчитывал найти и в следующем томе его восноминаний — «Между двух революций» — доведенных до 1910 г., т. е. со включением сюда 1907-1908 гг., когда мы очень часто виделись. Мне стало известно, что приспособляясь к советским требованиям. Велый составляет в извращенном виде свою автобнографию и всё, что может его уронить в глазах советских издателей, цензоров и правителей, — из нее выбрасывает или переделывает так, что факты перестают быть фактами. Исходя из этого, я решил, что обо мне и наших отношениях он ничего нисать не будет: это слишком для него невыгодио. Обойти меня ему было очень легко. Он, например, писал о своих встречах в Литературно-Художественном Кружке. А в это учреждение я не ходил, оно мне мало нравилось, к тому же я был до конца 1908 г. «нелегальным», жил по чужому паспорту. Ходить в Кружок, всех членов и посетителей которого полиция знала, мне не полагалось. По той же причине не бывал я и в салоне Морозовой. Белый писал о тех, которые с ним полемизировали, — я ни единой строчки о нем не писал. Или, вернее, писал однажды, не называя его, и написанное ему до печати показал. В своих мемуарах он много говорит о литераторах Петербурга, о «башие» Вяч. Иванова, о Гиппиус, о Мережковском, — в этом обществе, живя в Москве, я не бывал. Самое построение его мемуаров было таково. что он мог бы меня игнорировать. Поэтому, когда в 1934 г. вышел том «Между двух революций» и мне написали, что там есть «кое-что и о вас», я этому удивился, а зная характер предыду-

^{*} См. кн. 45-ую «Нов. Журн.»

щего тома Белого — ожидал получить на свою голову если не ведро помоев, то, по крайней мере, несколько кружек. Ведь Белый знал, что, покинув парижское Торгиредство, я с 1931 г. стал эмигрантом. А если эмигрант, да еще с наклеиваемой на меня кличкой «меньшевик» — пощады не будет и буду я наречен «белогвардейцем», ослом или крысой, вроде тех, что Белый наблюдал у меня в помере в доме Обидиной.

Случилось неожиданное. Ни одной ругани по моему адресу, наоборот, даже какие-то приятные слова. Читаю:

— «Валентинов (Вольский) живой, бледный блондин, обладал даром слова и был острый и увлекательный собеседник».

В другом месте:

— «меня кое в чем понял эмпириокритик Валентинов».

Эмпириокритицизм в СССР был уже давно объявлен запрещенной, вредительской философией. Со стороны Белого такая фраза была неосторожна. Выть понятым «эмпириокритиком» аттестация плохая.

Белый встречался со мною в редакциях газет. В его воспоминаниях с остервенением говорится о всех «газетчиках» как типе растленных людей. С удовольствием констатирую, что меня в эту категорию он не отнес. Валентинов — «не был типом газетчика, скорее доморощенного (?) философа».

У Белого есть фраза уже крайне неосторожная:

— «C Валентиновым связывали меня теоретические интересы».

Связь с «меньшевиком», а связь значит не случайная встреча, а более пли менее длительное общение — факт, компрометировавший Белого. Зачем ему было в этой связи признаваться? Он мог об этом умолчать. Почему он этого не сделал? Некое подобие объяснения находится в следующих фразах:

— «Валентинов обладал умением будоражить во мне вопросы, связанные с марксизмом; мне казались странны его безгранные расширения марксизма на базе эмпириокритицизма; но я ценил в нем отзывии вость п то вишмание, с которым оп выслушивал тезисы мной вынашиваемой теории символизма; он писал в те дни книгу, за которую ему так влетело от Ленипа, назвавшего позицию этого рода эмпириосимволизмом; мы с ним договаривались почти до согласия в конечных темах наших построений; но Валентинову я подчеркивал, что позиция его развивается за пределы марксизма и в сторону символизма. Он, в свою очередь, силился мне доказать, что напрасно я держусь

за слово «символ», так как я на три четверти марксист; символизм де во мне — не при чем. Прочтя поздней знаменитое сочинение Ленина, я подумал: прав то был я, а не Валентинов в оценке его тогдашней позиции».

Столько здесь напутано, что распутать нелегко. О том, что он на «три четверти марксист» (такой прлык Белому был нужен!), я наверное не говорил. Для меня важно установить, что в отличие от прочих фигурирующих в его мемуарах и поверженных в прах эмигрантов — помои на меня не вылиты. «Отзывчивость и впимание», с которыми я действительно к нему относился — и, очевидно, он это хорошо помнил, — в этом деле вероятно имели большое значение. Но говоря, что его связывали со мной теоретические интересы, Белый предпочитает об этом только упомянуть. Но если я был, по его словам, «увлекательным собеседником», то почему в своих мемуарах он не сказал ни слова о чем же мы с ним «увлекательно собеседовали», какие такие вопросы, кроме теории символизма, обсуждали? — Причину умолчания, как я уже сказал, понять не трудно. В наших беседах А. Белый был совсем не таким, каким позднее он себя вообще представлял «советской общественности и власти». Он слишком многое от них скрывал и об этом умолченном и нерассказанном я и хочу рассказать.

* * *

Белый говорит, что я будоражил его вопросами, связанными с марксизмом. О марксизме мы с ним немало говорили, хотя бы потому, что в то время, после нескольких лет боязливо бродившего во мпе тайного ревизионизма, я уже открыто отходил от ортодоксального марксизма и всякие относящиеся сюда вопросы сидели у меня в голове и на языке. Конечно, не о всем, что мы по этому поводу говорили с Белым, — хочу рассказать, а только о самом интересном для его характеристики. Он как-то пришел ко мне с кислой миной:

— «Был в Румянцевской библиотеке. Взял три тома «Капитала», в них более 1800 страниц. Второй и третий том я и в руках-то никогда не держал. Мне нужно «проинспектировать» в них некоторые идеи, а я не могу этого сделать. Мне осталось жить, может быть, каких-нибудь 7 или 8 лет (он прожил после этого 26 лет. Н. В.). За это время я должен написать два тома по теории и истории символизма, книгу о стиховедении, книгу о новом театре, два романа, два тома поэзии и стихов, книгу о Соловьеве, книгу о Ничше. Нет у меня времени заниматься по-

бочным чтением «Капитала», я заглянул туда, он очень труден».

— А вы обратитесь к популяризациям. О первом томе «Капитала» есть книга Каутского, о самом существенном второго тома найдете у Булгакова в его «Рынки при капиталистическом производстве», сущность третьего тома изложена у Бериштейна».

Белый смотрит на меня с обиженным видом.

- «Я не старушка-нищенка, которая стоит на паперти церкви у нас в Никольском переулке и сморщенной рукою просит копеечку (показывает как она просит). Копеечных популяризаций я не прошу. Мне они не нужны. В 1906 г. Эллис мне их таскал, а я незаметно ему в боковой карман пальто швырял. Я хочу проинспектировать некоторые идеи «Капитала» и слышать о них не от кого-то, кого не знаю, а от того, кому в это время могу в глаза смотреть, чей голос слышать, кому могу предлагать вопросы и получить ответ не через месяц, или через год, а сейчас, немедленно. У меня нет времени ждать. Потому-то я и обращаюсь к вам».
- Я в панике. У меня очень срочная работа для издательства «Антик», каждый час дорог. А я знаю, что Белый, пропадая, как это бывало летом, иногда на целый месяц, в другое время залетал не на час, а на несколько часов с продолжением такого залета в течение нескольких дней подряд. И тогда от разговоров «русских мальчиков» — в духе Ивана и Алеши Карамазовых — становилось сухо в горле и комната наполнялась до потолка дымом от бесчисленного числа искуренных папирос. Возможно, что мне удалось бы уклониться от отнимающего много времени «инспектирования» идей «Капитала», но случилось недоразумение, способное страшно обидеть Белого, и мой уклон от «инспектирования» сделался уже невозможным. «За отнятие у вас времени от срочной работы, сказал Белый, я отплачу выкладкой вам некоторых идей символизма, о которых не писал и никому еще не говорил». Фраза была неясная, запутанная, я ее не понял, мне послышалось, что он мне хочет «заплатить» за помощь ему, и естественно пришел в раж.
- Да вы с ума сошли! Подумайте только, что вы мне предлагаете!

Белый побледнел. Он хочет мне сообщить какие-то большие им вынашиваемые идеи, а я говорю, что такое предложение может сделать лишь сумасшедший, и слушать его не хочу. Слава Богу, недоразумение удалось быстро выяснить, мы с ним поце-

ловались и, уже оставляя всякую мысль о срочной работе, я сказал, что если смогу сделаю всё, что он просит. В моей комнате находился маленький диван с изогнутым сидением. Лежать на нем было пельзя или только в скрюченном, крайне неловком, положении, подтянув ноги почти к голове. Тем не менее, Белый попросил позволения лечь на него. Больше того: забывая свое заявление, что ему нужно смотреть в глаза, он сказал, что если я ничего против этого не имею, он будет лежать, повернувшись ко мне сниною: «это позволит мне слушать с наиболее сосредоточенным вниманием». Я, конечно, против этого не возражал и всё время, нока я, расхаживая по комнате, говорил, «ниспектнруя» иден, цигировал Маркса и другие марксистские издания, Белый смирно, без движения лежал, скрючившись на диване, спиною ко мне, бросая то ренлику, то ставя вопросы из чего можно было заключить, что слушал он действительно с напряженным вниманием. Некоторые его реплики весьма интересны. Так, по поводу марксовой теории о присвоении капиталистом прибавочной ценности, произведенной рабочим, Белый, не повертываясь ко мне, сказал: «моральное осуждение этого акта не у Маркса нужно искать, а у Канта или еще лучше в Евангелии». Какие идеи нами «инспектировались»? Я далек от мысли наводить скуку подробно передавая что говорил в течение нескольких часов. Но чтобы показать на что, крайке характерно для него, реагировал Белый, изображу в максимально упрощениом виде, суть моего «доклада».

— «Капиталистическое развитие, по Марксу, ведет к уничтожению крестьянства, к его уходу в город или превращению в сельских рабочих. Свободная собственность по Марксу «самая пормальная форма собственности для мелкого производства», но целый ряд причип неумолимо и бесповоротно крестьянское хозяйство уничтожает. Георг Эккариус в брошюре, одобренной Марксом, писал, что мелкое крестьянское хозяйство обречено на гибель, опо баласт в современном социально-политическом развитии, оно «патое колесо в телего» и рабочие заинтересованы в том, чтобы малейшая понытка к созданию мелкого крестьянского хозяйства «подавлялась в корне». Развивал те же идеи и Вильгельм Либкнехт, заявляя, что над крестьянством произнесен смертный приговор, не существует средств, которые могли бы его спасти. Ход капиталистического развития в деревне — весь этот оплот старого общества уничтожает».

Белый, пе повертываясь ко мне: — «Оплот в деревне значит варывается?»

- «Да, если хотите применить это слово, «взрывается», такова мысль Маркса. Но исчезает не только мелкое крестьянское хозяйство. Опираясь на такие-то и такие-то факты и главное соображения, Маркс утверждает, что на исчезновение обречены и все средние слои города, мелкие фабриканты, торговцы, ремесленники и всякие другие независимые предприниматели».
- Белый снова подает реплику: «вся эта середина тоже озрывается?»
- Да, этот люд перестает быть независимым собственииком, предпринимателем и превращается как крестьяне в наемных рабочих. Общество разделяется всё более на два резко противоноставленных класса. С одной стороны — капиталисты, с другой — численно растущий класс наемных рабочих. Игрою ныманентных законов каниталистического производства происходит экспроприация населения и, одновременно, идет централизация каниталов. Один канкталист, читаем мы у Маркса, побивает другого, уменьшается число магнатов капитала, держащих в своих руках всё общественное хозяйство и узурнирующих все выгоды его. Однако, в недрах такого общества начинанают «шевелиться силы и страсти». Масса пролетариата страдает от нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатании, по, вместе с тем, растет и возмущение рабочего класса, организуемого и объединиемого самим процессом капиталистического производства. Монополия капитала, централизация средств производства, обебществление труда достигают такой степени, что становятся несовместимыми с капиталистической оболочкой. Она лонается. «Вьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Белый, до сего момента лежавший на диване, вскакивает с него и кричит:

— «Значит, происходит взрыв, все сокрушается, сметается, лопается!».

Я делаю понытки заметить, что теорию Маркса можно толковать и по иному: факты показывают, что крестьянство не подвергается полному исчезновению, Бернштейн и его последователи находят, что самый «взрыв» устраняется реформами, позволяющими не скачком, а эволюционным путем перейти к социализму. Наконец, сам Маркс полагал, что, например, в Англии, можно избежать взрыва, своевременно «откупаясь» от капиталистов. Белый не хочет этого даже слушать. Он заявляет, что внимательно следя за моим изложением трех томов «Капитала», «инспектируя» таким образом основные идеи Маркса, он

приходит к выводу, о котором уже раньше догадывался, но лишь хотел его проверить в разговоре со мною.

— «Настоящий марксист, думающий действительно по Марксу, должен под своей лобной костью, в своем мозгу, обязательно посить идею взрыва. Марксизм без идеи взрыва — уже ис марксизм. Это обстоятельство имеет огромную важность для меня символиста и находится в теснейшей связи с философией Соловьева и величественными прозрениями в «Откровении Иоанна».

От услышанного, ударяющего своей неожиданностью топором по голове, я теряю способность говорить, хочу только слушать, что дальше скажет Белый. Ивольте-ка понять его!! Нужно «научиться ходить поступью Маркса» — и вот теперь ссылка на откровение Иоанна, иначе говоря — на Апокалипсис! Во мне смутно бродит мысль, что в мозгу этого странного существа есть действительно какая-то мистическая связь между «взрывом» по Марксу и полоумной «Симфонией», в которой Белый изображал как Вл. Соловьев ходит по крышам домов и трубит в рожок: «конец уже близок». Я чувствую, что на самое дотошное изложение трех томов «Капитала» Белый меня толкал как будто только для того, чтобы услышать о взрыве, о неминуемости взрыва, самому несколько раз произнести с особенным чувством это слово и меня заставлять его повторять.

Неотступное видение грядущего «взрыва» несомненно занимало в его голове особое, громадное место и сопровождалось глубокими волнующими переживаниями. Перелистывая его сочинения, мы находим:

— «Взорваться — средство не погибнуть... На черный горизонт жизни выходит что-то большое, красное».

В другом месте:

— «Взрывчатый снаряд разорвется не ранее, чем человечество станет под одним трагическим знаменем».

В третьем месте цитата из Ничше:

— «Политика растворится в духовной войне. Старые формы жизни будут взорваны. Будут войны, которых никогда не было на земле».

В четвертом месте:

— «Священное сумашествие — взрыв назревшей революции духа».

В пятом месте:

— «Вулканические взрывы приближаются. Мы их уже слышим».

В шестом месте (в его «Петербурге»):

— «Культура — трухлявая голова, в ней всё умерло, ничего не осталось; будет взрыв, всё сметется».

Там же:

— «Прыжок над историей будет; великое будет волпение; рассечется земля, самые горы обрушатся от великого труса».

В сельмом месте:

— «Во варывах, в катастрофах и в ножарах развалится старая жизнь. Эти «варывы» уже совершаются в тех, кто себя начипают готовить к событиям «невой эпохи».

Профетическая мысль о взрыве — пеотъемлемый спутник его душевной жизни, и характерно, что в период острого душевного заболевания Белого в Дорнахе (1914-1915 гг.) именно эта мысль о взрыве взрывает его заболевший мозг, приводя к выводу, что взрывы в мире происходят от взрывов в самом А. Белом.

— «Взрывы во мне стали взрывами мира... Я бомба, летящая разорваться на части и, разрываясь, вокруг разорвать всё что есть... В могиле, на родине, в русской земле, мое тело, как бомба, взорвет всё, что есть, и огромной атмосферой дыма поднимется над городами России».

Откуда у Белого это иногда скрывающееся, но в течение многих и многих лет его не похидающее видение, предчувствие, пророчество «варыва», довольно-таки меня раздражавшее, так как после революции 1905 г. нового взрыва я не чувствовал, не ожидал и позднее (после всего, что я видел в России в 1909-1914 гг.) был глубоко убеждеп, что взрыв в 1917 г. не произописл бы, если бы пе было войны. Для понимания предчувствий Белого следует обратиться к семейной обстановке, в которой ему пришлось жить. Рано пачавший думать, развиваться, крайне нервный мальчик был раздавлен отношеннями между отпом, профессором математики, человеком физически знаменитым здоровым, по уродом, с пенормальной рассеянностью и пелепыми чудачествами, и матерью, красавицей, властной, злой неврастеничкой, заставлявшей всех в доме ходить на цыпочках. Более противоположных натур, сообщает Белый, чем его мать и отец трудно найти. Самый брак их непонятен. Всё, что принималось отпом — зло и настойчиво отвергалось матерыю и, наоборот. На этой почве вечно происходили дикие домашние сцены, повергавшие в ужас Бореньку Бугаева. «Я нес, пишет Белый в своей автобнографии, мучительный крест ужаса этих жизней». Он жил изо дня в день в ожидании какой-то катастрофы, взрыва всех семейных отношений, «конца мира», после которего последует страшный провал куда-то. Страх и ожидание такого провала — содержание его мучительных ночных кошмаров. Он научился притворяться, говорить одно отцу, другое матери, метаться между ними, «взрываться» как мать п «пороть дичь» как отец, в конце концов — впадать в полную «немоту», в боязпь и неумение вообще что-либо сказать. Его начали считать идиотом. С годами «немота» прошла, он делается бойким слишком «бойким» молодым человеком, но детское ожидание катастрофы глубоко залегло в его душу и когда позднее юноша Бугаев хватается за книги, его «предчувствие» получает теоретическую, философскую, мистическую санкцию от чтения Апокалипсиса, Ничше и Вл. Соловьева. Отец с 6-го класса гимназии ему подсовывал Бокля, Льюнса, Спенсера, логику Милля; по его требованию (при негодовании и протесте матери) он поступает на математический факультет, чтобы «быть как отец», однако не этого требовала его душа. Душа выбирает иное. В Дедове «посредине пруда» на лодке он с С. Соловьевым читает ночью Апокалипсис при свете колыхаемой ветром свечи. «Апокалиптической мистикой, поясняет он, я был переполнен до всякого Апокалипсиса». К странным видениям он привык еще со времени ночных коппмаров. Боря Бугаев (в 18 лет) сочиняет повесть о пришествии Антихриста под маской Христа и М. С. Соловьев (брат Владимира Сергеевича) находил, что она значительно сильнее той, что написана его знаменитым братом. В 19 лет Белый знакомится с Заратустрой Ничше и с этой книгой уже не расстается. Он упивается словами Ничше: «я благостный вестник, какого никогда до сих пор не было, я знаю задачи такой высоты, для которых до сих пор недоставало понятий... Я хожу среди людей как среди обломков будущего, того будущего, что вижу я один». Весною 1900 г. происходит свидание Белого с Вл. Соловьевым, произведшее на него потрясающее впечатление. «С этого времени я жил чувством конца, ощущением новой последней эпохи благовествующего христианства». Белый ностоянно ходит на могилу Соловьева, встречается с ним в своих снах, под влиянием его повести об Антихристе — ему «чудятся зовы восставших мертвых». Его притягивает с новой силой Апокалипсис. Беседовать о нем и о повой эпохе он ездит в Донской

монастырь к живущему на покое епископу Антонину. Об Апокалипсисе он ведет беседы с Л. Тихомировым, в прошлом главой террористической организации «Народной Воли», а после «раскаяния», возвращения в лоно самодержавия и православия, ставшим ученым толкователем «Откровения Иоанна». Уже с 1901 г. слыша, что «эволюция безболезненно приведет человечество в лучиее будущее», Белый проникается презрением и ненавистью к позитивистическому мировоззрению и самой иден эволюции, «постигает скуку такого будущего», бросается к анархизму, находит, что только при обладании трагическим мировозэрением можно ощутить «апокалиптический ритм времени», иметь чувство «зари», услышать «звук грядущей эпохи» и приближающегося «взрыва». В 1905 г. в год революции, Белый, в кружке Астровых читал доклады об Апокалипсисе и анархизме и мне теперь понятно, что этим апокалиптическим духом была проникнута и та странно для меня прозвучавшая речь Белого осенью 1905 г. в Университете, взывавшая «волить взрыва» и требовать немедленного уничтожения всякого государства. В ней был не только анархизм, было и другое: Апокалипсис. Но в день, когда мы с Белым «инспектировали» три тома «Капитала» — генезиса его духовного, идейного развития я не знал и в соединении Маркса с Соловьевым увидел лишь выверт оригинальничающей мысли.

- «Если вы, хотя бы немножечко, хотите следовать за марксизмом, то на что тогда вам Соловьев, Апокалипсис и «Жена облеченная в солнце»? А если вы за Соловьева и эту жену крепко держитесь тогда бросьте даже мимолетные разговоры о марксизме. Одно абсолютно отрицает другое. Неужели вы этого не видите, не чувствуете? Нельзя же под лобной костью, как вы выражаетесь, держать такую непереносимую смесь, от нее ваш мозг «взорвется».
- «Я вам сейчас отвечу» и в первый раз и единственный я услышал от Белого речь совершенно непохожую на обычные. Обычно он «пылал», волновался, прыгал, негодовал, что слушатель его не понимает мысли. На этот раз он говорил со мною поразительно спокойно, вроде учителя, объясняющего ученику самую простейшую арифметическую задачу и терпеливо ожидающего, чтобы ученик ее усвоил. Что сказал мне Белый?

Мне приходилось уже говорить, что речи Белого точно не передаваемы. И причина совсем не в том, что моя память слает — несмотря на мой возраст, по сей день она еще превосход-

на. Но Белый особая статья. Ни построение фраз, ни слова его, не были таковы как у нас всех. Потому я могу передать смысл его речи, отдельные особо запомнившиеся в ней куски и слова, но не его ни на что непохожий поток слов во всей их связи, или вернее, с присущей Белому несвязностью.

- «Жена, облеченная в солнце, есть чарующий, светлый символ, награждающий человечество благовествующей вестью о новой эре. Взят этот символ из Апокалипсиса — величественного леса из символов, сохраняющих свое значение вплоть до момента когда, по выражению Соловьева, небо сольется с пучиною вод или, по Апокалипсису, появится новое небо и новая земля. В Апокалипсисе — ряд символов, отражающих борьбу разных эпох в жизни человечества — уход от эпохи, в данный момент считающейся благополучной, к другой катастрофической, революционной. Между символами Апокалипсиса и марксизмом есть некий параллелизм. Марксизм со стороны его религиозно-пророческой сущности есть тоже видение смены, путем взрыва, двух эпох — одной, называемой им буржуазнокапиталистической, другой — социалистической. Под своей лобной костью маркспст должен обязательно носить идею варыва, иначе он перестает быть человеком катастрофической эпохи, делается вроде домашней собаки с выстриженной шерстью, чтобы она походила на льва. Из марксизма, говорите вы, нельзя перейти к Соловьеву. Соглашаюсь, но от Соловьева, как от общего к частному, можно перейти к марксизму, так как если марксизм, в конечном счете, есть лишь видение и прозрение, то философия Соловьева есть еще большая система видений и прозрений, связанных с охватом всего Космоса, и делающих ее неизмеримо более широкой, более глубокой, более проницательной чем сухие и, в сущности, нелалеко илущие прозрения Маркса. В чем суть революционного взрыва, этой ссылки Маркса на лопающуюся оболочку общества, после чего происходит экспроприадия экспроприаторов? Взрыв есть акт духовный. Ссылка на концентрацию капиталов пли на что-либо полобное этого акта не объяснит, тогда как у Соловьева глубочайшее объяснение что значит этот взрыв, находящий себе проявление в кризисе нашего сознания, всей пашей культуры, резких изменений пашей психики, появление видений зари. По Марксу оболочка лопается, а что дальше, что потом? За этим, говорите вы, Маркс видел бесклассовое общество. Общество без классов означает общество людей, переставших друг друга резать, грабить, угнетать, эксплоатировать, иными словами, сменивших старые чувства на чувства признания своих ближних. Какие это чувства? Отвечая на это нужно поставить несколько огромных до неба возвышающихся слов. У Маркса их нет. А у Соловьева есть: после катастрофического взрыва, смены старой, прежней эпохи, наступает эра вселенской любви, благовествующего христнанства.

Зло позабытое Тонет в крови. Всходит омытое Солнце любви.

Это или не это хотел сказать Маркс? Если не это — тогда Маркс не видит, не чувствует, не знает, что нужно сказать. А если это — тогда совершенно очевидно, что его видения ничтожнее соловьевских. Взрыв у Маркса — хлопушка с пустотой, а у Соловьева — за ним космический поворот, победа Софии Премудрости Божьей, перерождение человечества, в акте вселенской любви устанавливающееся полнейшее единство всех людей составляющих человечество. Я Маркса уважаю, в его теории варыва, которую, как оказывается, можно хорошо установить по трем томам «Капитала», есть несомненно звук идущей эпохи, но я не могу не видеть, что на величественном экране религиозных прозрений Соловьева марксизм представляется лишь свидетельством узкого, частного характера, подтверждением лишь кое-что видящего материалиста, позитивиста. Отсутствие широты у марксизма видно и из другого. Вы говорите, что Маркс всегда отказывался давать какие-либо подробные указания, что произойдет после взрыва и обобществления средств производства. Он просто утверждает: будет благо. В этом-то пункте особенно ясно, насколько материалист и позитивист Маркс слабее прозревает будущее, чем Соловьев. Соловьев допускает, что после взрыва может наступить равенство всеобщей сытости, это сще не будет царством блага, Христа, а может быть эпохой Антихриста под маской Христа. Потребуется новый взрыв, чтобы придти к эпохе подлинного благовествующего христианства и подлинной вселенской любви. Пред нами не одно детерминированное решение будущего, не один путь будущего, а сложное противоборство двух тенденций. Антихрист может придти ранее Христа.

«Проповедь» Белого, а ничем иным его речь назвать нельвя, — я слушал с большим любопытством. Меня однажды уже пытались убедить принять философию Соловьева. Это делал Булгаков, но он в то время поспешно уходил от какого-либо прикосновения к марксизму, а Белый, наоборот, делал попытки сблизиться с марксизмом, в какой-то степени принять его, одновременно присоединяя к нему и Соловьева, и Анокалипсис. Было занятно (как в театре смотрят на интересную ньесу) следить ва умственной эквилибристикой этого талантливого человека.

В то время я не знал ни Гарнака, ни других учепых, занимавшихся исследованием происхождения книг Нового Завета; стал читать их четыре года спустя. Апокалинсис внервые прочитал, кажется, только в конце 1902 г. после разговора с Булгаковым. Кроме книги шлиссельбуржца Морозова «Откровение в грозе и буре» (вышла в 1907 г.) мало убедительно доказывающей, что Апокалипсис написан под впечатлением затмения солниа в четвертом веке Иоанном Златоустом — о сем произведении инчего больше не читал. Но описываемое им истребление людей всеми способами — огнем, мором, мечем, дымом, серой, саранчей, дракопами, многоголовыми страшными зверями, рыжими и бледными всадниками — произвели на меня отвратительнейние внечатление. От всего всяло Ассурдапаналом, Хаммураби, ассирийско-вавилонской жестокостью. Даже при весьма поверхностном знании Нового Завета, я почувствовал (думаю такое же чувство должно быть и у других) огромное противоречие между духом Апокалипсиса и других частей Пового Завета.

— «Вы видите, сказал я Белому, в Анокалипсисе лес величественных символов, но можно ли в нем усмотреть хоть капельку вселенской любви, о которой вы так хорошо говорите? Там и в царстве Христа народы насутся «жезлом железным»!

Белый списходительно улыбался.

— «Вы напоминаете моего отца. Об Апокалинсисе он говорил почти то же самое, что слышу от вас, к этому всегда прибавляя — Влад. Ссловьев носится с Апокалинсисом, но кому же неизвестно, что он был психически-больным человеком, сумасшедшим, в течение многих лет страдал галлюцинациями? Я отвечал моему отцу, что знаменитого математика Лобачевского многие тоже считали сумасшедшим, тогда папа замолкал. У вас позитивистов имманентный отпор против высшей метафизической математики».

«Я» И «МЫ». «ФОРТОЧКА»

В конце 1907 г. среди меньшевиков особенно ясно обнаружилось стремление выйти из подполья и перестроить партию, пользуясь всеми возможностями для легальной деятельности. Это была та линия поведения, или настроение, которое позднее, называя «ликвидаторством», свирепо критиковал Ленин, видевший в сохранении подполья необходимое условие самого существования партии заговорщического характера. Продолжая быть нелегальным, живущим под чужим паспортом я, тем не менее, в это время очень ратовал за необходимость возможно скорее выбраться из подполья, идти во все легально организуемые профес. союзы, участвовать и развивать все виды кооперашии, работать в разных просветительных учреждениях, в отделах городских управлений и земств, появляться и укрепляться всюду, быть полезным, говоря свое слово. Мон товарищи по партии, не отрицая желательности выхода из подполья, однако, считали, что я «палку перегибаю», и, придавая минимальное значение партийной работе, стремлюсь заменить ее только полезной работой на легальном и открытом поприще. «Вы проповедуете, возражал мпе, например, Ф. А. Черевании, что нам в сущности нужно превратиться в людей вроде Штольца Гончарова или Соломина Тургенева. В таком случае от социал-демократии как партии ничего не останется. Она расплывается, вместо пее появляется просто «полезный» в буржуазном смысле человек или делец». Но почему — спративал я — нужно думать, что, находясь в подполье, человек сохраняет свой антибуржуазный и социалистический дух, а как только высовывается из подполья, его должен потерять? Важнее всего, при всех обстоительствах, сохранять социалистический дух, а при наличвости его и в каниталистической обстановке могут быть социалистические Штольцы и Соломины. В качестве примера я ссылался на Ф. Эпгельса, бывшего крупным пайщиком одного большого текстильного предприятия Англии.

Спор с Череваниным, за его отъездом из Москвы, прекратился, по проблема была поставлена и в течение многих месянев толкала меня на размышление о человеке-социалисте, не об экономических и политических предпосылках социализма, а о квиит-эссенини, самой морально-психологической сути человека-социалиста, его особой организации души. Для характеристики его, конечно, было бы недостаточно сказать, что он должеп быть борцом за правду, справедливость, за интересы угне-

тенных. Сложнейщие проблемы, обнаруженные последними десятилетиями, мне, как и всем в то время, были не только неведомы, но их существование даже и не подозревалось. Поэтому, в согласни с укоренившимися воззрениями и мысля предпосылкой осуществления социалистического строя «социализацию средств и орудий производства», я заключал, что из этого факта логически и естественно вытекает прекращение классовой борьбы, уничтожение разделения общества на классы, социальное равенство. «А с уравнением условий жизни людей, — писал я в 1908 г., — изменится самое отношение их друг к другу. Из конкурирующих и враждующих особей они превратятся в товарищески-дружную солидарную среду; чувство связи людей увеличится, так же как их способность понимать друг друга, всё это вместе с ростом утонченности их психической жизни».

Подобные общие указания, довольно избитые, присутствующие во всех социалистических букварях, меня мало удовлетворяли. Хотелось угадать, более точно определить, более конкретно себе представить душевный облик будущего человека при социализме, а его предтечей в какой-то степени должен быть социалист уже в наши дии. И вот тут-то и начиналось то, что Белый назвал в своих мемуарах моими «безгранными расширениями марксизма на базе эмпириокритицияма». Было бы абсурдной тратой бумаги подробно излагать в чем заключались эти «безгранные расширения». Я дам только кратчайшее представление о них и только потому, что без этого не будет фона вспышки, которой по поводу «безгранных расширений» так поразил меня А. Белый.

Авенариус — один из основателей эмпириокритицизма — рассматривал человеческий организм как систему жизнесохраняющуюся с подвижным, изменчивым равновесием на почве усвоения и траты энергии. В организме играет наиважнейшую роль центральная нервно-мозговая система (System C у Авенариуса), собирающая изменения, идущие от периферии и к С направляющиеся. Всё, что влечет уклонения от равновесия системы С, Авенариус называл жизнеразностью. Постоянные возникающие жизнеразности образуют жизненные ряды и человеческая жизнь состоит из таких рядов — из постановки жизнеразностей, разных способов их выведения и возвращения к равновесию, к точке «покоя», всегда нарушаемого. В «Kritik der reinen Erfuehrung» Авенариуса, во II ее томе, мое внимание особенно привлекла глава «System C hoeherer Ordnung», рас-

сматривающая протекание и устранение жизнеразностей индивидуальных систем в обществе высшего порядка, называемом им «конгрегальной системой» («Kongregal System»), совнадавшей в моем представлении с обществом социалистическим. В этой системе каждый член общества поддерживается при наибольшем мыслимом увеличении жизнесохранности наибольшего числа других членов, а сама конгрегальная система — при напбольшем мыслимом увеличении сохранности каждого отдельного ее члена. Это может иметь место не только от уравнения условий жизни, но при наличности другой существеннейшей причины: уменьшения эгоистических чувств, большего «соощущения» каждым своего ближнего, (ослабления, растопления, выветривания весьма чувствительной оболочки, которая, называясь нашим «я», обычно резко противопоставляется другим «я», от них отгораживается забором, а иногда целой стеной). Возможность такого устранения своего «я» — не фантазия или гипотеза. Каждый день, может быть каждую минуту, в разных местах нашей планеты имеют место акты высочайшего альтруистического проявления, спасения чужой жизни (при пожарах, наводнении, гибели в океанах, на горах и во множестве других случаев) с полным в этот момент у спасителей забвением своего эгоистического «я». Лишь ограниченное число подобных актов отмечается в хронике газет, тогда как их следовало бы собирать в Золотую Книгу человечества. Для внушения ему высокой морали, актов благородства и красоты они были бы более полезны чем разные «катехизисы»*. Но эти забвения «я» характерны лишь для какого-то момента, какой-то минуты. Можно ли на этом начале, именно как постоянном, построить всю социальную жизнь? Отсутствие «я» может быть разного рода. Оно характерно для общества, стоящего на низкой и очень низкой ступени развития. Превосходную картину такого общества дал в 70-х годах Глеб Успенский в своих «Мелочах путевых внечатлений», характеризуя деревенскую Русь. Он сравнивал ее со скопищами плывущей по морю воблы.

— «Ишь сколько ее валит! До Камчатки, до Адесты (Одесса), до Петербурга, до Ленкарана всё сплошное, одинаковое,

^{*} Эти строки были написаны, когда во французских газетах (8 мая 1955 г.) появился отчет о праздновании героев, отличившихся при спасении погибавших в море и океане. Среди них первым в проявлении человеколюбивого геройства — Шарль Массон; 80 раз рискуя своею жизнью, он спас 133 жизни!

точно чеканное: и поля, и колосья, и земля, и небо, и мужики, и бабы, всё одно в одно, один в один, с одними сплошными красками, мыслями, костюмами, с одними песнями. Всё сплошное: и сплошная природа, и сплошной обыватель, и сплошная нравственность, сплошная правда, сплошная поэзия, словом, однородное племя, живущее какой-то сплошной жизнью, какой-то коллективной мыслью и только в сплошном виде доступное пониманию. Отделить из этой миллионной массы единицу — дело невозможное».

«Жутковато и страшновато, — добавлял Успенский, жить в этом людском океане». Несомненно жутко. Здесь нет личностей, все одинаковые, сплошная человечина, слепое тесто, где как мельчайшая крупинка исчезает отдельный человек. Нет «я» — только «мы». На вопрос «из какой ты губернии?», мужик прежде отвечал: мы — рязанские, мы — тамбовские, или мы — пензенские. Общественно-экономическое развитие разминает это слепое тесто. Создает огромную дифференциацию, вылепливает личность. Общество становится суммой личностей, суммой «я» с обостренным ощущением своей единичности, ценности, индивидуальности, неповторяемости. Жизнь на этом не останавливается. Скопление грандиозных масс в городах, рост больших предприятий, концентрация труда, всё большая однородность образования, быта, множество всяких других фактов и, наконец, происходящая социализация средств и орудий производста — прижимают людей друг к другу. В «конгрегальной системе» происходит психологическая трансформация личности, ломание, исчезновение перегородок между «я», выветривание «я». Это не возвращение к прежнему слепому тесту, а новое лицо общества уже на очень высокой ступени социально-культурного развития. «Я» стирается, его постепенно замещает «мы», и в этом случае «мы» не слепая человечина, а нечто иное, трудно определяемое, так как для характеристики будущего психического состояния и организации личности трудно найти нужные выражения. Можно только указать, что высокоразвитое своеобразное содержание личности, продолжая интенсифицироваться, облечется в форму, которая будет носить «сверхличный» характер. Современному индивидуалисту бесконечно трудно принять такой взгляд. Малейшая потеря «я» ощущается им как невыносимое, болезненное ущемление. И потеря «я» была бы действительно мучительна, если бы при тираническом отсутствии свободы явилась следствием насильственного выглаживания горячим утюгом всех индивидуалистических

складок души. Но за взрывом и социализацией средств производства обязательно последует (напомню — речь идет о моих взглядах в 1908 г.) по словам Энгельса — «скачек из царства необходимости в царство свободы» — и свободы полной. А под ее небом уход из узкой индивидуалистической скорлупы не акт навязываемый, а импульс воли, ищущей и создающей новые отношения людей.

Глубочайшая ошибка утверждать, что всякое устранение «я» всегда влечет за собою мучительное разложение, распадение высоко-развитой личности. Не предположение о будущем, а факты настоящей, сегодняшней жизни такое суждение опровергают. Например, при настоящей, глубокой любви двух особей противоположение «я» и «ты» полностью исчезает. Нет «он», иет «она», только «мы». «Он» и «она» могут иметь весьма различный душевный склад, тем не менее, признание равноценности этого различия, взаимное уважение, цементированное любовью, приводит к полному взаимному пониманию, созвучию душ, душевному сплаву. Радости и горести одного переживаются другим как свои собственные и смерть одного члена такого союза часто приводит к смерти другого. Подобный идеальный браксоюз существует. В художественной литературе он много раз находил свое отражение и кажется никому в голову не пришло называть вытеснение здесь «я» и замену его «мы» — не приобретением, а мучительным недостатком.

Безличное «мы» появляется и при слиянии человека с природой. Это выход из узких границ личности, переполнение ее сверх края нахлынувшей красотой, гармонией, спокойствием, ритмом природы (поля, леса, река, небо, море, океан). Здесь тоже отсутствует противоположение: я и она — природа — есть «мы», полное елинение, сопровождающееся огромным чувством наслаждения. Примеров подобного состояния можно во множестве найти в художественной литературе, хотя бы в «Пане» Гамсуна. «Мужиках» Реймонта, некоторых романах Лемонье или в стихах М. Гюйо: «в природе все равны, все тайно связаны и в цепь заключены, мы все — ее одной, Вселенной, достоянье».

Такое же погашение «я» имеет место у многих людей при встречах с большим произведением искусства — будь то музыка, по Шопенгауэру снимок мировой воли, или театральное произведение, поэзия, картина, архитектурное создание. Содержание больших произведений искусства как бы рвет, раздирает

у индивидуума ограниченную оболочку его души, в нее врывается, в этот момент делает его иным, не тем, что обычно.

Смиряется и выветривается «я» и пред грандиозным, веками накапливаемым, опытом человечества, называемым наукой. У настоящих больших ученых неизмеримо больше чем у простых смертных сознания малости своего «я», в сравнении с сознанием коллектива живых и мертвых людей, создававших науку. Особое чувство потери «я», заменяющегося сложным комплексом благоговения и смирения, мы испытываем в громадных библиотеках, откуда с полок из сотен тысяч книг па пас смотрят мысли множества мертвых и живых.

«Не я, настанвает Мах, а содержание «я» имеет существенное значение. Оппибочно представление о себе как неделимой единице. Содержания сознания общего характера ломают перегородки индивидума и ведут независимо от личности, в которой они развились, жизнь безличную или сверхличную. Содействовать развитию этой жизни — высшее счастье для художника, исследователя, изобретателя, социального реформатора».

В общественпо-политической жизни это погашение «я» хорошо известно многим и многим ораторам, трибунам. Когда чувства и мысли, свойственные оратору, проповеднику передаются слушателям, толпе, коллективу, их заражают и заряжают, образуется своеобразное поле встречных психических токов — от трибуна к толпе, от толпы к трибуну, появляется созвучие этих токов, единения «я» и «толпы», и у трибуна (не демагога) — радостно ощущаемый выход из своего узкого «я» в широкий мир коллективной души.

С этими примерами и выкладками я и носился в 1908 г., считая что глубокое преображение психики будущего человека в «конгрегальной» (социалистической) системе совершится не под сжимающим колпаком «я», а в совершенно новой форме внутренней организации личности, далекой от буржуазного индивидуализма с его отгалкиванием от «мы» и категорическим утверждением приоритета независимого «я». Это я пытался доказывать и в моей книге «Философские построения марксизма», откуда многие выписки и вставлены в вышеприведенные строки.

В 1907 г. и в первой половине 1908 г. Белого весьма занимала проблема отношения между личностью и коллективом, между «я», «мы» и «они». Он писал, что «личность гниет», что «индивидуальное я» должно быть расширено, но «расширяемость»

его может быть «когда я в коллективе»*. В другой статье он писал, что «хотя индивидуализм надо преодолеть», но у нас разочарование в «самоновейших формах» коллективистического его преодолевания. А в третьей статье уже категорически заявлял, что «индивидуализм — цитадель, которую не следует преодолевать». Было видно — проблема его жжет: он то ухватывался за нее, то отнихивал ее, приближался к ней с одиим решением, уходил с другим. И так как именно в это время я — по причинам и в обстаповке уже выше очерченной — тоже уперся в проблему «я» и «мы», индивидуализма и коллективности — разговоры на эту тему с Андреем Белым у нас происходили неоднократно. Моментами казалось, что мы приходим в этом вопросе к согласию, однако, дня через два обнаруживалось, что оно далеко не полное, а ногом произошел «варыв» и от монх доводов, примеров, выкладок Белый отшатнулся с такой силой, что эта сцена, со всеми ее деталями, осталась у меня в памяти прибитой гвозлями.

В этот день, уснащая мои мысли разными примерами, поминая, конечно, «конгрегальную систему» Авенариуса и всё прочее, о чем говорилось выше, я старался убедить Белого, что раз он принимает социализм, то должен перестать колебаться в вопросе об индивидуализме, согласиться с моей теорией о «я» и «мы» и, главное, не видеть в ней чего-то калечащего личность.

Белый сидел, слушал и молчал и вдруг поднял руку, остановил мое разглагольствование, подбежал к двери, открыл ее, заглянул направо и налево, как бы желая проверить не слушает ли нас кто-нибудь, кинулся ко мне, нагнулся и в ухо про-шептал:

^{**} Бывали моменты, когда в мистически настроенный мозг Белого врывалась физика, физиология, биология, всё чему он учился в Университете. Он был естественником. В такие моменты он весьма прислушивался к моей «пропаганде» биомеханики Авенариуса, его теории жизнеразностей, жизненных рядов, конгрегальной системы и пр. Замечая это, я, говоря с ним, и налегал на «конгрегальную систему». Белый однажды даже взял у меня «Критику чистого опыта» Авенариуса, но его познания немецкого языка оказались недостаточными, чтобы одолеть тяжкий язык Авенариуса и книгу он не стал читать. Возсращая ее, он, однако, сделал, абсолютно ему несвойственное какос-то «биомеханическое» определение культуры: «это деятельность, обеспечивающая сохранение и рост жизненных сил личности и расы»!

- Форточку не забудьте!
- Какую форточку?
- Форточку в конгрегальной системе, в социалистическом обществе. Ведь это же ужас! Табуном устранение жизнеразностей. Все прижаты друг к другу. Никаких перегородок. От такой духовной тесноты дышать невозможно. Если нельзя иметь большую форточку, просверлите, оставьте хотя бы малюсепькую дырочку, чтобы из нее свежий воздух приходил. Ужас! Ни одной личности, только «мы» мычат, какие-то страшные майн-ридовские всадники без головы. Вез головы или без личности, без ядра «я» это одно и тоже. Табуны! Никогда и пигде табуны в истории инчего не творили!

Встав посредине комнаты, закрыв глаза руками, — Белый продолжал:

— 0, я вижу ясно это конгрегальное общество! Ночь, над всем отвратительный серо-желтоватый мутный свет. Вижу дортуары, тысячи, сотии тысяч, миллионы кроватей, ряд за рядом уходят куда-то в бесконечность. На кроватях сият «мы». У всех одного и того же серого цвета одеяло. Одинакового цвета ночные туфли, одного и того же вида столик у кровати, у всех одинаковые сновидения. Чудовищная машина наделала миллионы одинаковых кукол и вложила в них подобие души. Мне стращно быть среди них, ведь это же не люди! Я задыхаюсь от дыхания этих миллионов кукол. Я не могу быть среди них. Я вскакиваю с моей кровати и вот так крадусь к степе, к форточке. Форточка с решеткой высоко в стене. Я прыгаю, падаю, опять прыгаю, падаю, хватаюсь за решетку, срываюсь, раню руки и всё-таки удается окровавленной рукой держаться за решетку и прислонить к форточке мое лицо. Оттуда идет свежий воздух. Какое счастье! Вижу ласковую луну, свет ее стелется по реке, серебрит верхушки деревьев. Там нет мертвых страшных серо-желтых дортуаров, нет миллионов кукол, похожих на людей. Заявляю: среди «мы» я не буду. В дортуары на кровать, под соответствующим номером мне отведенную, не нойду. У форточки, держась за решетку, буду висеть пока не свалюсь мертвым. Умру, если они захотят меня отсюда оторвать. В дортуары они понесут только мое бездыханное тело. Мое «я» они в илен не возь-MVT.

После такого зална, Белый бросается на стул. Руки его повисают, у него вид умирающего Пьеро.

Сцена эта произвела на меня тяжелое внечатление. Всю мою теорию он истерически отбрыкнул ногой. Ангел «Мадиэль»

обнаружил столь невыносимый, терпкий индивидуализм, что меня передернуло. После некоторого молчания говорю:

— Вы потчевали меня «громадными» словами о вселенской любви и благовествующем христианстве. Вы доказывали, что конечной, самой большой идеальной целью преобразованного общества может быть только это, в сущности евангельское — любите ближнего как самого себя. Вы говорили, и даже писали, что, идя в этом направлении, нужно всем встать под зпамя социализма. По тому, как вы отнеслись к моей теории, неизмеримо более скромной, просто маленькой, в сравнении с проповедью вселенской любви, — заключаю, что социализм вам чужд, даже ненавистен. У Уйтмана есть стихотворение: «Моя голова превыше всех библий, вер и церквей». В этом роде что-то сидит и в вас. Ничше вас отравил ненавистью к «мы» и самой крайней степенью индивидуализма.

Ответ Белого бесполобен.

— «То, что я сказал — это наш секрет. Это по секрету — вам одному. Социализм и Маркса критиковать никогда не буду. А Ничте не трогайте: он острее всей культуры».

Наш разговор происходил, если не ошибаюсь, весною 1908 г. В конце года Белый «секрета» уже не держал: от соцпализма явно отпихивался и отпихнулся совсем. В первой редакции романа «Петербург» (1911 г.) устами одного теософа он заявил, что «в социализме чаяние светлого воскресенья человечества переходит в сладострастную жажду крови, чужой, своей собственной (всё равно)». В эпоху наших встреч, когда по словам Белого, я «будоражил» его вопросами связанными с марксизмом, Белый «уважал Маркса и его теорию взрыва». Позднее — всё уважение исчезло. В марксизме он стал видеть подозрительную, в своей основе «деляческую» теорию. В «Записках мечтателя» в 1921 г., когда интеллигенты могли еще «брыкаться», — Белый писал:

— «Социальный вопрос занимал меня многое множество раз: деловито, отчетливо, сухо... цифрами уличались банкиры, дельцы. Маркс есть автор теории экономических кризисов. Так поучительно, так деловито, что мне становилось порою и жутко: в ученых борцах с капитализмом и с прочим «делячеством» начинало сквозить столь гигантское погружение в душу дельца, что не верилось мне, чтобы можно с «дельцами» бороться пе их же оружием; психологией банкира, дельца искони отгоняли марксисты (я сам одно время чуть не попал «во марксисты»); они деловитее прочих, но банком мне веет от их борьбы с бан-

ками. Так я покончил знакомство мое с литературой по социальным вопросам».

Речь Велого «о форточке» не должна бы быть для меня неожиданной, если бы в то время я его лучше знал. Человека, начиненного таким болезненно заостренным индивидуализмом как он, я в жизни моей больше не встречал. Мысль о своем «я» — о всех его прыгающих состояниях, мельчайших их оттенках, никогда не оставляла Белого. Вечная дума о себе привела его даже к вопросу: «а каким я был, когда существовал в утробе матери»? И в «Котике Летаеве» он совершенно серьезно, веря в то, что говорит, описывает свое внутриутробное состояние:

— «Набухание в никуда и ничто, которое всё равно не осилить; боль сидения в органах; ощущения были ужасны и беспредметны: не было разделения на Я и не Я: не было ни пространства, ни времени; вместо тела ощущался громадный провал. Я одной головой еще в мире, ногами в утробе; утроба связала мне ноги; и ощущаю себя змееногим и мысли мои змееногие мифы».

При проникавшем его существо индивидуализме для Белого просто ужасна даже отдаленная мысль, что его «я» может как-то раствориться, слиться с «мы». В «Петербурге» Дудкин (в данном случае за ним, конечно, стоит Белый) иронически замечает: «говорят, что я не есмь я, с какое-то мы». Белый с отвращением отбрасывает скрытую в этой фразе проблему, высказывая при этом совершенно те же чувства, что обнаружил в споре со мною, когда говорил о «форточке», мычащих «мы» и табунах. В его «Петербурге» — «мы» — те же отвратительные «табуны»; «мы» — толпа, а она — «бутербродное поле», «общее тело», «многоногое существо», «гуща, переползающая и таркающая на протекающих ножках»,

К «мы», к толие, здесь проявляется ненависть, нет даже намека на миллиграми какого-либо демократического чувства. Есть только безграничное мистическое самоутверждение с сведением всего самого важного в мире к своему «я».

Н. Валентинов

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ

Далекой младости далекие мечты, Слетитесь вновь ко мне знакомой вереницей И разверните вновь страницу за страницей Забытой повести листы.

Мне приходилось читать в печати кое-какие биографические сведения о моем покойном девере, поэте Н. С. Гумилеве, но, часто находя их неполными, я решила поделиться моими личными воспоминаниями о нем. В моих воспоминаниях я буду называть поэта по имени — Колей, как я его всегда называла.

Будучи замужем за старшим братом поэта, Дмитрием Степановичем, я прожила в семье Гумилевых двенадцать лет. Жила я в дорогой мне семье моего мужа с моей свекровью Анной Ивановной Гумилевой, рожденной Львовой, с золовкой Александрой Степановной Гумилевой, по мужу Сверчковой, с ее детьми Колсй и Марией и один год — с деверем, Степаном Яковлевичем Гумилевым.

Мон воспоминания не являются литературным произведением, я просто хочу рассказать всё, что знаю о поэте и его семье. Главное, конечно, о нем, о яркой, незаурядной и интересной личности, какой был Н. С. Гумилев.

Впервые я познакомилась с поэтом в 1909 году. Я поехала с моим отцом в Царское Село представиться семье моего жениха. Вышел ко мне молодой человек 22-х лет, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светлосиними, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно. От моего жениха я много слышала о Коле и мне интересно было с ним познакомиться. Я внимательно за ним наблюдала. Он держал себя скромно, но по всему было видно, что этот молодой человек себе на уме. Он был уже принят тогда в «Общество ревнителей художественного слова» и стал сотрудником журнала «Аполлон».

Но прежде чем подробно говорить о Н. С. Гумилеве, хочу хотя бы вкратце сказать о его семье. Дедушка поэта, Яков Степанович Гумилев, был уроженец Рязанской губернии, владелец небольшого имения, в котором он и хозяйничал. Скончался он, оставив жену с шестью малолетними детьми. Степан Яковлевич, отец поэта, был старшим сыном в этой многочисленной семье. Он окончил с отличием гимназию в Рязани и поступил в московский университет на медицинский факультет. Обладая большими способностями и к тому же сильным характером и упорством, он скоро добился стипендии. Чтобы обеспечить существование семьи, он давал уроки, пересылая заработанные деньги матери. По окончании университета С. Я. поступил в морское ведомство и как морской доктор совершал не раз кругосветные плавания. О своих переживаниях в путешествиях и сопряженных с ними приключениях он часто рассказывал, и думаю, что это оказало большое влияние на пылкую фантазию будущего поэта. Будучи совсем молодым С. Я. женился на болезненной девушке, которая скоро скончалась, оставив ему трехлетнюю девочку Александру. Вторым браком С. Я. женился на сестре адмирала Л. И. Львова, Анне Ивановне Львовой. Хотя разница лет была и большая — С. Я. было 45 лет, а А. И. 22 года, — но брак был счастливый. После свадьбы молодые поселились в Кронштадте. Позднее, когда С. Я. вышел в отставку, семья Гумилевых переехала в Царское Село, где Коля и его брат провели свое раннее детство.

Анна Ивановна, мать поэта, была родом из старинной дворянской семьи. Родители ее были богатые помещики. Свое детство, юность и молодость А. И. провела в родовом гнезде Слепневе, Тверской губ. А. И. была хороша собой — высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного; всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная. Спокойствие и выдержанность перешли и к сыновьям, в особенности к Коле. Вскоре после выхода замуж А. И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка преисполнило ее чувством радости. Ее

мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось, родился сын Димитрий. Через полтора года Бог дал ей и второго ребенка. Мечтая о девочке, А. И. приготовила всё приданое для малютки в розовых тонах, но на этот раз ее ожидание было обмануто — родился второй сын Николай, будущий поэт.

Николай Степанович Гумилев родился в Кронштадте 3-го апреля 1886 года, в сильно бурную ночь и по семейным рассказам старая нянька предсказала: «у Колечки будет бурная жизнь». Ребенком Коля был вялый, тихий, задумчивый, но физически здоровый. С раннего детства любил слушать сказки. Все дети были сильно привязаны к матери. Когда сыновья были маленькими, А. И. им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной Истории. Помню, что Коля както сказал: «как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней — глубоковерующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить. По натуре своей Коля был добрый, щедрый, но застенчивый, не любил высказывать свои чувства и старался всегда скрывать свои хорошие поступки. Например. В дом Гумилевых многие годы приходила старушка из богадельни, так называемая, «тетенька Евгения Ивановна», хотя тетей она им и не приходилась. Приходила она обыкновенно по воскресеньям к 9 ч. утра и оставалась до 7 ч. вечера, а часто и ночевать. Коля уже за неделю прятал для нее конфеты, пряники и всякие сладости, и когда Е. И. приходила, он, крадучись, не видит ли кто-нибудь, давал ей и краснел, когда старушка его целовала и благодарила. Чтобы занять старушку, Коля играл с ней в лото и домино, чего он очень не любил. В детстве и в ранней юности он избегал общества товарищей. Предпочитал играть с братом, преимущественно в военные игры и в индейцев. В играх он стремился властвовать: всегда выбирал себе роль вождя. Старший брат был более покладистого характера и не протестовал, но предсказывал, что не все будут ему так подчиняться, на что Коля отвечал: «А я упорный, я заставлю».

Впоследствии, в своей взрослой жизни, поэт тоже не любил подчиняться. В его характере была даже известная доля заносчивости, что вызвало две-три дуэли, о которых он нам, смеясь, рассказывал: «Я вызван был на поединок — Под звоны бубнов и литавр».

Хотя братья и были разного характера, но они были очень дружны, что всё же не мешало им иногда подтрунивать друг над другом. Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила передать его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: «На, возьми, носи мои обноски!» Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой, мне ответил: «Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата». Другой пример. Коля дал мне прочесть свое стихотворение, а я была в саду около дома. Села, читаю. В это время пришла племянница десяти лет и попросила поиграть с ней в мячик. Я встала и аккуратно положила листочек, где было написано стихотворение, на скамейку. Не прошло и двадцати минут, как пошел вдруг сильный дождь. Мы быстро вбежали в дом, а листочек я забыла на скамейке. Дождь прошел. Коля вышел в сад и — о, ужас! — видит продукт своего творчества промокшим от дождя. Он так обиделся за такое пренебрежение, что сказал: «Вам никогда не посвящу ни одного стихотворения, даже ни одной строчки». Слово это, увы, сдержал.

Учиться Коля начал рано. Первоначальное обучение получил дома. С шестилетнего возраста он прислушивался к учению на уроках брата. В семь лет уже читал и писал. С восьмилетнего возраста стал писать рассказы и стихи. Помню, А. И. многие из них сохраняла, держа в отдельной шкатулке, обвязанной бантиком.

Зимою семья жила в Царском Селе, а летом уезжала в

имение Березки Рязанской губ., купленное С. Я., чтобы дети могли летом пользоваться полной свободой, набирая сил и вдоровья на просторе. Там мальчики много охотились, купались.

Когда семья жила в Петербурге, мальчики посещали гимназию Гуревича, которую поэт очень не любил. Будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта Лиговская улица, где нажодилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Всё ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть стены «нудной» гимназии.

Тогда С. Я. решил ехать всей семьей в Тифлис и пробыть там некоторое время. Семья Гумилевых прожила в Тифлисе три года. В 1900 году мальчики поступили во II тифлисскую гимназию, но отцу не нравился дух этой гимназии, и мальчики были переведены в І тифлисскую гимназию. В Тифлисе Коля стал более общительным, полюбил товарищей. По его словам, они были «пылкие, дикие», и это ему было по душе. Полюбил он и Кавказ. Его природа оставила в Коле неизгладимое впечатление. Часами он мог гулять в горах. Часто опаздывал к обеду, что вызывало сильное негодование отца, который любил порядок и строго соблюдал часы трапезы. Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение — «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестналиать лет.

В 1903 г. семья вернулась в Царское Село. Здесь мальчики поступили в царскосельскую классическую гимназию. Директором ее был известный поэт Иннокентий Федорович Анненский. В первый же год Анненский обратил внимание на литературные способности Коли. Анненский имел на него большое влияние и Коля как поэт многим ему обязан. Помню, как Коля рассказывал, как однажды директор вызвал его к себе. Он был тогда совсем юный. Идя к директору сильно волновался, но директор встретил его очень ласково, похвалил его сочинения и сказал, что именно в этой области он должен серьезно работать. В своем стихотворении «Памяти Анненского» Коля упоминает об этой знаменательной встрече:

...«Я помню дни: я робкий, торопливый Входил в высокий кабинет,

Где ждал меня спокойный и учтивый, Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз пленительных и странных Как бы случайно уроня, Он вбрасывал в пространства безымянных Мечтаний — слабого меня».

Но в гимназии Коля хорошо учился только по словесности, а вообще — плохо. По математике шел очень слабо.

Когда мальчики подросли, С. Я. продал свое имение Березки, и купил небольшое имение Поповка — под самым Петербургом, чтобы мальчики не только на лето, но и на все праздники приезжали в деревню набирать здоровья. Оба брата были сильно привязаны к дому, любили свой домашний очаг, и их всегда тянуло домой. Старший после окончания классической царскосельской гимназии по желанию отца поступил в Морской корпус, в гардемаринские классы, был одно лето в плавании, но так тосковал, что раньше времени вернулся домой. А поэт по настоянию отца должен был поступить в университет. Коля захотел поехать в Париж, и там поступил в Сорбонну. Но и он тоже сильно тосковал по дому и хотел даже вернуться, но отец не разрешил. В Сорбонне Коля слушал лекции по французской литературе, но больше всего занимался своим любимым творчеством и даже издавал небольшой журнал, где печатал свои стихи под псевдонимом. В Париже он начал мечтать о путешествиях, особенно его тянуло в Африку, в страну, где в полночь

> «...непроглядная темень, Только река от луны блестит, А за рекой неизвестное племя, Зажигая костры — шумит».

Об этой своей мечте хоть недолго пожить «между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом» — поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) «экстравагантное путешествие» он не получит до окончания университета. Тем не менее Коля, не взирая ни на что, в 1907 году пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной родительской получки. Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: — как он ночевал в трюме парохода вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был арестован в

Трувилле за попытку пробраться на пароход и проехать «зайцем». От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь пост фактум. Поэт заранее написал письма родителям, и его друзья акуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа. После экзотического путешествия Петербург навел на поэта тоску. Он только и мечтал опять уехать в страну, где «Каналы, каналы, каналы, — Что несутся вдоль каменных стен, — Орошая Дамьетские скалы — Розоватыми брызгами пен» (Египет).

Вернувшись в 1908 г. в Россию, Коля нашел С. Я. тяжело больным ревматизмом. Отец уже не выходил из кабинета, сидя в большом кресле. А. И. неотлучно находилась при муже, и войти в кабинет отца можно было только с его разрешения. В Петербурге Коля тогда весь отдался своему творчеству. Он сблизился с многими поэтами и совершенно забросил занятия в университете. Это вызвало сильное недовольство отца, который упорно требовал, чтобы он закончил университет, и этот спор обычно кончался тем, что Коля обнимал отца, обещая серьезно взяться за занятия и окончить университет. Отец не особенно этому верил и был прав, своего орещания Коля так и не сдержал.

Будучи от природы очень наблюдательным, Коля всегда подмечал у каждого слабые стороны, которые сейчас же высмеивал. Он вообще любил поддразнивать и грешным делом насмехаться, но добродушно. Помню, пришел однажды товарищ, окончивший университет и всё старался, чтобы мы обратили внимание на его университетский значек. Коля это заметил и сказал: «Володя, подвесь лучше твой значек на лоб, по крайней мере не надо будет тебе вертеться, чтобы его видели. Тогда всем ясно будет, что ты человек науки!»

Подсмеивался он и над племянником, который ходил в царскосельскую гимназию как в университет, когда вздумается. Способности дедушки-художника Сверчкова, видимо, перешли к внуку, и племянник днями и часами рисовал в ущерб ученью. Подсмеивался и над матерью, добродушно, конечно, что она любила подчас читать Марлита, но как только замечал, что мать обижается, сейчас же подбегал и целовал ее. Его маленькая, двенадцатилетняя племянница как-то сказала, что прочла какую-то книгу и добавила: «я ее взяла, потому что там хорошая печать». Коля сейчас же подхватил: «Ты, я вижу, выбираешь и читаешь книги по печати, а не по содержанию». Иногда он даже слишком

приставал к ней, и она объявила, что боится «при дяде Коле рот открыть». Тоже искал случая высмеять сестру по отцу, Александру Степановну Гумилеву, по мужу Сверчкову. У нее была маленькая собачка Лэди, и она сильно оберегала собачку от «искушения» и зорко за нею следила. Как-то раз, спасая собачку (так выразился Коля), сестра упала и сильно повредила ногу. Доктор, лечивший ее, сказал: «Из-за собачки не стоило рисковать ногами». На это Коля, как бы волнуясь, заявил: «Помилуйте, доктор! Ведь это же Лэди! Сестра, наверное, была бы менее экспансивна и вряд ли чем-нибудь рискнула, если бы кому-нибудь из нас грозила такая же опасность».

Ранней весной 1910 года С. Я. скончался. После его смерти жизнь в семье Гумилевых сильно изменилась даже внешне. Отцовский кабинет перешел Коле, и он в нем всё переставил по-своему. Как часто добрые по существу люди бывают подчас неделикатны и даже эгоистичны! Помню, не прошло и семи дней, как пришла ко мне в комнату расстроенная А. И. и жаловалась на колину нечуткость. «Не успели отца похоронить, — говорила она, — как Коля стал устраиваться в его кабинете. Я его прошу подождать хоть две недели, мне же это слишком тяжело! А он мне отвечает: я тебя, мамочка, понимаю, но не могу же я постоянно работать в гостиной, где мне мешают. Дмитрий и Аня так часто и надолго приезжают, что мне всегда приходится уступать им свой кабинет». Без ведома А. И. я сейчас же пошла убеждать Колю повременить, но мои доводы на него не подействовали, он только посмеялся над моей сантиментальностью.

В дом влилось много чуждого элемента. Весною 25-го апреля этого же года поэт женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой). Свадьбу отпраздновали спокойно и тихо ввиду траура в семье. В этом году Коля осенью поехал в Абиссинию, побывал в самых малодоступных ее местах. В тропических лесах охотился на слонов, в горах со своим абиссинцем ходил на леопарда. Много рассказывал, заражая своими интересными впечатлениями племянника, так называемого Колю-Маленького (Сверчкова), юношу 17-ти лет, который объявил, что тоже хочет

«...бродить по таким же дорогам, Видеть вечером звезды как крупный горох, Выбегать на холмы за козлом длиннорогим, На ночлег зарываться в седеющий мох...»

Коля-поэт обещал любимому племяннику в следующее путешествие взять его с собой, что и исполнил. Жена осталась дома. Из Абиссинии Коля навез много всяких абиссинских мелочей.

В семье Гумилевых очутились две Анны Андреевны. Я блондинка, Анна Андреевна Ахматова — брюнетка. А. А. Ахматова была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, с большими синими, грустными глазами, со смуглым цветом лица. Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и войдя в столовую говорила: «Здравствуйте все!». За столом большею частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург. Те вечера, когда Коля бывал дома, он часто сидел с нами, читал свои произведения, а иногда много рассказывал, что всегда было очень интересно. Коля великолепно знал древнюю историю и, рассказывая что-нибудь, всегда приводил из нее примеры. Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам и часто мы с мужем — комната была рядом с его кабинетом — слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир».

В домашней обстановке Коля всегда был приветлив. За обедом всегда что-нибудь рассказывал и был оживленный. Когда приходили юные поэты и читали ему свои стихи, Коля внимательно слушал; когда критиковал — тут же пояснял, что плохо, что хорошо и почему то или другое неправильно. Замечания он делал в очень мягкой форме, что мне в нем нравилось. Когда ему что-нибудь нравилось, он говорил: «Это хорошо, легко запоминается», и сейчас же повторял наизусть. Коля и в семье был строг к чистоте языка. Однажды я, придя из театра и восхищаясь пьесой, сказала: «Это было страшно интересно!». Коля немедленно напал на меня и долго пояснял, что так сказать нельзя, что слово «страшно» тут совершенно неуместно. И я это запомнила на всю жизнь.

Когда по вечерам вся семья оставалась дома, после обеда мать любила брать сыновей под руку и ходить взад и вперед по гостиной; тут сыновья очень трогательно оспаривали друг у друга, кто возьмет мамочку под руку, а кто обнимет. Обычно после долгого торга, мать, улыбаясь, сама разрешала спор — одного возьмет под руку, а другого обнимет, и все трое маршировали по комнате, весело разговаривая. Но редко приходилось нам проводить вечера «уютным кустиком», как говорил Коля; обыкновенно кто-нибудь нарушал нашу семейную идиллию.

В начале 1911 года Анна Ивановна купила дом в Царском Селе на Малой ул. 15. Она видела, что слишком много денег тратится зря. Купила прелестный двухэтажный дом и тут же небольшой, тоже двухэтажный, флигель с садиком и хорошеньким двориком. А. И. с падчерицей и внуками занимали верхний этаж, поэт с женой и я с мужем — внизу. Тут же внизу находились столовая, гостиная и библиотека. После своего второго путешествия в Африку, Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделал по своему вкусу и очень оригинально.

Вспоминается мне наша чудная библиотека, между гостиной и колиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу до верху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шопотом. Для поэта библиотека была «святая святых», и он не раз повторял, что надо держать себя в ней как в настоящей библиотеке. Посредине находился большой круглый стол, за которым читающие чинно сидели.

С годами Коля стал очень общительным. Имел много товарищей и друзей. Дружил с И. Ф. Анненским, Вячеславом Ивановым и многими другими. Часто бывали Городецкий и Блок. Дом Гумилевых был очень гостеприимный, хлебосольный и радушный. Хозяева были рады всякому гостю, в которых не было недостатка везде, где бы Гумилевы ни жили. Я очень любила, когда поэт устраивал литературные вечера. Вспоминаю один эпизод. Однажды один молодой поэт читал с жаром и увлечением свою поэму. Царила полная тишина. Вдруг раздался равномерный, громкий храп. Смущенный и обиженный, поэт прервал чтение. Все переглянулись. Коля встал. Окинул взором всех слушателей и видит, все сидят чинно, улыбаются, переглядываются и ищут храпящего гостя. Каково же было наше удивление, когда виновником храпа оказалась собака Молли, бульдог, любимица Анны Ахматовой. Все много смеялись и долгое время дразнили молодого чтеца, называя его Молли.

В 1911 г. у Анны Ахматовой и Коли родился сын Лев. Никогда не забуду счастливого лица Анны Ивановны, когда она нам объявила радостное событие в семье — рождение внука. Маленький Левушка был радостью Коли. Он искрение любил детей и всегда мечтал о большой семье. Бабушка Анна Ивановна была счастлива, и внук с первого дня был всецело предоставлен ей. Она его выходила, вырастила и воспитала. Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем.

Но мятежную натуру поэта патриархальная спокойная семейная обстановка надолго удовлетворить не могла. Он задумал путешествие в Италию. Но всегда его что-то задерживало: осенью этого же года он основал с Сергеем Городецким Цех Поэтов. Только весною 1912 года ему удалось исполнить свою мечту и поехать в Италию. Он давно хотел побывать в Венеции и воочию увидеть красоту этого города, где

«Лев на колонне, и ярко Львиные очи горят, Держит Евангелье Марка, Как серафимы крылат».

Коля посетил несколько городов Италии. Говорил он об Италии с таким жаром, что забывал весь мир и требовал, чтобы мы с мужем обязательно поехали в Рим, где

«Волчица с пастью кровавой На белом, белом столбе...»

И рекомендовал мужу не засматриваться на красивых ярких итальянок, а хорошенько осмотреть

«Лик Мадонн вдохновенный И храм Святого Петра»,

что мы и исполнили — через несколько месяцев муж взял отпуск и мы поехали в Италию.

В жизни Коли было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше. Под влиянием рассказов А. И. о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целости там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя — Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимою время от времени приезжала ее

дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни — Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление. Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предлогами. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: «Машень» ка совсем ослепила Николая Степановича». Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше чем надо рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная «...пыль рьянее, чем наркотик...», что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни были очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомиц, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что «долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает».

Летом вся семья Кузьминых-Караваевых и наша проводили время в Слепневе. Помню, Маша всегда была одета с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который ей был к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, «чтобы Машенька не дышала пылью». Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода, с книгой в руках всё на той же странице, и взгляд его был устремлен на дверь. Както раз Маша ему откровенно сказала, что не в праве коголибо полюбить и связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта.

«...Когда она родилась, сердце В железо заковали ей И та, которую любил я, Не будет никогда моей».

Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: «Ма-

шенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались и судьба их навсегда разлучила.

Поэт много стихотворений посвятил Маше. Во многих он упоминает о своей любви к ней, как напр., в «Фарфоровом павильоне», в «Дорогах»:

«Я видел пред собой дорогу — В тени раскидистых дубов, Такую милую дорогу Вдоль изгороди из цветов. Смотрел я в тягостной тревоге, Как плыл по ней вечерний дым, И каждый камень на дороге Казался близким и родным. Но для чего идти мне ею? Она меня не приведет Туда, где я дышать не смею, Где милая моя живет».

Весною 1913 года Коля вновь задумал предпринять путешествие в неведомые и малоисследованные места. Хорошо о нем сказано, что он создал новую музу, «музу дальних странствий», чему соответствуют и его слова «...как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца...». Свое третье путешествие Коля иначе обставил и совершил. Это было весной 1913 года. У Гумилевых тогда было много разговоров об академике Радлове, который хлопотал, чтобы Коля был командирован Академией Наук в качестве начальника экспедиции на Сомалийский полуостров для составления всяких коллекций, для ознакомления с правами и бытом абиссинских племен. Но насколько я помню, Коля поехал на свои средства. Анна Ивановна дала ему крупную сумму из своего капитала, это я наверное знаю. Но так как Академия Наук тоже заинтересовалась его путешествием, то обещала купить у него те редкие экземпляры, которые он брался привезти. Поехал он, как я уже упомянула, вдвоем с любимым 17-летним племянником Колей Сверчковым, Колей-маленьким. Когда они уехали, семья, в особенности обе матери, сильно беспокоились за сыновей, зная страсть к приключениям Коли-поэта. Он всегда был очень храбрый и с детства презирал малодушие и трусость. «...Да, ты не был трусливой собакой — Львом ты был между яростных львов...!» И его бесстрашие немало волновало семью. Старушка няня

о нем говорила: «Наш Коленька всегда любит лезть на рожон, вот уж неугомонный! Не сидится ему на месте, всё ищет где поопаснее». Путешествие длилось несколько месяцев. Большой радостью было их возвращение, о котором мы не были предупреждены. Все треволнения были забыты и все были полны интереса к занимательным рассказам, которым, казалось, не было конца. Все обещания Коля выполнил и действительно привез очень много всяких коллекций, которые были им сданы в Музей Антропологии и Этнографии при Академии Наук. Что именно — не помню, но помню, что им были очень довольны, чем и он был очень горд. Царскосельский дом обогатился чудным экземпляром — большой стоячей черной пантерой. Эту огромную пантеру, черную как ночь, с оскаленными зубами, поставили в нишу между столовой и гостиной и ее хищный вид производил на многих прямо жуткое впечатление. Коля же всегда ею любовался. Помню, как Коля первый раз показал мне свою пантеру. Когда мы приехали с мужем в Царское Село к нашим, дверь в гостиную была заперта, что бывало редко. В передней нас встретил Коля и просил пока в гостиную не входить. Мы поднялись наверх к А. И., ничего не подозревая; думали, что у Коли молодые поэты. Только когда совсем стемнело, Коля пришел наверх и сказал, что покажет нам что-то очень интересное. Он повел нас в гостиную и, как полагается, меня как даму пропустил вперед; открыл дверь, заранее потушив в гостиной и передней электричество. Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти! И тут же, указывая на пантеру, Коля громко продекламировал: «...А ушедший в ночные пещеры или к заводи тихой реки — Повстречает свирепой пантеры — Наводящие ужас зрачки...».

Привез Коля и красивого живого попугая, светло-серого с розовой грудкой. Коля был очень увлекательным рассказчиком. Обычно вне своего литературного кружка, он в обществе держал себя очень скромно, но если что-либо было ему интересно и по душе, то он преображался, загорались его большие глаза, и он начинал говорить с увлечением. Однажды у нас в имении на охоте, где оба брата, Димитрий и Коля, отличились меткой стрельбой, один из гостей сказал поэту, что с таким метким глазом не страшно было бы идти

на охоту на слонов и львов, и задал Коле несколько вопросов насчет Абиссинии. Коля с жаром стал рассказывать о своих переживаниях в Африке и так образно, что ясно можно было себе представить, как он с племянником и с тремя провожатыми, из которых один был «...карлик мне по пояс, голый и черный»..., шли по лесу, где вряд ли ступала человеческая нога; ночь провели в лесу и долго искали более или менее удобного убежища и наконец нашли. «...И хороша была нора — В благоухающих цветах...». Рассказывал что туземцы в Абиссинии очень суеверны; многого наслушался он за ночи, проведенные в лесу, как например — если убитому леопарду не опалить немедленно усы, дух его будет преследовать охотника всюду. «...И мурлычит у постели — Леопард убитый мной». Та леопардова шуба, в которой Коля ходил по Петербургу зимой (всегда расстегнутая и гревшая фактически только спину) была из двух леопардов, один из которых был убит им самим, а другой туземцами. В ней он шествовал обыкновенно не по тротуару, а по мостовой, и всегда с папиросой в зубах. На мой вопрос, почему он не ходит по тротуару, он отвечал, что его распахнутая шуба «на мостовой никому не мешает». Уезжая в Африку, Коля говорил, что «У него мечта одна — Убить огромного слона — Особенно когда клыки — И тяжелы и велики — ». И действительно, по его словам, он наполовину исполнил свою мечту: «Он взял ружье и вышел в лес. — На пальму высохшую влез — И ждал». Туземцы ему сообщили, что «...здесь пойдет на водопой лесной народ...» Долго Коля сидел и ждал, как вдруг «В лесу раздался смутный гул, — Как будто ветер зашумел, — И пересекся небосклон — Коричневою полосой, — То поднимая хобот слон — Вожак вел стадо за собой». Коля «...навел винтовку между глаз», но «гигант лесной» не был «сражен пулей разрывной». Об этих переживаниях Коля говорил, что они были незабываемы.

Коля очень любил традиции и придерживался их, особенно любил всей семьей идти к заутрене на Пасху. Если даже кто-либо из друзей приглашал к себе, он не шел; признавал в этот день только семью. Помню веселые праздничные приготовления. Все, как полагается, одеты в лучшие туалеты. Шли чинно, и Коля всегда между матерью и женой. Шли в царскосельскую дворцовую церковь, которая в этот высокоторжественный праздник была всегда открыта для публики.

В то же время поэт был очень суеверен. Верно Абиссиния заразила его этим. Он до смешного подчас был суеверен, что часто вызывало смех у родных. Помню, когда А. И. переехала в свой новый дом, к ней приехала «тетенька Евгения Ивановна». Тогда она была уже очень старенькая. Тетенька с радостью объявила, что может пробыть у нас несколько дней. В присутствии Коли я сказала А. И.: «Боюсь, чтобы не умерла у нас тетенька. Тяжело в новом доме переживать смерть». На это Коля мне ответил: — «Вы верно не знаете русского народного поверья. Купив новый дом, умышленно приглашают очень стареньких, преимущественно больных старичков или старушек, чтобы они умерли в доме, а то ктонибудь из хозяев умрет. Мы все молодые, хотим еще пожить. И это правда, я знаю много таких случаев и твердо в это верю».

5-го июля 1914 года мы с мужем праздновали пятилетний юбилей нашей свадьбы. Были свои, но были и гости. Было нарядно, весело, беспечно. Стол был красиво накрыт, всё утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась и фрукты рассыпались по столу. Все сразу замолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну. Десятилетний юбилей нашей свадьбы мы с Митей скромно отпраздновали на квартире художника Маковского на Ивановской улице в Петрограде при совсем других обстоятельствах. Всё было уже не то, и тогда Коля напомнил нам о разбитой вазе.

День объявления войны застал меня в имении моей матери — Крыжуты, Витебской губернии. Я сейчас же решила ехать к мужу, в Петербург. Приехав туда, поехала на квартиру моих родителей. Отца дома не застала и вообще никого. Оставив записку, помчалась в Царское Село и там узнала, что Коля, движимый патриотическим порывом, записался добровольцем в Лб. Гв. Уланский полк, с которым был отправлен на фронт. Я сама записалась в Свято-Троицкую общину сестер милосердия. Год проработала в Петербурге в лазарете, а затем была отправлена в перевязочный отряд при 2-й финляндской дивизии. В этой дивизии мой муж был в пехотном полку, был награжден «Владимиром с мечами», пробыл три года на фронте и был сильно контужен. Коля уже в натражен при сода на фронте и был сильно контужен.

чале войны успел настолько отличиться, что был дважды награжден георгиевским крестом за храбрость. Для поэта война была родная стихия, и он утверждал: «и воистину светло и свято — Дело величавое войны. — Серафимы ясны и крылаты — За плечами воинов видны...». Несколько раз Коля приезжал на несколько дней в отпуск и раза два-три наши отпуска совпадали. Мы все трое «фронтовые», как называла нас Муся (племянница), делились впечатлениями. Было метко сравнение поэта:

«Как собака на цепи тяжелой, Тявкает за лесом пулемет; И жужжат шрапнели, словно пчелы, Собирая ярко-красный мед».

Как отец, Коля был очен заботлив и нежен. Он много возился со своим первенцем Левушкой, которому часто посвящал весь свой досуг. Когда Левушке было 7-8 лет, он любил с ним играть и любимой игрой была, конечно, война. Коля с бумерангом изображал африканских вождей. Становился в разные позы и увлекался игрой почти наравне с сыном. Богатая фантазия отца передалась и Левушке. Их игры часто были очень оригинальны. Любил Коля и читать сыну и сам много ему декламировал. Ему хотелось с ранних лет развить в сыне вкус к литературе и стихам. Помню, как Левушка мне часто декламировал наизусть «Мика», которого выучил, играя с отцом. Всё это происходило уже в Петербурге, когда мы жили вместе. Часто к нам приходили мои племянники и дети Чудовского. Вся детвора всегда льнула к доброму дяде Коле (так они его называли) и для каждого из них он находил ласковое слово. Помню как он хлопотал и суетился, украшая елку, когда уже ничего не было и всё доставалось с невероятными усилиями. Но он всё же достал тогда детские книги, которыми награждал всю детвору. Удалось ему достать и красивую пышную елку. И веселились же дети, а, смотря на них, и взрослые, в особенности сам Коля!

В 1917 г. Коля должен был отправиться на Салоникский фронт. Он поехал в Париж через Финляндию и Швецию, но, прибыв в Париж, был оставлен там в распоряжении представителя Временного Правительства, чем был сильно огорчен. Там он пробыл год.

В 1918 году он записался на Месопотамский фронт, но для этого должен был поехать в Англию. Это было в начале

года. Но, увы! и тут ему не удалось уехать в действующую армию, в Месопотамию. В Лондоне он пробыл несколько месяцев и весной вернулся через Мурманск в Петербург. Не успел Коля после своих долгих скитаний по загранице вернуться, как сразу окунулся с головой в свой литературный мир. Единственное, что он действительно горячо любил и чему отдавался всей душой, это только одну поэзию. Он был всецело поэт!

В конце 1918 года Коля был членом Литературного Кружка и работал в Доме Литераторов. В этом году он развелся с Анной Ахматовой.

В 1919 году поэт преподавал во многих литературных студиях, в Институте Истории Искусства, в Институте Живого Слова. Я поступила слушательницей в Институт Истории Искусства на археологический факультет к проф. Струве, но часто заходила слушать Колю. Он читал очень интересно.

В 1919 году Коля женился вторым браком на Анне Николаевне Энгельгардт. После того, как семье Гумилевых пришлось покинуть свой дом в Царском Селе с его чудной библиотекой, они переехали в Петербург. Художник Маковский предложил Коле временно свою квартиру на Ивановской улице. Мы все соединились, кроме Александры Степановны Сверчковой. Времена стали тяжелые. Анне Ивановне трудно было добывать продукты, стоять в очередях, и Коля просил меня взять на себя хозяйство. Анна Николаевна, — в семье называвшаяся Ася, — была еще слишком молода. Помню, как однажды Коля, такой бодрый и веселый, пришел к мужу и ко мне в комнату и пригласил нас в Тенишевское училище на литературное утро. Выступали там — Коля, А. А. Блок, жена Блока — Любовь Дмитриевна и молодые поэты. Зал был переполнен. Любовь Дмитриевна в первый раз публично прочла «Двенадцать». Когда она продекламировала последние слова поэмы «В белом венчике из роз, впереди — Исус Христос» в зале поднялся сильный шум. Одни громко аплодировали, другие шикали, свистели, громко кашляли. Творилось что-то ужасное! Зал еще бушевал, когда мы увидели с мужем, что на эстраду не спеша поднимается наш Коля. Мне было за него как-то не по себе. Мы сильно за него волновались. Коля поднялся на эстраду и стал. Он стоял спокойно, выдержанно. Ждал пока публика перестанет бушевать. Мало по малу шум улегся. Коля подождал еще некоторое время. И только когда все успокоились, он стал читать свои «Персидские газэллы».

После него выступил А. Блок. Только на следующий день Коля нам рассказал, что А. Блок отказался сейчас же после поэмы «Двенадцать» выйти на эстраду. Тогда Коля решил его выручить и вышел раньше времени, не по программе.

В 1920 году нам пришлось разъехаться. Муж получил назначение в Петергоф, а Анна Ивановна осталась жить с Левушкой, Колей и Асей, которые переехали на Преображенскую улицу N_2 5. В это время Ася ожидала прибавления семейства, чему Коля был очень рад и говорил, что его «мечта» иметь девочку, и когда маленькая Леночка родилась на свет Божий, доктор, взяв младенца на руки, передал его Коле со словами: «Вот ваша мечта».

В 1921 г. последний раз мой муж, Коля и я встретили новый год вместе. А. И. с Левушкой и Асей уехали в Бежецк, а Коля остался один. В Бежецке легче можно было достать продукты, что для Левушки и Аси было очень важно. Новый год — это уже семейный праздник и мы трое его хотели встретить вместе. Встретили мы новый год очень оживленно и уютно. Никто из нас не предполагал, что этот год будет для нас трагическим, что это последний раз, что мы все вместе встречаем новый год.

Помню как тогда я по вечерам приходила в кабинет к Коле обсуждать с ним меню на следующий день. Заставала его сидящим в большом глубоком кресле всегда с пером в его «как точеной» руке. Он всегда сосредоточенно обсуждал всё со мною, внимательно выслушивая, что я ему говорила. Когда я теперь отдаюсь воспоминаниям о моей совместной жизни с ним, то он представляется мне, каким я его видела в эти последние памятные мне дни. Бодрый, полный жизненных сил, в зените своей славы и личного счастья со своей второй хорошенькой женой, всецело отдававшийся творчеству. Ни тяжелые годы войны, ни еще более тяжелая обстановка того времени не изменили его морального облика. Он был всё таким же отзывчивым, охотно делившимся с каждым всем, что он имел. Как часто приходили в дом разные бедняки! Коля никогда не мог никому отказать в помощи.

В последний раз в жизни мне пришлось видеть Колю в самом конце июля 1921 года (1-го августа я уехала с больным мужем). Муж очень плохо себя чувствовал и просилменя зайти к Коле и принести привезенные им письма от Анны Ивановны. Коля, будучи у нас утром, забыл их захватить. Когда я пришла к нему, он меня встретил на лестнице и ска-

зал: «А я как раз собирался к вам с письмами мамы. Какой сегодня чудный солнечный день, пройдемтесь немного, а затем зайдем вместе к Мите». И мы пошли прямо по Преображенской улице к Таврическому саду. Гуляя по вековым аллеям роскошного сада разговорились; затем сели под дуб на скамейку отдохнуть. Тут поэт разоткровенничался. Первый раз за всю мою двенадцатилетнюю жизнь в их доме, он был со мною откровенен. Сначала он рассказывал о путешествиях, потом перешел на свои взгляды на жизнь, на брак, много гогорил о своих душевных переживаниях и о тех минутах одиночества, когда, уйдя в себя, он думал о Боге.

«Есть Бог, есть мир, они живут вовек, И жизнь людей мгновенна и убога, Но всё в себе вмещает человек, Который любит мир и верит в Бога».

Потом стал расспрашивать меня о моей жизни, о моей любви к мужу и спросил, была ли я с ним счастлива за эти двенадцать лет. На мой утвердительный ответ и под влиянием этой интимной беседы, Коля стал мне декламировать, как сейчас помню, свое стихотворение «Соединение»:

«Луна восходит на ночное небо. По озеру вечерний ветер бродит, Целуя осчастливленную воду. О, — как божественно соединенье Извечно созданного друг для друга — Но люди, созданные друг для друга, Соединяются, увы, так редко!»

Потом мы медленно, молча, пошли домой. Такого бесконечно грустного Колю я никогда на видела. Это была последняя в жизни прогулка с Колей. Она надолго осталась у меня в памяти. Тогда мне и в голову не могло придти, что его мысли омрачаются предчувствием скорой гибели и что он думал о «пуле, что его с землею разлучит».

25-го августа 1921 года трагически погиб наш талантливый поэт Николай Степанович Гумилев. Мы узнали об этом из газет. На здоровье моего бедного тяжело больного мужа гибель единственного любимого брата сильно подействовала. Он проболел еще некоторое время и тихо скончался. Несмотря на дружеские отношения с братом, поэт скрыл от него, от всей семьи и даже от матери, с которой был так откровенен, свое участие в заговоре.

А. Гумилева

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЗЕФЕ

Весною 1902 года меня вызвали из Черниговской губернии, где я практиковал, в Киев для встречи с «Димитрием» (Г. Гершуни). Мне сообщили, чтобы я нанял номер в определенной гостинице, и там я должен был представлять из себя агента по покупке и продаже зерна. Мой номер в этой гостинице предназначался как явка для людей, которые должны были встретиться с Димитрием.

Первым пришел — «покупать пшеницу» человек с красивым, бледным лицом, и ласковыми глазами. Это был П. П. Крафт. После него пришел Мельников¹. На другой день явился новый посетитель. Выше среднего роста, толстый, слегка сутулящийся, толстогубый, с тяжелой нижней челюстью. Шеи почти не было, голова — пулей, суживающаяся кверху, лоб узкий, глаза за слегка припухшими веками почти не видны, но производят впечатление, что они проникают во все углы.

Несмотря на правильный пароль, я ответного пароля не дал. Вначале посетитель как будто обозлился, но затем сразу улыбнулся и сказал, что из меня выйдет хороший революционер. Я продолжал молчать. Он начал описывать Димитрия, которого, как он сказал, ему необходимо было видеть. Описание его было точное, но я ответил, что не понимаю, о ком он говорит, и предложил ему справиться, не ошибся ли он номером. Улыбнувшись, он ответил, что вряд ли в этой гостинице есть другой зубной врач «торгующий хлебом», и что сделку с зерном он хочет заключить с «управляющим». И собрался уходить.

— Ладно! — сказал он. — Приходите поужинать со мной, там познакомимся и поговорим... — и, дав адрес кафе-шантана, он ушел.

Я совсем растерялся. Спрашивать было некого: меня

¹ Был заточен в Шлиссельбургскую крепость по первому делу Боевой Организации П. С. Р.

предупредили, что я ни с кем не должен встречаться, и что до приезда Димитрия моя изоляция должна быть абсолютной. Но я подумал так: что я теряю? Если этот человек — шпион, значит, меня всё равно арестуют. И я решил пойти в кафешантан и постараться узнать побольше о моем посетителе.

Этот первый визит в «место злачное» излечил меня на всю жизнь от посещения таких мест. Обстановка кафе-шантана произвела на меня удручающее впечатление, но зато я заметил, что «Толстый» чувствовал себя тут вполне в своей тарелке. Мое знакомство с революционерами ограничивалось тогда небольшим кружком молодежи, кое-какими сведениями о «Народной Воле». Знал я «бабушку» Брешковскую. Все мои знакомые нисколько не были похожи на «Толстого». В разговоре со мною он, оказалось, так много знал обо мне, что больше сомневаться в том, что он революционер, я не мог. Тем не менее, когда на другой день вечером приехал «Димитрий», я рассказал ему о всех визитерах и о «Толстом», который, хотя и знал пароль и всю подноготную обо мне, показался мне подозрительным.

«Димитрий» рассмеялся и сказал, что «если бы у нас было больше таких «шпионов», революция скорее бы пришла к счастливому концу». Встречу в кафе-шантане «Димитрий» объяснил конспирацией. (Эти слова Гершуни мне так часто пришлось повторять заграницей Чернову, Шишко, Минору и другим, после моего первого побега из Сибири, что я их хорошо запомнил).

Это первое мое впечатление от Азефа сильно врезалось в мою память. Но я сам потом упрекал себя в несправедливости: разве можно определить человека по внешнему впечатлению, — говорил я себе.

«Димитрий» предложил мне переехать в другую небольшую гостиницу в конце Крещатика перед спуском на Подол и сказал, что когда к нему посетители явятся туда, я должен оставить их одних, так как они будут обсуждать дела, о которых я знать не должен.

Гершуни просидел у меня до полуночи. Рассказывал, что заграничные группы объединились с русскими в одну партию СР, что заграницей выйдет печатный орган объединенной партии, и что на очереди стоит вопрос о налажении транспорта нового журнала, а также литературы для крестьян и рабочих. — «Мы имеем в виду одно большое предприятие, у нас имеются два кандидата, и ты — один из них», сказал Гершуни.

Гершуни² открыл мне тогда легальное имя «Толстого» — инженер Е. Ф. Азеф, с которым, как он сообщил, я должен в будущем быть в постоянном контакте. До решения вопроса о моей дальнейшей судьбе Гершуни предложил мне поехать к моим родителям в Тамбовскую губернию. Сношения со мною должны были поддерживаться через мою приятельницу Нину, с которой я познакомил «Димитрия».

Уже на третий день по прибытии к родителям я получил телеграмму с предложением «места вояжера» по продаже зубоврачебных инструментов в Западный Край и Польшу. В случае согласия мне было предложено выехать в Киев для переговоров. Я выехал.

По приезде в Киев, Гершуни я там не нашел. Мне пришлось совершить деловые поездки в Екатеринослав, Курск, Орел, Самару и другие города. В один из приездов Гершуни в Киев, он сказал, что заграницей наладилось дело, которое имелось в виду, что русский конец должен быть крайне законспирирован, и что «Толстый» настаивал на назначении меня на это дело «несмотря на твое недружелюбное отношение к нему». — «Толстый», — сказал он, — будет единственным человеком связанным с тобой. Тебе предстоит выехать в Лодзь, где ты будешь представителем эрфуртской фирмы домашних холодильников. Холодильники эти имеют двойные стенки. По получении холодильников ты должен вынуть содержимое, которое будет между стенками, наполнить пустоту сухим торфом, и заделать всё так, чтобы никаких следов операции не оставалось. Сейчас подыскивается столяр, который будет в твоем распоряжении. Ты получишь адреса в целом ряде городов центральной России, Юга и Поволжья, куда ты отправишь содержимое этих холодильников. Холодильники ты должен будешь продавать в Лодзи и других ближайших городах. Главная твоя задача — говорил Гершуни, — состоит в том, чтобы найти подходящую квартиру-контору, где будет производиться вся операция, и где получение больших ящиков и рассылка небольших компактных ящиков и чемоданов не вызвала бы подозрения. Адреса ты должен держать в голове. Никаких записей! Свобода десятков людей и комитетов будет зависеть от твоего умения наладить дело и от твоей конспиративности. Ты должен устроить свою жизнь так, чтобы слиться с окружающей об-

² Гершуни уехал заграницу, после провала Томской типографии, по моему заграничному паспорту...

становкой. Жить, одеваться так, как другие представители разных фирм. Ты будешь совершенно самостоятелен. Советоваться будет не с кем. В случае крайней и неотложной необходимости ты снесешься с «бабушкой», явка к которой у тебя есть. Как только наладишь дело в Лодзи, — выезжай в Петербург и явись в гостиницу, где живет «Толстый» под своим именем. Это имя известно ограниченному кругу. Передаю его тебе. Никогда никому этого имени не называй. Запомни также адрес (О. С. Минора) в Женеве. Это на случай, если после ареста (всегда возможного) тебе удастся бежать заграницу. Мы знаем о твоих отношениях с Ниной (Н. П. Быковой). Мы ей верим, но и она не должна знать, куда и зачем ты едешь...».

Этим закончилось мое напутствие и наметка моего пути. Я был выбрешен в большой, холодный мир, оторван от друзей и близких, предоставлен самому себе, скован доверием и ответственностью. И жизнь и свобода целого ряда лиц зависела теперь от моего умения наладить работу, от умения жить с открытыми глазами и закрытым ртом. Без опыта, без предварительной подготовки (за исключением нескольких поручений и поездок по центральным и поволжским городам), я был назначен на дело, которое в то время считалось одним из самых ответственных в партии. В течение короткого времени я вырос, возмужал, доверие и ответственность сразу сделали меня «стариком».

Когда я пришел на конспиративную квартиру, где я жил, как брат Нины, она, строгая, без улыбки встретила вопросом:

- Когда едешь?
- Почему ты думаешь, что я куда-то еду?
- Вид у тебя такой. Нездешний! Если между «святым» и «дураком» нет звена, будем «дураками». (Мы незадолго перед этим читали поэму Тургенева «Порог»). Это было благословением. И не звучало напыщенно. И голос обыденный, без драматизма. Чувствовала и сказала.

На утро я уехал. «Чтобы замести следы», на всякий случай остановился на несколько недель в имении, которое арендовал дядя. Пришлось лгать...

Приехал в Лодзь! Лодзь — Манчестер русско-польской текстильной промышленности. Город коммивояжеров. Поздним летом и ранней весной они птицами разлетались по всей стране, от западной границы на север, юг, до Дальнего Востока — с образцами хлопчатобумажных и шерстяных материй, мужских и женских, дешевых и дорогих.

Вся жизнь города, весь уклад, были подчинены характерным особенностям этой промышленности. Когда начинался слёт-возвращение коммивояжеров, агентов, продавцов, город оживал, бурлил, кипел людьми, не считающимися с денежными тратами.

Вояжеры, в огромном числе холостяки, жили два, три месяца, работали с своими фабриками, заводами, конторами — и опять в путь. До нового сезона. Во многих домах были для них специальные квартиры из двух-трех комнат с отдельным ходом, дворники и дворничихи убирали эти квартиры. Много сквозных дворов, через которые жители-холостяки могли приходить и уходить в любое время, приглашать к себе, кого угодно, никому не мешая и не обращая на себя внимания. В некоторых гостиницах были такие квартиры в глубине двора, иногда соединенные с гостиницей.

Остановившись в одной приличной гостинице, как подобает представителю немецкой фирмы, я начал знакомиться с городом. Вскоре я познакомился с хозяином гостиницы и его семьей. Его я спросил, не может ли он рекомендовать мне подходящую квартиру, которая могла бы служить и конторой, где бы я мог отделывать образцы-ледники. Я сказал, что после поездки в Германию, я жду специалиста-столяра, которого хотел бы тоже поместить в этой квартире. Хозяин ответил, что у него есть такая квартира с отдельным ходом, и что она соединена с гостиницей.

Квартира оказалась идеальной. Во дворе был выход через узкий корридор между высокими домами прямо на другую улицу. Я снял эту квартиру, подписав контракт на год. А затем поехал в Петербург, за получением дальнейших распоряжений от «Толстого».

Когда я утром постучался в его комнату, вначале не было ответа, а затем послышался сонный недовольный голос:

— Что нужно? Кто там?

В длинной ночной рубахе он был похож на рыхлую, расплывшуюся бабу.

- Зачем приехал? Почему пришел так рано?
- Рано?!.. Десятый час!.. Вас разве не предупредили о моем приезде? Приехал за распоряжениями по указанию Димитрия.

После тогдашней беседы с Димитрием у меня не было уже оснований для подозрения, и всё же тяжелое, неприятное чувство продолжало во мне колоть занозой.

- Вы должны были приехать только после того, как всё устроите и обоснуетесь. Не могли же вы так скоро всё наладить!..
- Может быть не мог, да наладил!.. буркнул я с гордостью.
 - С хохолком, а?

Толстыми, как растоптанные шлепанцы, губами, он улыбнулся. Я понял: «С хохолком», — значит он говорил с «бабушкой». Это она меня так окрестила.

Я смотрел на «Толстого» во все глаза. Ведь он — мое непосредственное «начальство», моя единственная связь с тем манящим и немного пугающим миром, куда я добровольно вошел. Углом глаз я заметил, что он за мной следит непроснувшимися, как будто полусонными глазами. И вдруг:

- Какой же я хозяин?! Небось еще не завтракали? Позвонил. Заказал самовар, хлеб, масло.
- Пойду (комната была разделена перегородкой), умоюсь, приоденусь, а вы тем временем расскажите подробно, как и что наладили.

Я дал «Толстому» подробный отчет о квартире, рассказал о своих впечатлениях, о городе, о том, что во дворе несколько контор, одна из них — транспортная, что очень удобно для рассылки полученного «товара», сказал и о неудобстве в виде ресторана, откуда шпионы могли бы незаметно следить за мной. Отрапортовал всё.

Толстый вышел из-за перегородки... стоит... смотрит мимо меня, как будто прислушиваясь к чему-то. Вдруг подошел и обнял объятием, в котором я потонул.

— Молодец!

Похвалило начальство!..

— Нам, конечно, вместе показываться нельзя. Вам придется пожить здесь с недельку или дней десять. Если имеются родственники или знакомые, непричастные к «делам», — ничего, заходите к ним, если же нет, — здесь много интересного: музеи, сады...

Он написал ряд адресов, предложил заучить их, запомнить и затем уничтожить запись. Всё это он заставил повторить перед уходом, велел повторять втечение нескольких дней, покая не буду уверен, что адреса засели в мозгу.

Я религиозно выполнил этот урок. Просидел часа два. Сосредоточенно. Молитвенно. Пока не убедился, что заучено. Память была молодая, свежая.

Разыскал я в Питере знакомую — зубного врача, с которой вместе учился в Киеве. Она обрадовалась мне, как родному. Она тосковала по Югу. Знакомых почти не было. Плохо сходилась с людьми. Здесь она меня водила повсюду, знакомила с достопримечательностями.

Время прошло быстро.

На прощанье «Толстый» сказал, что постарается как-нибудь заехать ко мне, проведать.

Вскоре после моего возвращения в Лодзь приехал и мой «столяр». Здоровый русский детина, рабочий из крестьян. Простой, уверенный в своей правде. Такими, вероятно, были суворовские солдаты.

— Прислали меня к вам в полное подчинение. Сделаю все, что прикажете.

Когда я спросил, кто его так вымуштровал, он ответил:

— Жизнь! Мальчиком слушался отца, когда начал работать, слушался хозяина. А теперь буду слушаться вас!.. Потому — ваша ответственность... — Привязался он ко мне. Мысли мои угадывал: — учите меня. Вы больше понимаете.

В один дождливый день ко мне явился неожиданный визитер. Назвал он себя: Н. И. Ракитников. Проездом из-заграницы ему поручили проведать меня, посмотреть, как я устроился и не нуждаюсь ли в чем. Я выразил удивление, что ему дали сведения о моем местопребывании и высказал опасение, что такого рода визиты могут меня провалить. Он согласился и обещал предупредить заграничных друзей, чтобы такие визиты больше не повторялись. Сказал, что доложит, что нашел всё в лучшем виде, лучше даже, чем заграницей ожидают.

Не знаю, был ли Азеф осведомлен и причастен к этому визиту! Когда «дело Азефа» раскрылось, я подумал, что этот приезд должен был послужить как бы «алиби» моего провала. Дело в том, что недели через две-три после этого визита я начал замечать за собой слежку.

Я предпринял несколько поездок по делам агентства, чтобы выяснить, действительно ли за мною следят, или это — игра нервов. Тем временем я получил сведения о новом транспорте. Но как-то я гулял по людной улице и вдруг рядом со мной очутился польский рабочий, который шепнул мне: — «Товарищ, за вами филеры».

Необходимо было принять экстренные меры.

Я выехал в Киев и разыскал «бабушку». Она подумала,

что по неопытности я испугался. Решила послать человека, чтобы выяснить положение на месте.

Вернувшись в Лодзь, я нашел транспорт уже в конторе, и мы начали лихорадочно работать по разгрузке, успели всё запаковать и сдать в транспортную контору. Мой помощник старался отвлекать шпионов, делая длинные прогулки и тем отвлекая их за собой.

Как-то, возвращаясь домой через гостиницу, я заметил высокого молодого человека. Он прошел мимо меня и шепнул: — «Я из Киева. Идите в сад, возьмите гребную лодку. Отплыв на значительное расстояние, если за вами никого не будет, подчальте к берегу, и я с вами переговорю».

В саду было много народа. Незнакомец назвался студентом Ивановым. Сказал, что убедился в слежке за мною, и что я должен ждать немедленного ареста.

Было еще совсем светло. Через внутренний корридор я прошел к хозяину посмотреть из окна его гостиной в каком положении улица. Я не мог видеть ворота нашего дома, но у ворот напротив и по тротуару все прохожие мне казались филерами... Возвращаясь к себе, я в корридоре столкнулся с высоким толстым господином в английском пальто и кепке. Я не поверил своим глазам: — «Толстый»!.. Вот нелегкая принесла!.. Попадет, как кур во щи! Я ясно помню, что в этот момент я никакого подозрения не почувствовал.

Он пошел со мной. Я наскоро обрисовал ему положение вещей, рассказал о визите Ракитникова, о поездке в Киев и проч. Он видимо взволновался.

— Вот дураки! Зачем нужно было посылать «проведывать»? Наверное он-то и привел к вам шпиков.

Будущее «алиби?»...

Было поздно. Я сказал ему, что «товар» отправлен, но что квитанции еще у меня. Сквозь зубы он пробормотал: — Дайте их мне. А жалко!.. Дело было хорошо поставлено и налажено.

Последний иудин поцелуй...

После его ухода я облегченно вздохнул. И вскоре заснул, как убитый. В четыре часа ночи «гости» пришли. Жандармы, полиция, штатские... Стучали, рылись. Ничего не нашли.

Продержав меня день в участке, на следующий приковали к жандармскому унтеру и привезли в 10-ый павильон Варшавской крепости. Допрос был короткий. Я отказался от дачи по-

казаний. Никаких вещественных доказательств. Ничего кроме нескольких обыкновенных холодильников не нашли. Материала для обвинений нет.

Осенью 1903 года, после восьмидневной голодовки меня послали временно в Сибирь в распоряжение иркутского генерал-губернатора Кутайсова, — «до решения дела Мин. Внутр. Дел»... Из Красноярска меня отправили в Тасеевскую волость Канского уезда. Приблизительно через месяц после моего приезла туда получилось распоряжение о новом аресте и ссылке в Колымск. Ареста я не дождался и в ночь начала русско-японской войны бежал через всю Россию в Швейцарию.

Там в разговорах со «стариками» я рассказал о моих впечатлениях об Иване Николаевиче («Толстом»). Хотя в момент последней встречи в Лодзи у меня никаких подозрений и не было, но позже, вспоминая уже в крепости его визит перед самым арестом, я почувствовал какую-то неясную тревогу. Совпадение мне не нравилось. Помню, что, когда на квартире Е. Е. Лазарева в Шаи сюр Кларан меня попросили подробно рассказать о лодзинской эпопее, я между прочим упомянул о тревоге, которую я почувствовал, уже сидя в крепости, по поводу визита «Толстого» перед самым моим арестом. Старики рассмеялись моей наивности: во-первых, какой провокатор нанесет визит своей жертве перед самым арестом? Это было бы очень уж глупо. Если этот визит показателен, то именно, как знак полной непричастности. И во-вторых — «Знаете ли вы, что весь «товар», квитанции на который вы передали Ивану Николаевичу, был получен на местах, и никто в этих городах не пострадал?».

Как не убедиться!.. Если всё же тревога и оставалась, то она совершенно рассеялась после триумфального приезда «Толстого» в конце июля, после «предприятия Плеве».

Моя встреча с «Толстым» произошла на квартире В. М. Чернова в присутствии «поэта» (Каляева), Леопольда (Швейцера), и Савинкова. Объятия и поцелуи «Толстого» были настолько дружеские, что внутренняя тревога растаяла. Неприятная внешность организатора «дела Плеве» не могла затемнить ореола, которым его окружили боевики. Свидание наше было коротким. «Толстый» сказал, что он уезжает, но что меня, если я уже отдохнул, ждет новое дело.

Через несколько недель в связи с новым делом я должен был ехать в Лондон через Париж, где «бабушка» хотела меня видеть. В Лондоне меня встретил и взял под свое крыло Н. В.

Чайковский. Там было создано и начало функционировать так называемое «рижское дело».

В этом деле я стал агентом фирмы Жорж Хобсон и Ко. по экспорту из Лондона через Ригу топленого сала для мыловаренных заводов. Мыловаренным заводом в Минске заведывал Александр Гуревич («Саша-Ангел» — был на каторге по делу народовольцев с М. Р. Гоцем, О. С. Минором и др.). В бочках с салом перевозилась литература. Я уехал в Ригу по паспорту голландского художника Филиппа Шарля Космана.

Только недавно, читая «Былое», я узнал, что Лопухин в беседе с Бурцевым сказал ему, что инженер Раскин (Азеф) выдал и рижское дело, которое Азеф сам устроил и наладил.

Получив в Риге первый транспорт сала, я обнаружил, что в таможне пробирка продырявила брошюры. Проверив несколько бочек, я нашел, что пробирка, испав в бумагу, шла туго, и желобок выходил назад чистым. Это, конечно, могло привести к провалу. Я произвел опыты с разной упаковкой и открыл способ, при котором устранялась возможность раскрытия, но объяснять этот способ письмом было слишком сложно. Я выехал в Петербург, нашел агента Ц. К. Тютчева, но он, как и Леопольд, который зашел к нему в это время, решили, что мне нужно самому выехать в Лондон для налажения дела, но не хотели брать на себя ответственность и предложили мне поехать в Одессу, где жил тогда член Ц. К. доктор Потапов. Жена Потапова, присутствовавшая при моем разговоре, заявила: - «Мы не можем разрешить вам эту поездку». Я ответил, что я никаких «мы» не знаю, и что только от доктора Потапова зависит дальнейшая участь рижского дела, а как и в какой форме он передаст в Лондон результат моих опытов, это касается лишь его самого, я ответственность с себя снимаю.

Доктор Потапов после этого решил, что дело нуждается в личном объяснении. Но он не хотел посвящать в это дело новых людей и предложил мне немедленно выехать в Париж, где, он был уверен, я мог найти Ивана Николаевича.

Когда в Париже я рассказал Азефу подробно (он всегда обращал большое внимание на все подробности) о своих поездках в Петербург и Одессу, он спросил меня, знал ли я, что жена Потапова — сестра Веры Гоц и тут же добавил: — «Вы поступили правильно, поставив «партийную даму» на свое место, но они (?!) вам этого никогда не простят»... Азеф одобрил мею поездку, и я, не задерживаясь, отправился в Лондон.

Н. В. Чайковский, как всегда, был крайне приветлив и на заводе «Джордж Хобсон» опыты мои прошли блестяще.

Возвращаясь через Париж, я зашел на квартиру Азефа, который в это время жил с женой и сыном и, кажется, братом Володей. Азеф был дома. Вечером, у него на квартире, мы услышали всё усиливающийся шум от криков газетчиков. В вечерних газетах были большие заголовки: — «В Москве убит великий князь, дядя русского царя». Любовь Григорьевна (жена Азефа) отнесла газету в комнату Азефу. Азеф не выходил из комнаты. Л. Г. зашла к нему и сейчас же вернулась назад, шепнув, что он ужасно расстроен, сидит на кровати и плачет... — «Зайдите к нему!», — сказала она.

Я тихо вошел в комнату... Азеф сидел на постели, охватив руками голову... Весь вздрагивал...

— Что скажешь?..

Бормочу: — Но ведь — успех... Свершилось... Какие у нас другие способы правосудия?

Азеф молчал. Поднял голову. Весь дрожит киселем. Слезы текут по его обвислому лицу.

— Успех!.. — сказал он, — Но во что этот успех обошелся? Своих, самых дорогих, самых близких и лучших из нас — на заклание...

Азеф разрыдался. О ком? Я вышел, ничего не видя, по моему лицу текли слезы. Слезы «Толстого» взволновали меня.

Любовь Григорьевна успокаивала нас обоих.

Читая спустя 50 лет в книге Б. Николаевского «История одного предателя» о впечатлении, произведенном на Ивановскую плачущим Е. Азефом, — стараюсь точнее восстановить в памяти этот момент, только что мною описанный. После убийств и продаж лучших друзей, после отвратительных дел, совершенных этим величайшим провокатором-двурушником, трудно думать о нем без омерзения.



В конце лета 1906 года я опять был в Женеве. Приехал узнать, куда меня приткнут? Созвана Дума. Литература полусвободно печатается в России. Как можно использовать меня? Я привык получать распоряжения...

На квартире М. Р. Гоца встретил Азефа. «У нас для вас небольшая работа. Поезжайте в Париж. Там узнаете». Дал адрес О. С. Минора, который в это время жил в Париже..

Осип Соломонович не был предупрежден о моем приезде,

но совершенно неожиданно ко мне явился старый знакомый по Петербургу, инженер Мартын Рутенберг.

Я не знал, что Мартын является членом Ц. К. В течение нескольких дней Мартын ко мне присматривался. Получилось впечатление, что он меня «ощупывает». Ходили по музеям, паркам, соборам, он даже достал билеты в Гранд Опера, где мы слушали «Пророка» и ничего не видели с задних скамей галерки.

Наконец подошли прямо к делу:

— Саша, мне сказали, что у вас почти фотографическая память. Мне нужно, чтобы вы поехали в Россию и раскрыли через газеты место убийства Гапона. Его убили рабочие, которые шли за ним ко дворцу 9-го января, убедившись, что он был в связи с охранным отделением...

Не будучи в курсе дела я был ошеломлен этим коротеньким сообщением, «между прочим». Мне было непонятно, зачем надо было ехать в Россию и там открывать убийство и место, когда это можно сделать письмом из-за границы?

Рутенберг объяснил, что рабочие, которые шли за Гапоном, продолжали еще верить в него. Необходимо, чтобы в письме было указано, что убийство («казнь») было совершено ближайшими соратниками Гапона, которые лично были свидетелями того, как Гапон предложил одному революционеру деньги от охранного отделения. Рутенберг показал мне заготовленное письмо.

Из письма было ясно, почему состоялся суд и приговор над Гапоном. Неясно было, почему нужно посылать челове-ка, чтобы указать местонахождение трупа Гапона через газеты. Я не знал роли Рутенберга в этом деле.

Как хороший чиновник революции, я воздержался от того, чтобы выяснить неясности, но задал вопрос, знает ли Ц. К. об этом и о цели моей поездки?

Рутенберг улыбнулся моей наивности:

— Откуда бы я знал о вашем приезде в Париж?.. Как бы я обратился к вам, если бы не имел полномочия? Видите ли — сказал он, — для меня это дело имеет личный характер, и личность того, кто выполнит это поручение, для меня имеет особое значение.

В этот момент я понял только одно, что каждое слово, произнесенное им, было для него тяжело, и мне вдруг захотелось принять это поручение.

Я поехал через Женеву, и там повидался с «Толстым». Я сказал ему, что еду в Россию по поручению Мартына.

- Рутенберг дурак! сказал он.
- Значит ли это, что Ц.К. не имеет отношения к моей поездке, и что я еду по частному делу Мартына? спросил я.
- Ц. К. никакого отношения к этому делу не имеет, хотя знает об этом.
- Иван Николаевич, вы мне просто скажите ехать мне с этим поручением, или забыть об этом?
 - ...Конечно поезжайте, по ни с кем об этом не говорите...

Прошло 50 лет с этого свидания и только недавно, прочитав разные мемуары, я понял ту двойную игру, которую Азеф играл и с Рутенбергом и ЦКПСР.

М. М. Шнееров

ПРОБЛЕМА "ДЕБОЛЬШЕВИЗАЦИИ"

1.

Речь Хрущева, произнесенная на закрытом заседании двадцатого съезда, и «Постановление центрального комитета КПСС о преодолении культа личности и его последствий» (от 30-го июня) — дополняют друг друга. В первом документе, первый секретарь КПСС повествует о том, что произошло в один из недавно закончившихся периодов советской истории; во втором, высший орган партии пытается объяснить почему так произошло. Первый документ повествовательный, описательный, насыщенный фактическим материалом; второй — попытка дать историко-политическое объяснение и оправдание фактам.

В данном случае неважно, что факты были более или менее общеизвестны и до речи Хрущева; неважно также и то, что историко-политическая концепция Ц. К. не блещет оригинальностью. Значение и ценность этих документов состоит в том (правда, не только в этом), что общеизвестные факты на этот раз были официально подтверждены властью, которая в продолжении многих лет их тщательно скрывала и упорно отрицала. В равной мере, и в «Постановлении» главным образом важно то, что столь систематически формулированная в нем концепция обнародована самой властью. Другими словами, важно не столько то, что было сказано, сколько то, кем это было сказано.

В печати уже не раз подчеркивалась неполнота фактического материала речи Хрущева, подобранного им в нужном ему направлении. Эта речь, как известно, не удовлетворила и руководителей западных коммунистических партий. Правда, никто из иностранных коммунистов не оспаривал правдивости фактов, как почти никто из них не подчеркивал их неполноту. Иностранных коммунистов, главным образом, не удовлетворяло отсутствие в ней объясиения фактов, «марксистского анализа» причин того извращения «коммунистических принципов» и «коммунистической законности», которое имело место в последние двадцать лет жизни Сталина. Почти единодушный бунт

западных компартий (в этом единодушии западная печать заподозрила, как известно, режиссуру Москвы) породил «постановление» Ц. К., которое, представляя собой требуемый «марксистский анализ», вызвало такое же единодушное удовлетворение и успокоение мнимых бунтовщиков. Можно, конечно, с сожалением констатировать отсутствие у вождей коммунистических партий умственной пытливости: «целиком и полностью» одобренный ими документ должен был бы, ввиду спорности его положений, вызвать, по крайней мере, дальнейший обмен мнений. Нельзя, однако, отрицать, что при всех полуправдах, которыми пестрит «Постановление», оно не лишено некоторой логичности и убедительности и обладает свойствами, позволяющими ему быть принятым, в предназначенной для него среде, за «марксистский анализ».

Если опустить те разделы «Постановления», которые к нашей теме отношения не имеют, то суть большевистской интерпретации происхождения сталинского единодержавия может быть сведена к следующим основным положениям: коммунистическая революция, победившая в России, но лишенная возможности продвижения на запад, оказалась «осажденной крепостью» в «капиталистическом окружении». Это вынудило партию пребывать в состоянии «постоянной бдительности и мобилизационной готовности». Оказавшись в политической изоляции, «страна должна была... в кратчайший исторический срок и без какой бы то ни было помощи извне ликвидировать свою вековую отсталость». «Эта обстановка», в свою очередь, требовала от партии применения «железной дисциплины» и установления «строжайшей централизации власти».

«В ходе ожесточенной борьбы со всем миром империализма, нашей стране приходилось итти на некоторые ограничения демократии... но эти ограничения уже тогда рассматривались партией и народом как временные, подлежащие устранению по мере укрепления советского государства. Народ сознательно шел на эти временные жертвы, видя с каждым днем всё новые успехи советского общественного строя».

«При рассмотрении этого вопроса (т. е. установлении причин, приведших к единодержавию Сталина или «к культу личности и его отрицательным последствиям») — заключает «Постановление» — «надо иметь в виду как объективные, конкретные исторические условия, в которых происходило строительство социализма в СССР, так и субъективные факторы, личные качества Сталина», т. е., с одной стороны его прежние «заслуги» в деле борьбы с троцкизмом, правым оппортунизмом и буржуазным национализмом, заслуги, создавшие ему в пар-

тии и народе исключительную популярность, а с другой стороны, его властолюбие, самомнение, жестокость — черты, развившиеся в нем в результате успехов «социалистического строительства».

Итак, схема «марксистского анализа» такова: враждебное окружение и постоянная угроза нападения извне вызывали необходимость обороны; успешная оборона могла быть достигнута только путем централизации власти и закрепощения партии и народа; закрепощение усугублялось, благодаря наличию «субъективного фактора», личности Сталина; теперь, на «данном историческом этапе», когда «социализм стал мировой системой» и когда «объективные конкретные исторические условия» изменились и когда, вследствие смерти Сталина, исчез и «субъективный фактор», период закрепощения должен смениться периодом раскрепощения. Правда, последнего вывода «Постановление» не делает в такой категорической форме, ограничиваясь лишь намеком: закрепощение или, выражаясь эвфемизмом постановления, «ограничения демократии... рассматривались партией и народом как временные», т. е., подлежащие, при первой возможности, устранению.

Можно, конечно, возразить, что эта схема страдает слишком уж большим упрощенством. Напомним, что «осажденная крепость» не ограничивалась одной только обороной, а пыталась временами прощупать штыком «враждебное окружение». хотя, верные заветам своих учителей, большевики всегда пытались наступать под маской обороны. Неверно, разумеется, и то, что «капиталистическое окружение» только о том и помышляло, чтобы уничтожить «осажденную крепость». Наоборот, исторические факты доказывают, что за исключением первых лет «интервенции», носившей в действительности более номинальный чем реальный характер, «капиталистическое окружение» часто спасало «осажденную крепость» в самые критические для нее моменты. Напомним также, что признанное закрепощение и обещанное раскрепощение имеет в виду, главным образом, партию и, повидимому, привилегированное служилое сословие. Закрепощение основной массы народа и, в первую очередь, крестьянства — закрепощением до сих пор не названо, ибо принудительная коллективизация, признанная необходимой для преодоления «вековой отсталости» страны, всё еще почитается мерой, крестьян облагодетельствовавшей.

Эта концепция поражает однако не только своим упрощенством. Поразительно также ее сходство с теми старыми концепциями русской исторической мысли, которые в дореволюционной России пытались объяснить «самобытность» рус-

ского исторического процесса, равно как и происхождение и сущность самодержавия. В основном, концепция эта сводилась к тем же основным элементам: оборона, централизация, закрепощение и раскрепощение. Согласно этой схеме, Россия, благодаря своему специфическому географическому положению, должна была беспрестанно обороняться от азиатских кочевников, нападавших на оседлое русское население. Необходимость обороны обширной русской равнины, отличавшейся «однообразием природных форм», т. е. отсутствием природных препятствий, вызвала к жизни централизованную власть, которая, в свою очередь, в целях той же обороны, вынуждена была закрепостить население. Необходимость в централизованной власти и закрепощении населения еще более усилилась, когда русскому государству пришлось, после разгрома и разложения Золотой Орды, обороняться от своих западных соседей, в военном и техническом смысле лучше вооруженных и организованных. Запад, будучи «не только врагом, но и учителем», заставлял молодое русское государство затрачивать на оборону гораздо большую часть своего национального дохода, ибо старые методы обороны, годившиеся для отражения азиатской опасности, были в отношении запада недействительны. «Закрепощение» коснулось не одной только массы крестьянства; к государственному тяглу были прикреплены также и другие сословия, в том числе и дворянство. Дворянство и другие сословия могли выполнять свои государственные обязанности только при помощи труда закрепощенного крестьянства. Когда же необходимость в закрепощении отпала, та же власть сама приступила к раскрепощению страны.

Сто лет тому назад эту концепцию, ставшую как бы «золотым фондом» русской исторической мысли, развили Сергей

Соловьев и Борис Чичерин.

«По природному своему положению, — писал С. Соловьев, — Россия должна была вести постоянную борьбу с азиатами... Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения; ясно, что в истории последнего одним из главнейших явлений будет постоянная борьба со степными варварами».

Предвосхищая теории позднейших евразийцев, Соловьев выдвигает мысль, что созданию единого и централизованного государства способствовали особые физико-географические условия «северо-восточной Украины», рельеф которой мало способствовал образованию отдельных государств, а также расцвету отдельных и обособленных цивилизаций.

«Камень (горы) разделил Западную Европу на многие госу-

дарства и определил, тем самым, много различных национальностей. Камень дал независимость, автономию и свободу сначала господам, феодалам, затем крестьянам... В безграничной восточной равнине нет камня. Всё здесь однообразно. В результате — здесь нет обособленных государств, а одно огромное государственное образование. В этой равнине нет стабильности. Русский человек покидает легко свой дом, свою родную деревню, ибо всюду природные условия те же. Отсюда усилие правительства его удержать и прикрепить».

У Соловьева, как видим, уже имеется намек на необходимость «прикрепить русского человека». Законченное развитие этой концепции мы находим у Б. Чичерина, писавшего накануне освобождения крестьян в «Опытах по истории русского права»:

«Если мы на эти постановления (указы об укреплении крестьян) взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия... Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущей историей, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности; это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы он ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди — посадские и крестьяне — отправлением разных служб, податсй и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отправления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству... Оно (государство) не делало исключений ни для кого; оно от всех сословий требовало посильной службы, необходимой для величия России. И сословия покорились и сослужили эту службу. До самых времен Екатерины продолжалась эта система повинностей, которая лежала в основании всех учреждений того времени. Но когда государство достаточно окрепло и развилось, чтобы действовать собственными средствами, оно перестало нуждаться в этом тяжелом служении. При Петре III и Екатерине с дворянства сняты были его служебные обязанности. Жалованною грамотой 1785 года оно получило разные права и преимущества как высшее сословие в государстве; оно получило в собственность и поместные земли, которые сначала даны были ему только как временное владение для содержания на службе. Это была награда за долговременное служение отечеству. Городское сословие также получило свою жалованную грамоту, и оно освободилось от повинностей и службы, приобрело различные льготы и преимущества. Оставались одни крестьяне, которые, подпавши под частную зависимость и приравнявшись к холопам, доселе несут пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается наконец и эта последняя принудительная связь: вековые повинности должны замениться свободными обязательствами. В настоящее время окончательно разрешается та государственная задача, которая была положена в XVI веке, и начинается для России новая пора».

Эта длинная выписка, воспроизводящая с такой предельной ясностью концепцию: оборона — централизация — закрепощение — раскрепощение, избавляет нас от необходимости дальнейших ссылок на позднейших русских историков и политических писателей; почти все они, включая марксистов Плеханова (позднейшего периода) и Троцкого, развивали ту же историческую схему.

При подобной концепции русского исторического процесса, перед русской исторической и политической мыслью неизбежно возникал и другой вопрос: что представляла собою власть, вышеупомянутые исторические этапы осуществившая? Другими словами, какова была социально-политическая структура самодержавия? Являлось ли оно выразителем интересов каких-либо отдельных классов, было ли оно «органом классового угнетения», как это утверждали Покровский и его последователи, или оно было властью независимой от привилегированных классов, властью «внеклассовой», «надклассовой», какой-то самодовлеющей организацией, «стоящей над обществом»?

В начале двадцатых годов в советской России по этому вопросу разразился спор между Покровским и Троцким. Характерно, что Покровский, державшийся «дотматически-марксистской» позиции и утверждавший, что самодержавие, будучи «органом классового угнетения», в разное время было орудием либо «торгового капитала» либо «промышленного капитала», был в своих высказываниях безнадежно одинок, ибо свои

¹ Пользуясь термином «самодєржавие», цитируемые авторы разумеется, имели в виду не последние честьдесят лет существования царской империи, — периода, когда в России политическая жизнь, правда, с перерывами, начинала постепенно складываться по западным образцам, — а самодержавие периода его формирования и консолидации.

утверждения он был бессилен подкрепить ссылкой на какой либо авторитет русской исторической и политической мысли. Троцкий, наоборот, исходя из традиционного понимания русского исторического процесса и указывая, в согласии со всей русской исторической наукой, на «надклассовый» характер самодержавия, приходил к выводу, что благодаря «могуществу организации самодержавия», с одной стороны, и политической слабости привилегированных классов, с другой стороны, «соотношение сил между государственной властью и классами у нас особое». По существу, Троцкий повторял II. Н. Милюкова, утверждавшего в своих «Очерках», что у «нас государственная власть в своих интересах создавала сословия», и дополнял Чичерина, писавшего, что «поскольку в России общество и социальные классы были созданы государством... отношения между обществом и государством в России другие чем на западе. На западе социальные классы стремятся ограничить власть государства, в России, наоборот, они не могли этого сделать, будучи сами созданием той же власти». По мысли этих авторов, самодержавие являлось режимом, создававшим определеный социальный порядок для выполнения определенных политических задач. При самодержавии политика оказывалась не надстройкой определенной социально-экономической базы, а режимом, при котором политика предопределяет и направляет социально-экономический ход страны. Самодержавие не регулятор, а инициатор и почти единственный инициатор; социальные классы, созданные и прирученные властью, выполняют ту общественную функцию, которая соответствует интересам власти. Ключевский, как известно, выразил это положение краткой формулой: «В России момент политический преобладает над социальным и экономическим»². Подчинение привилегированных классов самодержавию превращало привилегированные классы в политически бесправных агентов и ставленников власти. «Социально-экономическое порабощение

² На этой концепции русского исторического процесса и взгляде на самодержавие как на «надклассовую власть» Троцкий, как известно, еще в 1905 году, обосновал вместе с Парвусом теорию перманентной революции. Ввиду слабости сословий в России и, в первую очередь, ввиду слабости буржуазного класса в России — утверждали авторы этой теории — русской революцией, перед которой стоят буржуазно-демократические задачи, будет руководить не буржуазия, а пролетариат, который, в свою очередь, придя к власти, не сможет ограничить себя буржуазными рамками революции, но вынужден будет совершить «социалистическую» революцию.

крестьянства у нас обуславливало политическое бесправие дворянства», пояснял эту мысль Ключевский. Политически бесправные классы мирятся однако со своим бесправием, получая в обмен чрезмерные материальные привилегии. Таким образом, жертва политики власти является в то же время ее союзницей, ибо если мощь самодержавия держится на политической слабости или, пользуясь современным термином, «атомизации» привилегированных классов, то политически атомизированные, но материально привилегированные классы связаны с самодержавием сообща ими осуществляемой эксплуатацией народа. Народ же не только бесправен политически, но и закрепощен экономически.

2.

Допуская, что исторические параллели всегда бывают немного искусственны и произвольны, трудно, однако, не согласиться, что при всей ее заостренности и схематичности, характеристика, данная самодержавию русской исторической и политической мыслью, поразительно верна и в отношении политической структуры советской государственной организации. Разница, разумеется, огромная в масштабе и нет уж, конечно. никакого сходства в целях, задачах, которые ставили себе эти две государственные организации, ибо, в то время как первая ставила перед собой цели национальные и, следовательно, ограниченные, вторая ставит себе цели интернациональные и мировые. Сходство можно обнаружить в методах управления и, главным образом, во взаимоотношениях государственной власти с управляемыми ею классами. Если Ключевский говорил о самодержавии, что в нем политический момент преобладал над социальным и экономическим, то с гораздо большим правом он мог бы сказать то же самое о режиме, при котором политике подчинены все виды человеческой деятельности и все хозяйственные и умственные рессурсы страны.

В этой связи, уместно попытаться ответить, в применении к советскому режиму, на вопрос, который тридцать лет тому

Кстати, «политическая слабость» или политическое «ничтожество» буржуазии признавалось тогда всеми социалистическими фракциями и группами, включая меньшевиков, которые, правда, всё-же считали, что несмотря на «слабость» буржуазии, буржуазные партии займут подобающее им место в буржуазой революции. «Надклассовостью» самодержавия объясняются также надежды некоторых русских революционеров на «якобинского», «мужицкого» и даже «рабочего» царя.

назад ставили Покровский и Троцкий в отношении самодержавия. Какова классовая сущность советской власти? Чьи интересы эта власть выражает, чьим «органом угнетения», или чьим «орудием» она является?

Советскую власть, разумеется, трудно определить как «рабоче-крестьянскую» власть, хотя это определение получило право гражданства в официальной советской терминологии. Если рассматривать власть с точки зрения ее реальных действий, а не ее пропагандного словаря, то советскую власть, особенно начиная с конца двадцатых годов, т. е. с периода сталинского единодержавия, следовало бы назвать «органом угнетения» крестьянского и рабочего сословия, ибо все достижения этого режима, вся его материальная мощь были построены на экспроприации крестьянства и на исключительно чрезмерной эксплуатации рабочих. В этом смысле наиболее меткой и верной остается известное определение Каутского, согласно которому советский режим является «величайшей мистификацией истории». Распространено, конечно, определение, согласно которому коммунистическая диктатура является властью, выражающей интересы созданной этой же диктатурой бюрократии, партийно-политической, колхозной, технической, военной и пр. Такое определение основано на неоспоримом факте, что вся эта разнородная бюрократия является материально привилегированным слоем советского населения. Неоспоримым, однако, остается также и тот факт, что материально-привилегированная бюрократия лично и политически бесправна почти в такой же мере как и экономически-закрепощенная масса низших сословий. Общественно-политическая структура советской государственной организации обладает той особенностью, при которой тиран, закрепощая и угнетая одних, является одновременно объектом угнетения со стороны других. Кажущийся господин в действительности является рабом. Это верно не только в отношении беспартийной бюрократии; в такой же мере это относится и к партии и особенно к верхам партии. Хрущев в своей речи не только рассказал о том, до какой политической атомизации Сталин довел высшее руководство партии, но цифрами и процентными отношениями подтвердил личное и политическое бесправие этого формального обладателя власти. Образное определение, данное когда-то Плехановым самодержавию, как двухярусному зданию, «в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывается закрепощением обитателей верхнего яруса», в неизмеримо большей степени верно в отношении советской государственной организации, держащейся на слабости атомизированных

ею «сословий» и, в своем роде, являющейся независимой, самодовлеющей и надклассовой силой. Благодаря могуществу своего аппарата и исключительной способности к маневрированию, коммунистической власти удавалось до сих пор предотвратить организацию какой-либо силы, которая, в серьезной степени, могла бы стать политическим противовесом и политическим конкурентом власти.

Установление этой особенности советской государственной организации имеет капитальное значение для определения возможных путей эволюции советского режима. Эта особенность, повидимому, объясняет почему все надежды, связанные с термидорианским завершением революции, до сих пор не оправдались, хотя по всем нормальным социологическим законам такое завершение должно было давно иметь место. Если просмотреть эмигрантскую политическую литературу времен НЭП'а, то легко убедиться, что почти все эмигрантские публицисты того периода ставили ставку на «крестьянскую стихию», которая «затопит» советскую власть, на «ставшего на ноги мужика», который «возьмет за горло» «узурпаторов». По объективным социологическим законам, при нормальной эволюции нормального режима, так действительно должно было произойти. Однако, «субъективный фактор», волевая целеустремленность «партии» или того, что действовало от имени партии, опрокидывала нормальный ход вещей и устраняла опасный для власти процесс кристаллизации противовеса власти. Надежды на термидорианское завершение оживились, с появлением, в результате индустриализации бюрократии. Однако, террористическим натиском «субъективного фактора»⁸ и эта опасность была устранена.

Разумеется, перед искушением термидорианской перспективы устоять трудно. Русская революция, особенно в ее первой фазе, проходила этапы аналогичные с французской; русская революция имела своих Фуше и Дантонов, свою «Жиронду» и свои «дни». Не этой ли уверенностью, что у нас всё шло и должно пойти по этому «закономерному» французскому образцу, объясняются многие роковые ошибки, которые были совершены в те дни? Различие отдельных ситуаций иногда

^{3 «}Субъективный фактор», разумеется, не исчерпывается дурными или положительными качествами Сталина или другого диктатора, как это по-детски сказано в «Постановлении». Под этим «фактором» мы имеем в виду ленинскую организацию партии, руководство которой в состоянии, пользуясь своей неограниченной властью, в корне пресечь развитие, опасное для диктатуры.

важнее, чем их сходство. Во французской революции было много из того, что было в русской. Однако, самого главного, а именно, партии с ее дисциплиной, солидарностью и своеобразной независимостью, во французской революции не было. В отличие от большевистской, диктатура Робеспьера не была так всемогуща и независима; даже в самый разгар террора, накануне Термидора, Робеспьер и Сен Жюст должны были не только считаться с настроениями в «секциях» и «клубах», но в своих решениях часто непосредственно зависели от их вожаков; их действия все-таки были ограничены каким-то, хотя бы и искаженным, общественным мнением.

3.

Данная выше характеристика «надклассовой» сущности советской государственной организации как будто не учитывает тех сдвигов, которые произошли в Советском Союзе за последние три года. Однако, именно с точки зрения политической структуры советской государственной организации, эти сдвиги имеют первостепенное значение. Для структуры этой организации наиболее важным является факт частичного раскрепощения — личного, в большей степени, нежели политического — партии и материально-привилегированного класса. Можно, конечно, предположить — и это предположение основано на тридцатилетнем опыте советской действительности, что дарованные властью права и послабления будут взяты обратно, когда власть почует, что в этих «правах» кроется опасность кристаллизации противовеса власти или что «послабления» потворствуют размягчению режима и утрате им динамичности. Позволительно, однако, предположить и другое: постепенное расширение этих «прав» и «послаблений» приводит, при наличии благоприятных обстоятельств, к изменению или «перерождению» режима как такового. Другими словами, «надклассовый» режим, который держался на экономическом и политическом закрепощении народа и политическом и личном бесправии партии и материально-привилегированного класса, «перерождается» в режим «классовый» т. е. в режим материально-привилегированной бюрократии. Для такого перерождения может даже оказаться вовсе не обязательным, чтобы власть компартии формально была низложена, или чтобы основные «идеологические установки» и пропагандная фразеология были (по крайней мере, на первых порах) радикально изменены. Сама раскрепощенная партия могла бы тогда стать «орудием власти» политически раскрепощенного привилегированного класса. Такое «термидорианское» завершение революции практически могло бы выразиться в самоограничении большевизма в его экспансионистских планах, в отказе его от «всемирно-освободительных» стремлений, в его приспособлении к национальным потребностям страны.

В предположении, что эволюция коммунистической власти действительно развивается по этим путям, поставим вопрос, каковы могли бы быть в этом случае ее взаимоотношения с классами в созданном ею «бесклассовом» обществе? Нам кажется, что в понимании и, может быть, в предугадывании этого развития, нам могла бы помочь известная теория о «циркуляции элит» итальянского социолога Вильфредо Парето. Умершему в 1923 году Парето не пришлось изучать социологические процессы современных диктатур. В применении к абсолютно-тоталитарным режимам, наблюдения и выводы Парето кажутся поэтому немного устарелыми. Более современными они может быть становятся теперь, когда появляются кое-какие признаки смены абсолютно-тоталитарного «надклассового» режима режимом «классовым». Будучи последователем Маккиавелли, Парето исходил из положения, что характер общества зависит от характера его правящей элиты и что основным элементом в понимании общественного процесса является взаимоотношение между правящей элитой и управляемой массой. Считая, что при всяком режиме элита стремится сохранить свою власть и свои привилегии и что это сохранение возможно только путем применения насилия или обмана (или того и другого вместе), Парето утверждал, что политические формулы, программы, идеологии, конституции являются «мифами», служащими только для оправдания и «рационализации» действий элиты в глазах массы. Законы общественного развития поэтому могут быть прослежены и открыты не на основании словесных формул, программ и исповедуемых идеологий, а на основании анализа реальных действий правяшей элиты.

Все эти «положения» установлены были не одним только Парето; с разными вариациями к таким выводам приходили не только сам Маккиавелли, но и такие социологи, как, например, Сорель. В высказываниях Парето, которого считают предвестником фашистской социологии, есть, разумеется, немало и от чистого ленинизма. Основатель большевизма тоже проблему власти связывал, главным образом, с проблемой элиты, которую он отождествлял с «авангардом», с «партией», с «сознательным меньшинством». В наиболее характерных для него

произведениях⁴, Ленин не скрывал, что элита может сохранить свое руководящее положение только путем комбинированного применения силы, террора и специфической «тактики», которая сводилась, в конце концов, к обману. Оригинальность Парето, однако, состоит не в утвержденном им принципе примата элиты и не в описанных им методах управления элиты, а в собранных им наблюдениях над ипруллицей элиты, над ее сменяющимися типами и их распределением.

Поскольку характер общества зависит от характера его элиты, поскольку его качества и недостатки зависят от качеств и недостатков элиты, успешные предсказания относительно будущего данного общества можно делать на основании состава и структуры его элиты. Отбор элиты никогда не происходит по принципу свободной конкуренции, ибо циркуляция элиты никогда не бывает абсолютно-свободной. Во всех обществах существуют препятствия для вхождения в элиту; дети лиц, принадлежащих к элите, независимо от их качеств и способностей, всегда имеют больше шансов попасть в элиту, нежели лица (или их дети) к элите не принадлежащие. Парето указывает, что в систематическом применении такого «аристократического» принципа кроется опасность вырождения. Элита становится почти «закрытой» и процент слабых и низкокачественных элементов в ней увеличивается; в то же самое время наиболее способные и высококачественные элементы общества скопляются в оппозиции к правящей элите. Такое состояние общества «исправляется» социальной революцией, которая, в определении Парето, есть ничто иное, как «внезапное вторжение в элиту большого числа лиц, которые до сих пор были, в силу разных препятствий, оттеснены от занятия заслуженного ими руководящего положения».

Жизнеспособность и динамичность общества зависит, однако, не только от более или менее свободной циркуляции его элиты. Первостепенное значение представляет собой также вопрос о том, какой человеческий тип в элиту допускается и какой из нее исключается. Пользуясь терминологией Маккиавелли, Парето, в основном, различает два типа представителей элиты: первый тип — это «лисицы», хитрые комбинаторы, карьеристы, сила которых в уме,

⁴ Как «Детская болезнь левизны», «Что делать?», «Могут ли большевики удержать государственную власть?» и особенно в его письмах к центральному комитету в предоктябрьские дни.

изворотливости, инициативности, проницательности; как правило, они для достижения своих целей предпочитают полагаться не на насилие, а на хитрость и обман. Второй тип — это «львы», отличительные черты которых это — прямолинейность, решительность, фанатизм, готовность и способность применять при всяких условиях насилие. После анализа различных древних и современных политически-общественных структур, Парето приходит к выводу, что общество является наиболее сильным и процветающим, когда, во-первых, циркуляция его элиты относительно свободна, и во-вторых, когда в элите представлены оба типа, с преобладающим перевесом первого. Преобладание «лисиц» в элите означает, что в ней сконцентрированы наиболее проницательные и динамичные умы, способные двигать общество в сторону прогресса; присутствие в элите «львов» свидетельствует о ее готовности пользоваться силой, в случае внутренней или внешней необходимости. «Львы» являются таким образом, своего рода гарантом против опасности вырождения, в то время как «лисицы» являются противоядием против застоя. Однако, даже при такой «счастливой комбинации» — настаивает Парето — необходимо, чтобы массы, в своем огромном большинстве, были проникнуты верой в исповедуемый «миф» или идеологию данного общественного строя, чтобы они были связаны чувством солидарности с элитой и чтобы они выказывали готовность, ради защиты этого «мифа», итти на физические жертвы и лишения. «Счастливые комбинации» в стабилизованных обществах, приходит к выводу Парето, как правило, не длятся долго. Обычно элита бывает подвержена следующим видоизменениям: в первой стадии, после победных войн или внутренних революций, в элите преобладает тип «львов», ибо, вышедшее из революции или победной войны общество нуждается, в целях самосохранения, в сильной власти, в вождях с выдержкой, характером, привязанностью к идее, фанатизмом. После консолидации режима, тенденция развития идет в пользу «лисиц». С периодом деятельности последних обычно совпадает эра материального прогресса. Однако, элита, в которой начинает всё больше преобладать элемент безидейных комбинаторов и карьериистов, склонна к утрате своей веры в «миф». Полагая, что все проблемы можно разрешать хитроумными комбинациями, элита утрачивает свою волю и способность пользоваться силой. Материальные интересы и, преимущественно, интересы сегодняшнего дня становятся превалирующими. Элита, оттеснившая «львов», постепенно разлагаясь и вырождаясь, ведет к упадку также и руководимое ею общество.

**

Рассмотрим, в какой мере построения Парето применимы к структуре советского общества. Жизнеспособность коммунистической власти объясняется, повидимому, помимо многих других причин, также и тем, что революция и, особенно последовавшие за революцией грандиозные социально-экономические трансформации привели к очень быстрой и относительно свободной циркуляции элиты. Революционная смена власти, государственное обобществление всей хозяйственной жизни страны, индустриализация и коллективизация породили многомиллионную разнородную бюрократию. Тот факт, что молодым и средним поколениям был широко открыт доступ к образованию и карьере, предотвращал, повидимому, скопление и кристаллизацию достаточно сильного оппозиционного элемента среди потенциальных элит — элемента, который при других условиях был бы способен успешно использовать недовольство экспроприированных и закабаленных групп населения. С другой стороны, специфический характер современной диктаторской власти (которого Парето не знал и предвидеть не мог), сумевший, путем материальных привилегий, политически атомизировать созданные ею элиты, позволил ей также задержать нормальное развитие и расслоение тех же элит. В применении к сталинскому лихолетью, «политически атомизировать» звучит, разумеется, как эвфемизм. На самом деле, Сталин не только политически атомизировал элиты (партийнополитические и беспартийно-технические), но еще периодически, и в больших дозах, истреблял их физически. Это был зловещий, но по-своему, оригинальный способ содействия интенсивной циркуляции элиты.

Возможна ли, однако, дальнейшая относительно-свободная циркуляция элиты при строе, при котором материально-привилегированный, бывший ранее бесправно-политическим, класс, по составу своему отличавшийся разнородностью и текучестью, превращается в класс политически-господствующий и социально-стабилизованный? При всяком стабилизованном строе привилегированный класс проявляет склонность к охране своих привилегированных позиций от вторжения нижестоящих; подобного рода склонности неизбежно ведут к замедлению циркуляции элит. Это замедление может оказаться более длительным в том случае, если консолидация позиций сложившегося привилегированного класса заставит власть приспособиться к национальным потребностям страны и тем са-

мым толкнет ее на известное самоограничение и на отказ от авантюр и утопических планов и стремлений.

Большевистская власть до сих пор несомненно являлась той «счастливой комбинацией», которая сочетала, согласно Парето, отличительные «качества» двух основных типов элиты: способности обмана, комбинаторства, маневрирования, инициативы, с одной стороны, и решимости в применении силы, с другой стороны. Выдвижение привилегированного класса с охранительными тенденциями в качестве политически-господствующего класса может, предположительно, повести к перерождению также и типа элиты. Большевистские «лисицы» могут начать всё больше оттеснять большевистских «львов». Итак, возникающие трудности с ассимиляцией новой элиты и, как следствие этих трудностей, кристаллизация оппозиции среди обойденных претендентов, с одной стороны, перерождение самого типа правящей элиты, постепенно утрачивающей способность реагировать решимостью и силой на возникающие для ее власти опасности, с другой — могли бы оказаться предпосылками «дебольшевизации» режима.

Нет никакого сомнения, что подобные тенденции развития в советском обществе имеются и что власть и особенно ее «ленинское ядро», о котором упоминало «Постановление» от 30-го июня, этими тенденциями очень озабочены. Вопрос в том, сумеет ли власть, при их дальнейшем и более углубленном развитии, эти тенденции нейтрализовать, как она это делала в прошлом с другими не менее опасными для нее тенденциями. Этот вопрос, разумеется, легче поставить, нежели на него ответить. При всех сдвигах в сторону «раскрепощения», которые имели место за последние три года, большевистская правящая головка, как будто, не выказывает пока признаков бессилия и неспособности справиться с возникающими трудностями. Нам кажется, что для того, чтобы советская власть оказалась перед проявлением такого бессилия, необходимо наличие, по крайней мере, двух следующих условий: внутри страны, чрезмерно централизованная система должна оказаться бессильной в попытках руководить всё усложняющимся и увеличивающимся хозяйственно-административным аппаратом в диктаториальном порядке; децентрализация и предоставление инициативы и самодеятельности работникам этого аппарата должны оказаться единственными средствами для дальнейшего его функционирования. Вне страны, дискредитированный коммунизм должен перестать маячить как хотя бы и «болезненный», но всё же «единственный» путь успешного «преодоления вековой отсталости» для пробуждающихся стран Азии

и Африки. Короче, пока коммунистический миф продолжает жить внутри Советского Союза и за его пределами, у коммунизма не будет достаточно оснований считать себя изжитым.

В условиях тоталитарной диктатуры, необходимо различать социологические тенденции развития и специфическую социально-политическую структуру власти, которая этими тенденциями так или иначе оперирует. Ошибку, нам кажется, совершают те, кто правильно подмечая первое, игнорируют второе.

Д. Анин

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ХРУЩЕВА

Нет сомнения, что докладу Никиты Хрущева, сделанному 24-25 февраля с. г. на закрытом заседании 20-го съезда компартии суждено остаться, как памятнику, увы, не отошедшей еще в небытие эпохи, как яркому документу из многострадальной истории России и истории человеческой культуры XX-го столетия. Доклад этот — неполная повесть временных лет, автор которой был не только свидетелем, но и активным участником описываемых им страшных событий. В американских университетах студенты проходят, так называемые, great books — наиболее выдающиеся литературные произведения, оказавшие влияние на ход человеческой культуры: диалоги Платона, «Князя» Макиавелли, «Потерянный Мильтона, «Общественный договор» Жан Жака Руссо, «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса, «Легенду о Великом Инквизиторе» Достоевского и др. Доклад Хрущева, хотя он и не относится к числу great books, тоже должен стать предметом всеобщего и обязательного изучения.

Как и другие «великие произведения», он по содержанию своему необычен — потрясающе-оригинален. Но вряд ли будет сопровождаться немедленными последствиями, вытекающим из него логически и политически.

**

По существу документ представляет собою сознание виновного, но не поставленного лицом к лицу с советским следователем, извлекающим «мерами физического воздействия» признание в совершенных и несовершенных деяниях. Это не чистосердечное и не всенародное сознание, но всё же публичное—перед коммунистической «элитой» из 1350 членов съезда, формально законодательствующего в мире коммунизма и в известной мере подобранного первым секретарем ЦК.

Со времени доклада прошло больше полугода. Сколько и каких только объяснений ему ни давали за это время люди сведущие и несведущие в советских делах! Кто только не мудрил в поисках ответа, novemy Хрущев сознался в злодеяниях

Сталина и членов Политбюро, унаследовавших его власть: Маленкова, Кагановича, Булганина, Хрущева, Молотова, Ворошилова.

Гипотезы высказывались сложные и простые, искусственные и правдоподобные. Все они, однако, покоились не столько на реальных фактах, сколько на отвлеченной спекуляции и домыслах, в соответствии с пожеланием, часто подсознательным, или с предвзятой точкой зрения.

Конечно, нет действия без причины, и свои признания Никита Хрущев сделал не «от хорошей жизни» и не от избытка покаянных чувств. Он всё-таки не Никита из толстовской «Власти тьмы». Почему же в таком случае он сознался? Что толкнуло его? Что вынудило? Свара внутри «коллективного руководства»? Соперничество? Это могло быть, возможно и будет, в какой-то мере даже уже существует. Но, во-первых, еще очень далеко до того, чтобы желание ударить по сопернику пересилило инстинкт коллективного самосохранения. И, во-вторых, — и это главное, — из соперничества и свары всё же никак не вытекает необходимость саморазоблачения и обличения «партии», культ которой остается столь же незыблемым и священным и после Сталина, каким он был при его жизни.

Борьба не на верхах партии, а в ее глубинах? Но в чем она проявилась? Признания Хрущева поразили слушателей своей неожиданностью и своей необычностью. Его прервали: «А где вы были?.. Почему не противодействовали Сталину?» Говорят, были даже слезы, крокодиловы слезы. Ну, а что еще? Ровно ничего! Доклад Хрущева был принят к сведению и руководству. «Партия» осудила «культ личности» и только.

Может-быть армия вынудила Хрущева сознаться в сталинских и его собственных преступлениях? Но ведь армию возглавляют всё такие же как Хрущев «партийцы»! Жуков может подсиживать Василевского, Конев Рокосовского, маршалы и генералы могут ссориться друг с другом, но ссоры отпадают как шелуха, когда ставится на карту преданность и верность «родной партии». Инстинкт группового самосохранения сильнее личных интриг и самолюбий. Может быть когда-нибудь армия и скажет свое слово, отличное от приказа ЦК, но пока что этого не было и нет.

Чаще и охотнее всего — по политическим мотивам и по соображениям наукообразного анализа — причину покаянного доклада ищут и находят в столкновении различных групповых интересов; в нуждах страны; в недовольстве населе-

ния; в кризисе сельского хозяйства; в международном положении; в желании властителей упорядочить («нормализировать») отношения с своими подвластными и с не-коммунистическим миром; в давлении на власть со стороны народа и советского «общественного мнения».

Спору нет: такие факты имеются налицо и являются факторами, определяющими внутреннюю и внешнюю политику КПСС, ее ЦК и президиума. Но было ли такое время, когда эти факторы не действовали? И нужды страны, и недовольство населения, и международные осложнения, и необходимость какого-то «сосуществования» с внешним миром перманентно сопутствовали советскому строю. Все эти факторы действовали и при Сталине и после его смерти и до самобичевания Хрущева. Чем же оно было вызвано? Каково его назначение?

Если подходить к происшедшему и происходящему в России реалистически, никакого давления на власть со стороны народа, к великому сожалению, обнаружить нельзя. Его можно только «постулировать» в поисках объяснения. Ни одно из объяснений не дает удовлетворительного ответа, который опирался бы на то, что есть, а не на то, что могло бы быть или желательно, чтобы было, и что когда-нибудь, конечно, и будет. Не правильнее и не предпочтительнее ли в таком случае не плодить лишних иллюзий и разочарований, а откровенно и открыто признать, что убедительного объяснения сейчас мы не имеем и его нет ни у кого?

Это не значит, однако, что вообще ничего не произошло. Нет, многое произошло, чего не бывало раньше, — и не только при Сталине, но и после его смерти. Восстания и демонстрации на Воркуте, в Казахстане, Тифлисе, Познани свидетельствуют об активности, часто героической, которая не проявлялась в течение десятилетий. Это громадной важности показатель, который может питать веру и надежду, который не следует преуменьшать, но не следует и преувеличивать. Самые выступления эти в известной мере явились, может быть, в результате переоценки «новой эры», наступившей после смерти Сталина. Подавленные беспощадно, — как обычно, расстрелами «зачинщиков», без различия пола и возраста, эти выступления трагически подтвердили, что и с переменой обличья диктатуры ее существо осталось себе равным.

Так было и в прошлом. Сколько иллюзий породил НЭП; потом конституция 36 года с «реабилитацией» всеобщего и равного избирательного права, личной собственности, прав гражданина и т. д.; наконец, победоносная вторая отечествен-

ная война, после которой, как уверяли многие, «не могло быть» возврата к прежнему. А после НЭПа пришло истребление кулаков и подкулачников «как класса»; после конституции пришла ежовщина, после войны — ждановщина с рецедивом маниакальной одержимости Сталина.

Из того, что было, конечно, не следует с необходимостью, что то же повторится и в будущем. История, возможно, ничему не учит. Но ее полезно всё же знать и помнить, чтобы не попадать впросак самому и не вводить других в заблуждение.



Хрущев докладывал с наигранной чистосердечностью. В то же время о многом он умышленно умалчивал. Очень мало было сказано, если судить по опубликованному тексту, о внешней политике под сталинским руководством. Умолчал он о многом и из той области — мучительства и издевательства, — в которой злодеяния Сталина были особенно отвратительны. Хрущев говорил о преследовании и истреблении невинных коммунистов, да и то не всех: троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев надо было, по его убеждению, гнать и карать, — их не следовало только убивать. Об уничтожении не-коммунистов: крестьян, не желавших идти в колхозы, рабочих, причастных к стачкам, эс-эров, меньшевиков, промышленников, духовенства, офицерства, целых народностей, о миллионах погибших от вызванного диктатурой голода, — обо всем этом Хрущев не обмолвился ни словом.

Хрущев описал пытки и издевательства, которые применялись к вчерашним товарищам и соратникам, вместе проделавшим «великий социалистический Октябрь», вместе оплакивавшим безвременную потерю незабвенного «Ильича», вместе прославлявшим, с 29-го года начиная, «величайшего человека всех времен и всех народов», «гения» и «солнце человечества». Но и самое горячее воображение, вероятно, не в силах себе представить, как расправлялись мучители с простыми смертными — тем более, с явными противниками и Октября, и большевизма, и большевиков.

В основном и главном сообщенное Хрущевым уже было давно сказано Троцким, Сувариным, Сержем, Барминым, Кривицким, Кравченко и другими. Но мировое общественное мнение придавало их показаниям мало веры, — считая эти показания пристрастными, подсказанными личным и фракционным

раздражением. Теперь Хрущев скрепил все эти показания казенной печатью: «С подлинным верно. Секретарь Н. Хрущев».

Но было в докладе и кое-что новое. И самые осведомленные и убежденные враги большевиков этого всё-таки не знали. Была, оказывается, шифрованная телеграмма Сталина от 20-го января 39 года, т. е. уже после знаменитых показательных процессов, предписывавшая органам НКВД и всем секретарям областных комитетов, краевых и ЦК компартий в советских республиках, «обязательное применение физического давления» к «известным и упорствующим врагам народа»! Новым были и некоторые цифры, приведенные Хрущевым, ловечных», «варварских», «страшных» пытках, в «бесстыдном» издевательстве над «человеческим достоинством» в конец измученных людей. Новым было признание, что глава партии и правительста требовал, чтобы красные палачи своевременно выполняли предносившуюся его болезненному сознанию квоту, или «норму». Новым было и официальное признание того, что советское правосудие было фарсом и фальсификцией: казни совершались ∂o вынесения «судом» смертного «приговора» обвиняемым: «приговор» лишь оформлял уже содеянное. Новым были и некоторые цыфры, приведенные Хрущевым, как например, — утверждение Сталиным за один 37-38 год 383 списков с тысячами имен, подлежащих ликвидации партийцев, комсомольцев, совслужащих, военных и других.

Рассказанное Хрущевым было столь невероятным и ошеломляющим, что не только заграничные коммунисты отказывались сначала этому верить. Даже такой осведомленный журналист как Андрэ Пьер заявил в «Le Monde», что разоблачения, приписываемые Хрущеву, — плод воображения досужих умов.

**

О том, что было, Хрущев докладывал не полностью и не совсем так, как происходило в действительности. Он излагал события так, как они представились ему и его коллегам после смерти «самого́». Хрущев не ставил никаких вопросов. Они, однако, сами собой вытекали из его доклада.

Едва ли не главным из вопросов был, — как вообще возможны были столь неслыханные, официально засвидетельствованные Хрущевым злоупотребления властью при всем известном превосходстве советской системы над всеми другими? Как могло случиться, что «наиболее совершенная система демократии», не формальная и буржуазная, как в капиталисти-

ческих странах, а «социалистическая демократия», — как могла она в течение десятков лет практиковать «недостойные методы», «беззакония» и «зло», превосходящее всё, чем прославились на весь мир фашистские режимы Муссолини, Франко и Перона?

На этот естественный и основной вопрос доклад Хрущева не дал ответа. И Москва упорно отмалчивалась, пока это было возможно, пока вопрос ставили «реакционные круги Соединенных Штатов Америки и некоторых других держав», которые «развертывали клеветническую кампанию». От ответа нельзя было, однако, уклониться, когда тот же вопрос подняли «братские коммунистические и рабочие партии» в лице итальянца Тольяти, американца Юджина Денниса и т. д. Ответ был дан в особом «Постановлении ЦК КПСС» от 30-го июня. Озаглавленное «О преодолении культа личности и его последствий» и напечатанное в «Правде» от 2-го июля с. г., Постановление это по убедительности обратно пропорционально своему размеру — оно занимает больше двух страниц «Правды». Не пишут так пространно отрицательный ответ... Он свелся к ссылке на «объективные, конкретные исторические условия, в которых происходило строительство социализма в СССР, и некоторые субъективные факторы, связанные с личными качествами Сталина». Этим последним Постановление придает главенствующее значение, — как показывает само его название. Субъективные факторы — в отрицательных чертах Сталина, из-за которых еще Ленин считал его непригодным быть генсеком и «завещал» сместить (чего «ленинцы» не сделали, в нарушение завещания признав «целесообразным оставить Сталина на посту генсека»).

Отрицательные качества Сталина, это — его честолюбие и тщеславие, головокружение от успехов не только его собственных, подозрительность и самомнение, мегаломания и самопревознесение при значительной доле невежества. Все эти черты Постановление обобщает в понятии — xyльт личности и приписывает его Сталину, хотя совершенно очевидно, что при всяком культе имеется не только объект, который почитают, но и те, κmo его почитают. Ведь Молотов, Булганин, Маленков, Микоян, Хрущев и Ко кадили Сталину и культивировали якобы созданный только Сталиным «культ» 1.

¹ Составленная при прямом соучастии Сталина, его «Краткая биография», вышедшая отдельным изданием в 1947 году и вошедшая целиком в Большую Советскую Энциклопедию, всё же не плод

В отступление от того, что твердили об «отце народов» в течение четверти века, Хрущев теперь возвращается к марксистскому пониманию истории: «думать, что отдельная личность, даже такая крупная как Сталин, могла изменить наш общественно-политический строй, значит впасть в глубокое противоречие с фактами, с марксизмом, с истиной, впасть в идеализм».

Получается неувязка: с одной стороны, нам говорят о «зле, которое причинил культ личности Сталина партии и народу», а, с другой, — что и Сталин «не мог изменить и не изменил природы (нашего) общественного строя»... Сталин был началом и концом советского строя, его отцом и благодетелем, но только до тех пор, пока был жив. Когда же он умер, он оказался лишь одной из спиц, правда, крупной, в советской колеснице.

Но у Постановления имеются про запас еще и «объективные условия». Они элементарны. Во-первых, интервенция врагов советского строя 1918-20 гг., продолжавших якобы и позднее «готовить новые 'крестовые походы' против СССР»²; и, во-вторых, — необходимость «железной дисциплины, неустанного повышения бдительности и строжайшей централизации руководства» для борьбы против «троцкистов, правых оппортунистов и буржуазных националистов».

Это — точное повторение той же сталинской «концепции».

Постановление признает, что «приходилось идти на некоторые ограничения демократии», не только советской но и внутрипартийной. Они «рассматривались партией и народом (?!) как временные», но были «неизбежны». Вместе с

его единоличного труда. Над ней трудились и шесть других фальсификаторов: Александров Г. Ф., Галактионов, Кружков, Митин, Мочалов и Поспелов. Тут было и *само*восхваление, но был и фимиам «соратников».

2 На интервенцию 1918-19 гг. коммунисты не перестают ссылаться вот уже 38 лет. Как будто и сейчас они охвачены былой паникой, хотя на самом деле интервенция пришла слишком поздно и ее «полчища» были ничтожны. Французский экспедиц. корпус в Одессе состоял из 1.800 человек. Англичан в Архангельске было и того меньше. Американцев была только одна видимость. Чехов насчитывалось, правда, больше, но это были «интервенты» поневоле; только в порядке самозащиты чехи вступили в вооруженное столкновение с советскими войсками.

тем «природа советского общественного строя», утверждает Постановление, осталась «неизменной»: «уже почти сорок лет власть находится в руках рабочего класса и крестьянства»; «советы были и остаются органами подлинного народовластия»; «наш строй подлинно демократический, подлинно народный строй»; «в отличие от всякой буржуазной демократии советская демократия не только провозглашает, но и материально обеспечивает всем без исключения членам общества право на труд, образование» и т. д. — следует повторение официальной пропаганды, насчитывающей 39-летнюю давность.

Больше того. ЦК в своем Постановлении рискует утверждать, что на все ограничения демократии «народ шел сознательно», что небывалая в истории мира по длительности и жестокости диктатура компартии представляет собою «подлинно народный строй».

Так отвечает Постановление на свой вопрос: «как же могло случиться», что в условиях советского строя возникло и получило распространение всё поведанное миру Хрущевым.

**

Как создать «прочные гарантии того, чтобы никогда впредь в нашей партии и в стране не могли возникнуть явления подобные культу личности», — на это у Постановления ответ простой. Гарантия — в «смелой и беспощадной самокритике в вопросе о культе личности». Ни одна из правящих партий в капиталистических странах не пошла бы на шаг, на который пошел Хрущев, — уверяет Постановление.

Это, конечно, не ответ, а уклонение от него — девиация и диверсия. Самокритику компартия рекомендовала и на свой лад осуществляла вот уже скоро 40 лет. А к чему она привела, об этом свидетельствует доклад Хрущева. И смерть Сталина не сразу помогла приоткрыть кремлевскую завесу. Три года истекли прежде, чем Хрущев и Ко решились поведать — не народу, а своим ближайшим сообщникам, — о том, как жили-были страна и народ в эпоху Сталина. И поведали они лишь часть правды, полуправду. Это ли самокритика, которая может гарантировать, что впредь сталинщина и культ личности не повторятся?

Имеется, наконец, еще один щекотливый для Хрущева и компании вопрос: почему же они так долго терпели «недостойные методы», «многие беззакония» Сталина и «всё зло»,

причиненное его культом? Этот вопрос касается непосредственно членов «коллективного руководства», и Постановление ЦК приводит ряд доводов, почему «эти люди (ленинское ядро ЦК) не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства».

В прямое противоречие с тем, что говорил Хрущев о страхе и трепете, охватывавшем соратников генералиссимуса, когда они входили в его кабинет и не были уверены, выйдут ли оттуда невредимыми, — Постановление подчеркивает, что «не в недостатке личного мужества» была причина их терпимого отношения к гениальному вождю, его «культу» и злодеяниям. В положительной форме самооправдание ЦК в том, что добственную ответственность за отношение к Сталину он переклалывает на других, — на «советских людей», которые «знали Сталина, как человека, выступающего всегда в защиту СССР от происков врагов, (и который) борется за дело социализма». «Всякое выступление против него в этих условиях не было бы понято народом (!)... каждый, кто бы выступил против Сталина, не получил бы поддержки в народе». И здесь ответственность возлагается на народ: он безмолствовал под тиранической властью, значит он оказывал «полное доверие» правительству и «родной партии».

К этому прибавляется: выступление против Сталина было бы равнозначно «подрыву единства партии и всего государства». Да у Сталина были не только мегаломания и мания преследования³, он переживал и «трагедию» (?). Он был символом успехов, которые «вселяли законную гордость в сердце каждого советского человека». Отдельные ошибки и недостатки (о «недостойных методах» и «беззакониях» Постановление уже успело забыть) казались на фоне громадных успехов «менее значительными». Наконец, «многие факты и неправильные действия Сталина» обнаружились лишь после его смерти.

³В свете того, что сказал Хрущев, версия о припадках исступления и безумия, овладевавших Сталиным периодич€ски, приобретает полную убедительность. Опубликованные французским Бюллетенем Общества изучения и осведомления о международной политике (ВЕІРІ), в приложении к № 98 за ноябрь 53 г., статьи «Калигула в Москве» и «Великий секрет Кремля» во многом предвосхищают содержание хрущевского доклада: точно Хрущев был с ними знаком. Эти статьи надлежало бы перевести полностью для русского читателя.

Так компартия оправдывает не «культ личности Сталина», а себя. И перекладывая ответственность с больной головы на здоровую, на простых советских людей, на «народ», который не переставали держать в тисках и ежовых рукавицах, ЦК находит слова сочувствия и по адресу развенчанного Хрущевым Сталина. Всё в общем кончается к всеобщему благополучию, как в детективном романе или кинематографической картине. Но почему Хрущев сознался в своих и своих коллег деяниях, и из Постановления не узнаешь.

**

Когда безумный фюрер покончил с собой и его сообщинков спрашивали, как могли они допустить массовое истребление людей в газовых камерах, они с напускной наивностью недоумевали: «газовые камеры... лагери истребления?.. какие?..» Они не знали и не слыхали об их существовании. Это была, конечно, ложь лицемерная.

Когда умер другой маниак, его преемники сначала отмалчивались. Потом нашли козла отпущения в лице «междунаролного империалиста Берии» и его «преступной банды», хотя Берия был не только агентом Сталина, но и его наследником — вместе с Маленковым, Молотовым, Хрущевым и др. Преступная же банда Берии, во главе с Серовым, и сейчас у власти.

К концу 20-го съезда Хрущев тактику переменил. Он перестал прикидываться незнайкой, а открыто заговорил о гнусных и чудовищных злодеяниях, ответственность за которые несут они — советские люди и народ, — но не мы, не «коллективное руководство». Если сообщники Гитлера лгали лицемерно, преемники другого деспота-фантаста лгали цинично, не прикидываясь дурачками, а спекулируя на глупости и легковерии окружающего их не-коммунистического мира. Они отвергли экономические построения «корифея науки». Они признали, что даже история «родной партии» в сталинские времена фальсифицировалась — она лжет и в своих утверждениях, лжет и в своих отрицаниях или умолчаниях...

Они забыли и то, на чем сами же раньше настаивали. Советский прокурор на нюрнбергском процессе Геринга, Рибентропа, Розенберга и Ко, генерал Руденко, нынешний генеральный прокурор СССР, доказывал связанность общей ответственностью всех главарей наци. «Очень часто — напоминал Руденко — глава преступной шайки узурпирует власть других членов той же шайки, даже право на жизнь и смерть. Однако,

ни одному адвокату в мире не довелось отрицать наличность преступного сообщества на том только основании, что сообщники не были равны друг другу и один из них имел власть над другими»⁴. И ответственность Хрущева и Ко за изобличенные им общие преступления не отменяется тем, что Сталин имел власть карать и миловать своих сообщников.

**

Что и говорить, после смерти Сталина, особенно за последние полтора года «жить стало легче, жить стало веселей». Но в первую очередь, конечно, — коммунистической верхушке, освободившейся от своего злого гения. Она стала жуировать, не стесняясь обнаружить пред вражеским миром всю свою примитивную вульгарность. Взгляните на запечатленного на фотографии полупьяного генсека, всей пастью впившегося в апельсин на официальном банкете в Белграде. Или вот в Москве, на приеме французской социалистической делегации, жовиальный Микоян, публично дергающий за бородку главу советского правительства Булганина. Это не то нуворищи, не то тюремные сидельцы, взыгравшие от радости, что наконец обрели свободу от узды, в которой их десятилетиями держал мрачный «усач».

В этой очень поучительной брошюре имеются, однако, строки, которые могут ввести в заблуждение неосведомленного читателя. Там указывается, что оппозиционная большевикам партия социалистов-революционеров получила на выборах абсолютное большинство в 58%. К сожалению, не упоминается при этом, что выборы происходили во Всероссийское Учредительное Собрание и большинство получила партия С. Р., не считая, так называемых, левых эсэров, перекинувшихся к большевикам.

Неосведомленному читателю тем легче впасть в заблуждение, что левый эс-эр, позднее комиссар юстиции, И. З. Штейнберг изображен попутно ревнителем прав человека и личной свободы, когда в действительности он вступил в правительство Ленина через четыре дня после создания недоброй памяти Ве-Че-Ка и принял самое активное участие в упразднении Учредительного Собрания, в котором большевики с левыми эс-эрами оказались в меньшинстве.

⁴ Цитирую из брошюры «Совєтские преступления и признания Хрущева», только что вышедшей в издании нью иоркского «Дома Свободы». В ней дается в сжатой форме перечень всех большевистских преступлений, с самого начала захвата власти в октябре 17-го года.

Жить стало легче и тем, кто пережил сталинский режим. Это не значит, что людей в Советском Союзе больше не убивают без вины и без суда. Это не значит — и того, что за так называемыми «врагами народа» больше не охотятся, как при Сталине. Но кой-кого освободили, других посмертно реабилитировали: Бубнова, коммуниста-политика, Бабеля, попутчикаписателя, Мейерхольда, коммуниста-режиссера и т. п. Но откуда человека освобождают, продолжает оставаться засекреченным.

И на долю не-коммунистов выпали облегчения. Дали амнистию, кущую, не общую, но всё-таки амнистию; упразднили некоторые лагеря; сократили сроки заключения; выпустили лагерных и тюремных сидельцев, — не всех, но некоторых, по правительственному усмотрению; упразднили гнусные «тройки», налагавшие тайком кары; освободили женщин от работ в шахтах и по погрузке; уменьшили возрастные сроки для получения государственной пенсии; увеличили пенсионные ставки.

И во вне чуть-чуть приоткрыли двери для въезда в СССР иностранцев: ученых, политиков, артистов, религиозных деятелей, журналистов, спортсменов, просто туристов — в групповом порядке и в одиночном. И в обратном направлении на Запад двинулись всевозможные советские делегации — научные, сельско-хозяйственные, домостроительные, церковные, театральные, спортивные, всё «огосударствленные», или полконтрольные правительству. И, конечно, чаще замелькали по всему свету фигуры советских вельмож. Хрущев, Булганин, Микоян, Маленков, Ворошилов, Шепилов, Суслов, Жуков, Пономаренко, Волков вырвались на волю и носятся по всем Европам, Азиям и Африкам стайками и в одиночку.

Так же как внутренняя политика, и внешняя политика коллективной диктатуры остается не более устойчивой и не менее противоречивой. Продолжаются речи о необходимости покончить с холодной войной и организовать мир на началах взаимной безопасности. И одновременно продолжают сеять вражду и ненависть к тем, с кем рекомендуется мирное сосуществование. Призывают к борьбе за независимость и свержение чужеродного колониального ига и продолжают держать на привязи закабаленные после войны народы средне-восточной Европы.

Это столь же последовательно, как, ополчаясь против культа личности Сталина, «культивировать» Хрущева как мастера на все руки: спец по кукурузе и целинным землям мо-

жет и «департаментом управлять» — направлять внешнюю политику Советского Союза в Европе, Азии и Африке.

Из чего же видно, что, как это утверждают некоторые, дело идет к выветриванию и размыванию системы диктатуры, к ее «эрозии»? И «честное возвращение» назад, к Ленину, этого не сулит. Только что вышедший №5 «Советского Государства и Права» напоминает забывшим о том, с какой настойчивостью добивался «Ильич» «уточнения характера наказания за контр-революционную деятельность меньшевиков и эров». Накануне обозначившейся мозговой болезни Ленин шлет, 15 мая 22 года, записку своему наркомюсту Курскому с требованием «найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п.)». А двумя днями позже он посылает Курскому свой собственный «черновой набросок» понятия контр-революционного преступления. Чем он озабочен? «Открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора (всё подчеркнуто Лениным. M. B.), его необходимость, его пределы. Суд должен не устранить террор... а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и прикрас» (Сочин. т. 33, стр. 321).

Многим ли это отличается от слова и дела Сталина и его соратников, ныне возвращающихся к Ленину?

**

Среди разговоров с Львом Шестовым, опубликованных в кн. 45-й «Нового Журнала», имеется запись, относящаяся к 30-м годам. Шестов говорил: «Страшно не то, что Сталин убивает людей, — страшно, что он убивает в них всё вплоть до смелости. Хуже тюрьмы обращать людей в трусов».

Доклад Хрущева полностью это подтверждает. И самые, казалось, всесильные советские сановники в условиях сталинской диктатуры были трусами. Впрочем, так было и до Сталина. Вспоминаю одно свидание и беседу в Париже в первой половине 20-х годов. Темной ночью, крадучись и озираясь, пришел приятель из Москвы, не единомышленник, но честный, либерально настроенный специалист по экономике и финансам. Он занимал видный пост в советской России. «— Если бы вы знали, каких они из нас подлецов сделали!» — говорил он. И это было в счастливое время НЭПа.

И сейчас, поминая своего друга Фадеева, покончившего с

собой, по официальной версии, в состоянии опьянения, небезызвестная Эльза Триолэ сообщает, что в 54-м году, т. е. уже в после-сталинскую «эру», Фадеев говорил ей: — «Поверишь ли, советские писатели никогда не будут говорить о злоключениях, постигших их страну, об осуждении невинных, о тысячах драм...» А Фадеев знал о чем говорил, ибо при Сталине и после него он оставался «оком» компартии, следившим за писательской братией, чтобы не уклонялась она ни вправо, ни влево, а продолжала бы держать «революционный шаг», — как его понимал ЦК партии.

Или вот сообщение в «Preuves», что через 15 месяцев после смерти Сталина Мориак увещевал Эренбурга: «Илья, дражайший, существуют несправедливости, которые невозможно дольше выносить. Не напишете ли вы в Москве книгу о гнусностях (mèfaits) проклятого «усача», чтобы выразить то, что у всех нас на сердце»... Эренбург написал «Оттепель» в двух частях. В первой он кой-о-чем вскользь намекнул, а в вышедшей недавно второй части не сказал ничего похожего на доклад Хрущева, — вообще ишчего не сказал о «несправедливости, которую невозможно дольше выносить». Зато на завтраке в советском посольстве, если верить распространенному французскому журналу, Эренбург заявил Мориаку и Сартру: «Что вы видели в Москве ничто по сравнению с тем, что будет. Мы идем к демократии западного типа».

О, если бы «Илья», вопреки обыкновению, не солгал!.. Но этому трудно поверить.

Хрущев и Шепилов открыто говорят, что о второй или оппозиционной партии в Советском Союзе не может быть и речи: никому она не нужна, «народ» ее не хочет, потому что вполне удовлетворен «блоком коммунистов и беспартийных». Западу, вернее капиталистическим странам, нравится называть себя «свободным миром», говорил Хрущев на совещании с Гротеволем в Москве. На самом же деле это та самая свобода, от которой мы с трудом освободились 39 лет назад. Так заявляют ответственные представители власти. Но они не мешают, а может быть даже поощряют, чтобы второстепенные персонажи, вроде кремлевского громкоговорителя Эренбурга, вводили в заблуждение легковерное общественное мнение Запада.

У Кремля есть все основания рассчитывать, что это общественное мнение «клюнет», проглотит и переварит хрущевское сознание и самооправдание, как то же общественное мнение «переварило» показательную расправу Сталина с

своими соратниками и даже кровью спаянное содружество с Гитлером. «Великому Сталину» и доброму «дяде Джо» и Черчилль, и Труман всё простили. При принципиальном оптимизме, оптимизме во что бы то ни стало, — советская ложь легко усваивается и добросовестным сознанием.

Иностранные коммунисты, не на шутку было встревоженные, удовлетворились объяснением ЦК и успокоились... Кратковременная фронда Тольяти и других улеглась, и они вернулись в прежнее послушание Кремлю. Если Ненни еще шебаршит, то и это может скоро кончиться, ибо у него имеются различные «комбинации» в политической игре.

Но решающий фактор, конечно, не иностранные коммунисты и даже не международное общественное мнение. Решающим является сознание и 60 MS тех безымянных и простых советских людей — napoda, на который так бесцеремонно сваливают ответственность за свое активное соучастие в преступлениях Сталина и попустительстве ему нынешние диктаторы. И тут перспективы не слишком обнадеживающие.

Возможные прогнозы — или «гадания» — не могут не исходить из учета природы и существа диктатуры и из прошлого опыта, как ни своеобразно каждое историческое событие. И прецеденты разнятся один от другого и не предопределяют, конечно, одинакового развития даже в схожих — никогда не тождественных — условиях.

Нет пророка в своем отечестве. Ну, а за пределами отечества?.. Тоже, конечно, нет. Но имеются люди чаще ошибавшиеся и реже. Тридцать пять лет нам талдычат о наступлении советского Термидора. Еще Троцкий изобличал Сталина как «главу термидорианцев». Всё это пустые разговоры. Со времени неудачи Кронштадта прогнозы оставались пессимистичны, и, увы, к моему и всеобщему несчастью, они сбывались. И сейчас советская реальность, как мне представляется, никак не соответствует тому «золотому сну», который «навевает» своей аудитории ловкач, а вовсе не «безумец», Эренбург.

Диктатура личная и безличная не сдается, — ее свергают. А свергателей пока что не видать. И тем не менее, верую и исповедую, — они будут.

10. VIII. 56

М. Вишияк

P.~S. — Статья уже была сдана в набор, когда мне довелось встретить ряд лиц, только что вернувшихся из поездки по России. Их впечатления я передал в «Нов. Р. Слове» от 16-го сентября с. г. Они во многом подтверждают сказанное выше. M.~R.

POCCUA N TOPKN

1.

Проблема взаимоотношения национальностей в Советском Союзе, делается всё более и более популярной темой для политических размышлений и писаний — как в иностранной, так и в русской эмигрантской среде. Вместе с тем, как это ни странно, русские эмигранты довольно мало изучают национальные проблемы бывшей Российской империи или теперешнего СССР. Книг, написанных русскими эмигрантами по вопросам истории, культуры или социального строя нерусских народов СССР, почти нет; мало и журнальных статей. Кое-кто занимается Украиной, реже Белоруссией или Балтикой. Но тюрками, как и народами Кавказа или угро-финами, почти никто не интересуется.

А меж тем тюркская проблема, т. е. проблема взаимоотношений славян и тюрков на евразийских равнинах важна по многим причинам. Прежде всего тюрки, т. е. народности говорящие на языках тюркской лингвистической группы — татары, узбеки, казахи, азербайджанцы и другие, принадлежат к самой многочисленной, после славян, языковой группе Советского Союза. При этом тюрки разбросаны почти по всей территории бывшей Российской империи — от северо-восточной Сибири (якуты) до окрестностей Вильна (литовские татары), от Вятки (татары) до персидской границы (азербайджанцы и туркмены). На всей этой территории славяне и тюрки географически необычайно перемешаны. Не менее важен и тот факт, что славяне и тюрки сосуществуют на евразийских равнинах уже более полуторы тысячи лет и за этот срок пережили вместе много разнообразных этапов культурного и политического развития. Наконец, славяне и тюрки отличны друг от друга не только по языку и антропологическим данным, но и по религии и культуре. Русские, белоруссы, украинцы, как и грузины, почти все православные и развились на общей основе европейской христианской культуры. Тюрки — теперь в большинстве магометане, а до X-XIV веков были поклонявшимися небу и естественным силам природы шаманистами. Их культура, в эпоху их прихода в Восточную Европу и Среднюю Азию, была культурой кочевников. Осевши, они стали земледельцами, приняли ислам, с ним и его арабско-иранскую культуру.

2.

Славяне и тюрки встретились на равнинах Восточной Европы на самой заре их истории. Первые сведения о продвижении славян на восток относятся к третьему веку, а в 375 году по Р. Х., гунны бывшие тюрками или прототюрками, перейдя Волгу, начали завоевание понтийских степей. С этого времени начинается борьба за евразийские просторы между славянами и тюрками. Славяне через лес и вдоль леса продвигались на восток. Навстречу им Средняя Азия выбрасывала всё новые и новые волны кочевников. Авары, болгары, хазары, венгры, а затем тюрки, — печенеги и половцы, — в течение долгих веков угрожали славянской земледельческой цивилизации. Еще во второй половине XVIII века набеги крымских татар разоряли Украину, а заняв в 1868 году Бухару русские войска освободили там тысячи и тысячи невольников, захваченных в плен кочевниками.

В результате монгольского нашествия само существование восточных славян казалось должно было прерваться. На два с лишним столетия иго кочевников задержало развитие России и продвижение русских на восток. В годы перед походом Батыя волжские болгары, единственное организованное государство, закрывавшее на Волге пути славянской экспансии на восток, были накануне завоевания суздальскими князьями. Монгольское иго остановило переход Волги русскими больше чем на три века.

В 1452 году, еще до окончательного свержения татарского ига, татарский князек Касим подчинился великому князю Московскому и был поселен со своим улусом под Рязанью. С этого момента и начинается история тюркского национального меньшинства в России. Через сто лет, в 1552 году, в состав Московской Руси вошла уже большая группа тюрок — татары завоеванного Иваном IV Казанского ханства. Вслед за тем, в 1555 году, Башкирия без сопротивления подчинилась Москве, а в 1556 году пала Астрахань.

Почти что сейчас же после завоевания Казани Иван IV сделал попытку ввести татар в русло русской веры и русской культуры. Так как большинство татар были в это время уже мусульманами, то Иван IV видел в исламе основную преграду

для их руссификации. В Казань в 1555 году был послан архиепископ Гурий, который сейчас же начал православную миссионерскую работу. Ввиду сопротивления татар, против них одновременно предпринимались и административные мероприятия. После восстания 1556 года некрещеным татарам было запрещено жить в Казани, а в самом городе были разрушены мечети.

Работа миссии и действия властей принесли небольшой успех. Главная масса татар осталась верной исламу и может быть лишь десятая часть их, те кто еще держались шаманизма, перешли в православие. Правительство старалось бороться с распространением ислама и охранить от влияния мусульман как крещеных инородцев так и инородцев-язычников. Ввиду того, что мечети были центром сопротивления руссификации и миссионерской деятельности, в 1592 году был издан суровый приказ предписывавший «мечети татарские все... посметати, и впредь татарам однолично (т. е. без разрешения) не ставити» 1.

В течение XVII века правительство ослабило борьбу с мусульманством, но зато энергично вело колонизацию русскими свободных земель по Волге и по Каме. Некрещеным мурзам, дворянам, было запрещено иметь крепостных-христиан, а по указу 1681 у мурз даже должны были быть конфискованы их земли. Правда, конфискация земель магометан-дворян не была проведена последовательно, но тем не менее эти мероприятия сильно подорвали влияние татарской аристократии и она в следующем столетии в значительной степени слилась с торговым сословием. Зато гораздо лучше было положение татар крестьян. В то время, как больше половины русских крестьян были крепостными, татары и другие инородцы-крестьяне в массе оставались свободными. Среди них было не более 1-2% крепостных².

При Петре давление администрации и миссий на татар значительно усилилось. В помощь местному духовенству посылаются специальные миссионеры, по преимуществу из киевских монахов. Монахи и епископы Алексей Раифский, Илларион Рогалевский, Сильвестр Головацкий, Вениамин Пучек-Григорович, Лука Конашевич ведут миссионерскую проповедь, устраивают школы. Одновременно они зовут на помощь администрацию и, для достижения внешнего эффекта, не останав-

¹ История Татарии в документах и материалах, М. 1937, стр.149.

² Материалы для изучения Татарии, Казань, 1925, стр. 109-110.

ливаются ни перед насильственным крещением, ни перед покупкой душ. Только в 1735-1738 годах, когда казанским митрополитом стал московский консерватор митрополит Гавриил, татары смогли отдохнуть от давления киевских миссионеров. Правда, митрополит Гавриил интересовался не столько татарами, сколько борьбой с западниками и хотел все новшества, «все прежде (т. е. до Петра I), в России не бывалое, истребить без остатка»³.

Давление миссионеров достигло своего апогея в 1740 году, после учреждения «Миссионерской конторы новокрещенских дел». Татарских детей насильно посылают в русские миссионерские школы, «новокрещенам» дают всякие льготы, запрещается строить новые мечети. Даже полковым священникам вменяется обращать солдат-мусульман и язычников в православие⁴.

За один только 1743 год было сломано почти что 500 мечетей, старых и новых, под предлогом, что они были построены без разрешения властей. Результаты миссионерского напора первой половины XVIII века не оправдали усилий. Много татар, обращенных в христианство, оставались тайно мусульманами. Общее число обращений было невелико и в 1828 в Казанской губернии новокрещеных татар (татар крещеных при Гурии в XVI в. называли старокрещеными, крещеных в XVIII веке — новокрещеными) было всего лишь двенадцать тысяч. В то время как старокрещеные татары держались православия, новокрещеные легко отпадали в магометанство. Главный энтузиаст миссии 1720-1740 годов, епископ Алексей Раифский сам признавался, что «магометане в обычаях своих бывают весьма замерзены и ко крещению никто из них по благоволению не приходит»⁵. Позже, в 1778 году, князы Щербатов вообще сомневался в пользе миссионерской деятельности и писал, что «бывшие заведенные школы, в которые брали малолетних магометан, также не только не способствовали к распространению веры, но паче к ненависти ее приводили»⁶.

Озлобление населения уже в 1755 году грозило перейти

³ Чтения в Московском Обществе Истории и Древностей Российских, 1880, т. 112, стр. 58.

⁴ Полное Собрание Законов, 1830, №№ 8540, 8664, 8793.

⁵ Чтения в МОИДР, 1880, т. 112, стр. 78.

⁶ То же, 1859, т. 30, ч. II, стр. 62.

в открытые беспорядки. Во время пугачевщины за действия миссионеров поплатилось рядовое духовенство. В одной Казанской губернии были убиты 132 духовных лица.

3.

Екатерина II резко меняет политику правительства в отношении татар. Уже в 1763 году она разрешила казанским служилым татарам снова заниматься торговлей. В 1764 году она закрывает злополучную миссионерскую контору. Наконец, в 1773 году выходит один из важнейших указов императрицы — указ о свободе вероисповедания, в том числе и ислама. Одновременно разрешается строить мечети. Далее льготы татарам идут одна за другой. Из которых наиболее важными были указ 1776 года разрешающий всем татарам заниматься торговым промыслом, указ 1784 года, предоставивший мурзам дворянские привилегии, и указ 1788 создавший высшее мусульманское духовное управление в Уфе⁷.

Указы и мероприятия Екатерины II не только прекратили политику борьбы с исламом и татарами, но и привели к их эмансипации и к их сотрудничеству с русским правительством. Из недавно угнетенных подданных татары стали спутниками русского продвижения на восток. В дальнейшем татары-офицеры воевали в рядах русских войск; чиновники и переводчики из татар помогали администрации в степях, на Кавказе, в Сибири. При завоевании Кавказа муллы из казанских татар вели пропаганду против Шамиля. В Казахской степи татарский язык стал даже вторым официальным языком, языком указов, официальной переписки, прошений. Его ввели как основной язык даже в русских школах для казахов. Татары занимали значительные посты в русской администрации; так например в 1865 году первым полицейместером Ташкента был назначен татарин.

Ислам делается как бы государственной религией империи для ее новых юго-восточных областей. В указе 1785 на имя уфимского губернатора Екатерина писала: «Назначение мулл для различных племен киргизов вполне содействует и помогает делу осуществления наших ранее данных распоряжений. Постарайтесь назначить этих мулл из казанских татар». Позже, в 1786 и 1792 годах императрица рекомендовала назначать

⁷ Полное Собрание Законов, 1830, № 16710.

мулл из татар в казахские и кабардинские школы⁸. Екатерина II даже дала средства на открытие специальной татарской медрессе, мусульманской духовной семинарии, в тогдашнем центре магометанского просвещения — Бухаре. В XIX веке русские власти продолжали политику Екатерины. Указ сената 1833 года и распоряжение туркестанского губернатора ген. Черняева в 1865 году даже требовали от мусульман «выполнять все требования своей религии» и «строго соблюдать все предписания ислама».

Прекращение преследований и возведение ислама в категорию не только разрешенной, но и поддерживаемой государством религии повело к культурному расцвету татар. В конце XVIII и начала XIX века татары еще ездили в Бухару для пополнения образования, но уже во второй четверти XIX века они начали освобождаться от влияния схоластической бухарской школы. Быстрый рост татарского книгопечатания, увеличение числа грамотных, некоторое, хотя бы и очень ограниченное знакомство с русской и европейской культурой повело к развитию просветительного движения.

Начало татарского просветительного движения и культурного возрождения 1840-1860 годов тесно связано с тремя именами: Мерджани, Фейцхани и Насыри. Время деятельности этих трех татарских просветителей было также временем и сотрудничества татар и русских на поле культурного строительства.

Шихабуддин Мерджани (1815-1889) получил богословское образование в Бухаре. Вернувшись уже зрелым ученым домой, Мерджани быстро порвал с схоластической традицией бухарской школы. Он учил непосредственному подходу к Корану, пониманию духа ислама. Хотя он и не говорил по-русски, он тем не менее призывал татар учиться русскому языку и знакомиться с русской и западно-европейской культурой. Его сотрудничество с русскими учеными, особенно с учеными Казанского университета, было важным вкладом в развитие русской ориенталистики. Благодаря его усилиям было открыто много татарских школ. Его работы по истории Болгарского царства и Казанского ханства разбудили среди татар чувство национальной гордости, напомнив им их прошлое. Но Мерджа-

⁸ Там же; Православный Собеседник, 1868, I, стр. 21; Г. Касымов: Очерки по рєлигиозному и антирелигиозному движению средитатар до и после революции, Казань, 1931, стр. 12.

ни всё же оставался человеком средневековой мусульманской культуры, представителем старого уклада жизни и старого

мировоззрения.

Совсем другим человеком был Хуссейн Фейцхани (1826-1866), ученик Мерджани, но уже первый «европеец» среди татар. Он хорошо говорил по-русски, был преподавателем Петербургского Университета, знал русскую и европейскую литературу. Особенно интересуясь педагогикой, он внимательно изучал русскую школьную систему и составил план реорганизации татарских школ, который осуществился только после его смерти.

Больше всего для просвещения татар в середине прошлого века сделал Каюм Насыри (1825-1902). Он занялся составлением учебников, словарей, календарей, альманахов, сам издавал их и распространял среди татар. Насыри писал и печатал свои книги на народном, разговорном, доступном каждому простому человеку, языке волжских татар. Он был создателем современного татарского литературного языка в значительной степени очищенного от архаизмов. Немало сделал он и для русско-татарского сближения, составляя и издавая русские учебники и словари для татар и татарские — для русских.

Деятельность этих просветителей сказалась на росте школ и книгопечатания. В 1860 году число татарских школ достигает почти двух тысяч, а за десятилетие 1854-1864 было издано более миллиона экземпляров разных татарских книг.

Может еще более значительным, чем культурное возрождение татар и их участие в строительстве империи, был рост их экономической мощи. Выше указывалось, что Екатерина II уничтожила преграды для торговой деятельности татар. Этой экономической свободой татары широко воспользовались. Они быстро сделались почти что монополистами в русской торговле с востоком и во всех коммерческих операциях с районами России, лежавшими на восток от Волги. Им легче было изучить язык киргизов и узбеков, чем русским. Они лучше понимали и знали психологию человека с востока. Как мусульмане, они могли свободно проникать в Бухару, Хиву, Персию, куда русским, как христианам, доступ был закрыт. Они имели за собой покровительство и защиту империи. Наконец, татары имели вековой опыт в торговле с востоком. Их предки, волжские болгары, держали в своих руках все торговые пути между Восточной Европой и Средней Азией. Память о них сохранилась в Седней Азии до сих пор и, например, в Бухаре, еще в начале

этого века русские сапоги называли болгарскими, так как болгаре начали ввозить их в Среднюю Азию еще до монгольского нашествия.

Не удивительно поэтому, что татары заняли господствующее положение в торговле России с востоком. Не только в Казани, Астрахани, Оренбурге, Семипалатинске, но и в Сибири, Китайском Туркестане татарские фирмы росли и увеличивали число своих агентов и складов. Доходы от торговли с казахской степью и узбекскими ханствами во много раз превышали вложенный капитал, а татарское купечество быстро богатело. Почти во всех городах Восточной России были татары, ворочавшие и владевшие миллионами; ряд татарских фирм имели агентства не только в главных городах Западной России, но и в Лондоне и в Нью Иорке⁹. Среди самих татар уже с начала прошлого века купечество занимает ведущее положение. Оно занимает место в значительной степени растворившейся в самом купечестве татарской аристократии. Оно руководит всей экономической жизнью одноплеменников. Поскольку купечество финансирует духовенство, школы, постройку мечетей, книгопечатанье, оно контролирует и направляет духовную и культурную жизнь татар Волги и Урала. Через татарских мулл и учителей оно влияет и на умы башкир, казахов, киргизов, горцев. В середине XIX века среди народов Восточной России, культурное влияние татар было значительно сильнее русского, а сами татары играли даже более значительную роль в хозяйственной жизни русского юго-востока чем русские.

4.

Каждый союзник, вырастающий из роли небольшого сподручного в независимую силу, начинает пугать своего партнера. Поэтому, когда татары в середине XIX века культурно и экономически окрепли, русское правительство стало на них коситься. К тому же в царствование Александра II общая численность мусульманского и тюркского населения России резко выросла. Казахская степь была окончательно включена в состав империи, узбекские ханства Средней Азии завоеваны, горцы Кавказа покорены. Тысячелетняя борьба славян и тюрков, земледельцев и кочевников закончилась поражением степи. Тюрки перестали быть внешним врагом, зато осложнилась

⁹ См. мою статью в American Slavic and East European Review, 1953, Oct, pp. 306-307.

проблема их интеграции в империи. Тюркское меньшинство выросло к 1845 году в более чем десятимиллионную массу. А в этой тюркской массе руководящую роль играли татары, которых сами русские поставили в роль культурных опекунов их сородичей.

Но не только усиление самих татар и рост числа тюркских подданных России сказался на эволюции русско-татарских отношений. Славянофильские настроения правительственных кругов, роль России как защитницы православия и славян в войнах 1854-1855 и 1877-1878 годов видоизменил стиль взаимоотношений власти и мусульман России. Лозунг «православие и народность» казалось создавал русско-славянский тип национализма и менял идеологию империи. Одновременно, с ростом национализма в Европе, начало развиваться и национальное самосознание татар. Постройка железных дорог, улучшение морского сообщения облегчили не только связи между тюркскими группами России, но и их общую связь с Турцией. А Турция, мощная тюркская держава, возглавляемая султаном-калифом, владетельница святых мест Мекки и Медины, всегда пользовалась большим престижем среди мусульманского населения России.

Первым толчком для обострения отношений между татарами и империей была Крымская война. Уже в начале 1854 гола самарский губернатор К. К. Грот сообщал, что «татары наслышавшись о возникнувших между Россией и Оттоманской империей несогласиях и о том, что христиане претерпевают в Турции гонения, вообразили себе, что русское правительство точно так же поступит с последователями ислама». В Поволжьи начали циркулировать слухи об успехах турецкой армии и пошли разговоры о том, что муллы должны молиться в мечетях за успех турецкого оружия¹⁰. Под влиянием этих слухов и разговоров татары стали протестовать против набора в армию и сотни татарских рекрутов дезертировали¹¹. После войны 1854-1856 годов больше половины Крымских татар, около ста сорока тысяч, ушло в Турцию и эмиграционные настроения начали распространяться и среди волжских татар¹². Во всем

¹⁰ Аграрные волнения и крестьянское движение в Татарии, М. 1936, стр. 150, 158.

¹¹ Журнал Министерства Народного Просвещения, 1867, т. 134, нс. стр. 75-96.

¹² Аграрные волнения и крестьянское движение в Татарии, стр. 213-220.

этом можно было видеть зародыши панисламизма и пантюркизма.

Другим проявлением чувств религиозного и этнического единства среди татар было массовое отпадение новокрещеных татар в ислам. Переходы в мусульманство отдельных групп чувашей или черемисов и отпадение уже крещеных татар в мусульманство всегда рассматривались русскими властями как культурная победа татар. Рост татарско-мусульманского культурного влияния в Поволжьи в XIX веке не следует, однако, преувеличивать. Позже православие пустило сильные корни среди старо-крещеных татар и других племен Поволжья. Об этом свидетельствует тот факт, что после провозглашения религиозной свободы в 1905 году меньше чем четверть крещеных татар вернулась в ислам. Среди же чувашей и угро-финов переходов в ислам в начале двадцатого века совсем не было. Даже в 1926 году, в годы гонения на православную церковь, более ста тысяч татар квалифицировало себя «крещеными» православными. Тем не менее власти всегда боялись тюркизации и исламизации Поволжья. Когда усиление культурной деятельности татар и пропаганда ислама привели в 1860-1866 годах к новым случаям отпадения, администрация приняла против этого меры. Отпадения в ислам испугали русские власти, противодействие властей озлобило татар.

Война 1877-1878 годов опять привела к обострению русско-татарских отношений. После войны разнесся слух о насильственном крещении всех татар и, несмотря на его нелепость, вызвал ряд беспорядков в Казанской, Самарской и Вятской губерниях. Несколько татар за участие в беспорядках было осуждено и сослано в Сибирь. Эти слухи, осуждения единоверцев и действия администрации испугали татар. Русские власти в свою очередь были встревожены беспорядками. Они винили татарскую интеллигенцию в том, что она ничего не предприняла, чтобы прекратить распространение ложных слухов и не предупредила беспорядков¹³.

Несмотря на то, что администрация начала опасаться татар и особенно успехов мусульманской школы, власти ничего не предпринимали для укрепления русского культурного влияния среди инородцев. Духовная миссия давно приостановила свою работу, русские школы не имели успеха среди инородцев. Не зная русского языка, они не шли в русскую школу, а без

¹⁸ Там же, стр. 480.

школы они не учились языку. Только в 1860-х годах нашелся человек, который на свой риск и страх начал развивать новый тип школы. Это был Н. И. Ильминский — профессор Казанской семинарии.

Н. И. Ильминский понимал, что мусульманская школа имеет больший успех среди татар, чем русская уже потому, что она дает татарам обучение на родном языке. Поэтому он решил создать православную и русскую по духу школу на родном для инородцев языке. В 1850-х годах он составил учебники для киргизов и настоял на введении киргизского языка вместо татарского в русских школах для киргизов. В 1863 г. он создал первую русскую школу с преподаванием на татарском языке и с учителем-татарином. Его поддержал Синод, и к концу века Ильминский создал уже целую сеть в сто школ для татар, черемисов, чувашей, вотяков с преподаванием на их родном языке¹⁴. Ильминский полагал, что «первоначальное образование инородцев на их языке есть самый надежный путь к дальнейшему усвоению ими русского языка и русского образования¹⁵. В этих школах он предлагал нерусскому населению грамотность на родном языке и элементы русской культуры в «переводе». Лишь в старших классах русский язык преподавали как «иностранный».

Школьная система Н. И. Ильминского, которого левые часто обвиняли в реакционности и шовинизме, а правые называли «создателем сепаратизма и национальных движений», была собственно первой систематической попыткой распространения образования на родном языке среди народностей Поволжья. В 1860-1870 годах только у татар была своя школа, но школа мусульманская, чисто конфессиональная, в то время более арабская или персидская, чем татарская, и не дававшая ни знания государственного русского языка, ни элементов европейской культуры¹⁶. Татары, естественно, отнеслись к школе Ильминского враждебно, как к школе руссификаторской, но некоторые ее принципы, светские предметы и преподавание

¹⁴ Журнал МНП, 1915, т. 55, нс. стр. 144.

¹⁵ И. Н. Ильминский: Казанская крещено-татарская школа, Казань, 1887, стр. 222.

¹⁶ Коран и большинство богословских книг были на арабском языке. До Гаспринского татары по преимуществу пользовались персидскими учебниками арабского языка и права составленными в Ср. Азии в XI-XIV веках, в иранский, дотюркский период ее истории.

родного языка, они вскоре ввели и в некоторых своих школах. Таким образом даже на татар-мусульман система Ильминского оказала значительное положительное влияние, показав им как надо пользоваться народным языком в школе.

В ухудшении русско-татарских отношений большую роль сыграло также вытеснение татар из их монопольных позиций в торговле с Казахской степью и Средней Азией. Монопольное положение татар в торговле со Средним Востоком создалось, как это указывалось выше, в силу того, что русские как христиане могли проникать только с большим трудом в мусульманские узбекские ханства. Когда же в 1860-х годах эти ханства были присоединены к России или попали под русский протекторат, русские купцы стали опасными конкурентами для татар. К концу XIX века торговля хлопком, главным объектом средне-азиатской торговли, почти целиком перешла в русские руки. Татары, благодаря быстрому росту товарообмена России со Средней Азией тоже значительно увеличили свои доходы, но потеряли свое прежнее исключительное положение. К тому же русская администрация края рядом мероприятий, например, запрещением татарам покупать недвижимость в Средней Азии, стала стеснять свободу татар в торговле.

В Казахской степи, где до середины XIX века господствовали татарские купцы, учителя и муллы, также стало усиливаться русское влияние. Во время своего пребывания в Казахстане, Н. И. Ильминский настоял на замене в русских школах для казахов татарского языка казахским¹⁷. Это был большой удар для татарского культурного влияния в крае. Одновременно несколько казахских культурных деятелей, увлекавшихся русской культурой, познакомили с ней казахов. Друг и поклонник Ф. М. Достоевского, казахский аристократ Чокан Валиханов (1830-1865) стал первым пропагандистом русской культуры в казахской степи. Большой казахский поэт Абай Кунанбаев (1840-1900), создатель казахской литературы и литературного языка, переводил Пушкина, Лермонтова и других русских писателей, делая их доступными и понятными казахскому народу. Педагог и поэт Ибрай Алтын-сарын (1841-1889) тоже перевел немало книг русских писателей. Знакомясь с русской культурой, создавая казахский литературный язык, казахи, никогда не бывшие под сильным влиянием ислама, уходили из-под татарской культурной опеки.

¹⁷ Журнал МНП, 1914, т. 52 нс, стр. 25-30.

Способствовали усилению русского культурного влияния и рост числа русских переселенцев в Казахстане, расширение сети русских и русско-киргизских школ. Одновременно, проникновение русских торговцев в Казахскую степь подрывало и там монопольное положение татарских купцов, бывших главной поддержкой местной татарской школы и татарских мулл.

Средняя Азия никогда не была под культурным влиянием татар. Наоборот, до середины XIX века татары ездили учиться в знаменитые бухарские «медрессе». Тем не менее Мусульманское Духовное Управление в Оренбурге, перешедшее туда из Уфы и руководившее религиозной жизнью мусульман Поволжья, Урала, Казахской степи и Сибири, хотело наложить свою руку и на новые русские территории Средней Азии. Ген.-губернатор К. П. Кауфман отверг домогательства татар и средне-азиатские мусульмане получили полную свободу организации своей религиозной жизни. Вплоть до революции 1917 года мусульмане Средней Азии составляли неорганизованную, но совершенно независимую от русских властей общину. Фактически Средняя Азия была единственной областью Императорской России, где, хотя и не официально, церковь была совершенно отделена от государства.

В Средней Азии было открыто небольшое количество специальных русских школ для мусульман с преподаванием на узбекском языке, но их было немного и консервативные местные мектебы и медрессе оставались основным типом школы в Средней Азии вплоть до 1917 года. В начале XX века в среднеазиатских мусульманских школах училось около 100.000 учеников и студентов, в то время как в русских школах для туземного населения число учеников не превосходило трех тысяч. Русский язык в мусульманских школах не преподавался и русское культурное влияние среди узбеков и таджиков Средней Азии было очень незначительным.

Интересно отметить, что в Азербайджане, столь далеком от русских культурных центров, культурное возрождение в середине прошлого века было связано больше с русским, чем с татарским влиянием. Мирза Фатали Ахундов (1812-1878), первый азербайджанский писатель-западник, сделал немало переводов с русского и даже предлагал ввести новую азбуку, основанную на русском и отчасти латинском алфавите.

Развитие русской школы с преподаванием на татарском, казахском и других национальных языках, усиление русского

влияния в Казахской степи, подрыв торговой монополии татар в торговле с Казахской степью и Средней Азией — конечно должны были вызвать реакцию среди татар. И эта реакция естественно была сильнее всего в тех кругах, которые особенно были задеты ростом русского влияния, т. е. среди татарской буржуазии. Поэтому новое татарское культурно-национальное движение развивается в начале 80-х годов по преимуществу среди татарского купечества. Инициатором этого движения стал Изманл бей Гаспринский.

5.

Свое начальное образование Измаил бей Гаспринский (1853-1914) получил в мусульманской татарской школе в Бахчисарае. Затем отец послал его продолжать образование в Москву, где он жил в семье Каткова. В Москве он познакомился с идеями панславизма, которые по всей вероятности и послужили ему образцом для его более поздних пантюркских теорий. Как это ни странно, для дальнейшего развития его идеологии большое значение имело знакомство с бахчисарайским полицмейстером Шестовым. В библиотеке Шестова он нашел книги Белинского, Чернышевского, Добролюбова, которые оказали на него значительное влияние. Во время Критского восстания Измаил бей уехал в Турцию, чтобы поступить добровольцем в турецкие войска, сражавшиеся против восставших греков, но турки не приняли его в армию. Проявление протурецких симпатий осталось характерным и для дальнейшей деятельности Измаил бея.

После короткого пребывания в Константинополе Гаспринский переезжает в Париж. Здесь окончательно сложились основные элементы его политических воззрений: национализм, умеренный политический либерализм, упор на средние классы населения, преимущественно на торговую буржуазию.

Прожив год в Париже, он возвращается в Крым и поступает учителем в начальную татарскую школу. С тех пор школа делается главным полем деятельности Гаспринского. В ней он видит средство возрождения татар, способ вывести их на дорогу культурного строительства, на путь возглавления объединенных тюрков России. Гаспринский сохраняет строго мусульманскую конфессиональную форму школы, но уже не арабский и персидский языки, а татарский, делается основным языком преподавания. Школа превращается в национальнотатарскую. Вводятся общеобразовательные светские предметы.

Гаспринский создает новый, более простой метод изучения грамоты. Выражение, «новый метод», усуль джадид, стало лозунгом целого поколения мусульманских деятелей России, а сами они получили кличку «джадиды» — новаторы.

В 1881 году Гаспринский опубликовывает свою культурнонациональную программу. Основными пунктами этой программы были: реформа и увеличение числа мусульманских школ; модернизация мусульманского быта; эмансипация женщины¹⁸. Затем Гаспринский создает теорию расового и культурного единства тюрков и кладет в основу практической работы принципы единства: единство языка, идеологии, действия.

В 1883 г. он начинает издавать первую татарскую газету в России «Тарджиман» («Переводчик»), которая в течение четверти столетия руководила мыслью и активностью мусульман России. В этой газете Гаспринский с невероятным упорством борется за улучшение образования мусульман России, за реформу быта, за приобщение татар к европейской культуре.

Особенный успех имела его пропаганда реформы школы, и к 1905 году в России было уже более 5.000 новометодных татарских школ. Для достижения языкового единства тюрков, и даже вообще всех мусульман России, Гаспринский предлагает ввести единый литературный язык и сам издает свой «Тарджиман» на этом языке. Литературный язык Гаспринского был почти неизмененным турецким (константинопольским) литературным языком той эпохи¹⁹. Крымским татарам, в течение веков связанным с турками, он был понятен. Доступен он был и азербайджанцам, язык которых близок к турецкому, но зато не только узбеки и казахи, но даже и волжские татары не искушенные в чтении «Тарджимана» и турецких книг, язык этот сразу не понимали и должны были ему учиться. Тем не менее пропаганда обще-тюркской солидарности среди татарской интеллигенции имела значительный успех и целый ряд татарских школ, особенно школ новометодных, ввели турецкий язык, как основной язык обучения. Таким образом создавалось парадоксальное явление: в татарских школах России

¹⁸ И. Б. Гаспринский: Русское мусульманство, Бахчисарай, 1891, стр. 46.

¹⁹ G. Burbiel: Die Sprache Ismail Bey Gaspyralys, Hamburg, 1950, ss. 91-92.

преподавался язык чужого, враждебного России государства, государственный же язык своей страны, русский, в этих школах в большинстве случаев вообще не изучали. Вряд ли подобное явление можно было встретить в других, даже более либеральных чем Россия странах. Значительная часть татарской либеральной интеллигенции также как и ряд татарских писателей, почти что в течение 30 лет, с конца прошлого столетия и по 20-е годы настоящего, тоже пользовались вместо народного татарского языка турецким.

Измаил бей Гаспринский стал духовным вождем либеральных татар России, среди которых, также как и среди азербайджанцев, его идеи обще-тюркской солидарности и единства пользовались громадным успехом. Среди казахов и киргизов эти идеи нашли значительно меньшее эхо. Казахская интеллигенция хотя и интересовалась обще-тюркскими судьбами, но твердо стояла на позиции казахского народного языка. Кроме того, казахи предпочитали знакомиться с европейской культурой или прямо, или через русских, а не через турецкие переводы и учебники. Среди же узбеков, язык которых еще дальше от турецкого, чем казахский, доводы Гаспринского пользовались еще меньшим успехом. Население Средней Азии конца XIX и начала XX века было всё еще чересчур консервативным, чтобы принять школьные методы и идеи джадидов. Число джадидов в Средней Азии вплоть до революции 1917 года было очень невелико.

Несмотря на неодинаковый прием идей Гаспринского со стороны разных тюркских народностей, он был в то время несомненно самым популярным человеком среди мусульман России. Его газета «Тарджиман», несмотря на свой небольшой тираж, не превосходивший долгие годы и пятисот экземпляров, была до революции 1905 года почти единственным и влиятельным органом среди русских тюрков.

Программа и деятельность Гаспринского, несмотря на его языковый и культурный максимализм, оставались весьма реальными. Он создавал базу для культурного развития, для национальной сплоченности тюрков России. Но он не звал ни к движению против русской культуры, ни старался ожесточить тюрков против России. Он понимал, что тюрки вошли в состав империи в порядке исторического процесса. Неоднократно он подчеркивал, что «мусульманин и русский могут вместе или рядом пахать, сеять, растить скот, промышлять и торговать». Он не боялся русского влияния при условии сохранения та-

тарского языка и развития татарской культуры. По его мнению «нравственное обрусение мусульман могло совершиться путем подъема их умственного уровня и знаний, а это может совершиться только путем признания за татарским языком прав гражданства в школе и в литературе». Гаспринский особенно уважал «мудрую и единственно-полезную политику Екатерины Великой, которая в десять лет более обрусила наш Восток чем все мелкие духовные и гражданские деятели за целое столетие». Он не ограничивался идеализацией прошлого, но верил что и в настоящем русские и тюрки могут сотрудничать. Конституция и реформы 1905 года его очень обнадежили и он считал, что «манифест и указы осветили жизнь новым блеском и дали ей новый ход»²⁰. В своей книге «Русско-восточное соглашение» Гаспринский даже проводил мысль, что только в союзе с Россией Персия и Турция смогут жить благополучно и мирно, и что обеспечение юга России «путем прочного соглашения с прилегающими мусульманскими царствами дало бы очень большую силу русским силам на западе и крайнем востоке».

6.

Своей пропагандой единения мусульман и тюрков России Измаил бей Гаспринский подготовил татар к политической деятельности. В 1905 году татары выступили застрельщиками политического объединения русских мусульман. В самой революции 1905 года татары не участвовали. Да и вообще осторожные и исподволь обдумывающие свои действия татары никогда не были склонны к открытой борьбе и насилию. За четыреста лет существования татарского меньшинства в русском государстве случаев открытого выступления татар было очень мало. Даже в восстаниях происшедших сейчас же после завоевания Казанского ханства, в Смутное время и во время Пугачевщины другие народности Поволжья были несравненно активнее чем татары. Зато татары — мастера тихой планомерной работы, собирания сил, расчетливого действия; недаром они были лучшими коммерсантами востока России.

Пользуясь Нижегородской выставкой, как нейтральным и безопасным местом, татары организовали 15-го августа 1905

²⁰ Гаспринский: Русское мусульманство, стр. 3-4, 32; его же: Русско-восточное соглашение, Бахчисарай, 1896, стр. 6; Тарджиман, 25 марта 1905.

года первый съезд мусульман России. Съезд происходил под видом прогулки по Волге, на увеселительном пароходе «Густав Струве». На съезд собрались, по преимуществу, крымские, литовские и волжско-уральские татары, азербайджанцы; остальные группы были представлены лишь случайными представителями. Съезд учредил Союз Мусульман России, «Иттифак», и рекомендовал русским мусульманам выступить единым фронтом в борьбе за свои права. Официально этот съезд, как и последующие, преследовал лишь культурно-правовые и религиозные интересы: целью его была объявлена координация культурной работы русских мусульман. На самом деле это был съезд тюрков России по преимуществу для организации их национально-политической работы. Нейтральное и приемлемое правительству слово «мусульмане» лишь прикрывало политически и национально более ясное, нелюбимое властями, слово «тюрки».

Второй съезд (13 января 1906 года, в Петербурге) и третий съезд (16 августа 1906 года в Нижнем Новгороде), еще более подчеркнули эту протюркскую тенденцию. На третьем съезде национальным языком русских мусульман был признан турецкий. Всем мусульманским школам России было рекомендовано им пользоваться. Этому совету последовали по преимуществу татарские и азербайджанские новометодные школы. Консерваторы татары и представители других тюркских групп в массе продолжали преподавать на раньше введенных в школах местных языках.

Организационные способности татар сказались в их деятельности во время думских выборов и в самой Государственной Думе. Все татарские районы Волги и Урала посылали в Думу мусульманских депутатов. Много мусульман депутатов было выбрано от населения Кавказа, Степного Края, Средней Азии. В Думе под председательством азербайджанского адвоката Али Мардан Бей Топчибашева организовалась мусульманская фракция, в которую входило около 35 человек. Эта фракция стояла в близкой связи с кадетами. В социальных и общеполитических вопросах мусульмане почти целиком приняли «кадетскую» программу. Особенно близки к кадетам были казахи, которых возглавляли Каратаев и Букейханов. Волжские татары тоже тесно сотрудничали с кадетами. Зато азербайджанцы и крымцы были против связи с кадетами представляли крайний национальный фланг фракции. В думские годы волжские татары выдвинули ряд способных лидеров.

Садри Максудов, Рашид Кази, Рашид Ибрагимов, Аяз Исхаки, Сеид Гирей Алкин, Юсуф Акчурин были талантливыми ораторами, публицистами и организаторами. Почти что все они стали эмигрантами и заняли резкую антирусскую позицию. Рашид Кази эмигрировал уже в 1893 году и в Египте и Турции писал против России. Позже он вернулся и стал одним из вождей Иттифака. Юсуф Акчура уехал заграницу в 1908 году и во время войны 1914-1918 годов возглавлял в Константинополе и Берлине антирусский «Комитет мусульман России». Аяз Исхаки, один из самых видных татарских писателей и публицистов уехал в Турцию после революции и здравствует там и теперь. Эта деятельность татарских лидеров ясно показывает, что несмотря на тактическую близость к кадетам, их общетюркские интересы и симпатии были сильнее.

Еще ближе к Константинополю стояли азербайджанцы. Территориальная и лингвистическая близость к туркам, общая ненависть к армянам, отталкивание от России сделали азербайджанских вождей ирредентистами. Еще до первой мировой войны многие из них довольно открыто стояли за соединение с Турцией. Видные азербайджанские деятели Гусейн Заде Али и Ахмед Агаев уже в 1900-х годах заняли видное положение в Турции и стали главными апостолами идеи политического единства всех тюрков.

Наличие способных, пламенных организаторов, ораторов и журналистов, обильные средства, развитие татарской прессы, рост национальной школы делали из татар большую силу. Они считали себя, как заявлял член Думы, уже упомянутый Садри Максудов, представителями «двадцати миллионов мусульман России» и были «готовы защищать всеми средствами предоставляемыми цивилизацией... свою общую религию, свое особое национальное лицо». Они умело вели пропаганду, знали как воодушевить своих последователей, упорно и настойчиво защищали старые и завоевывали новые позиции. Почти одновременный переход после 1905 года в мусульманство сорока девяти тысяч крещеных татар — обнадеживал татарских лидеров. Они расчитывали на переход в мусульманство и на татаризацию и других народностей востока империи. Они стремились привить свою школу и язык башкирам, казахам, узбекам и другим тюркам. Их газеты печатались и распространялись не только в Волжско-Уральском Крае, но и в Казахской Степи, в Сибири, в Ташкенте. От обороны татары переходили к наступлению и стремились руководить всеми народностями восточной России.

Русская общественность, занятая борьбой с правительством и внутренними спорами, мало интересовалась тюркской проблемой. Среди высшей администрации только несколько человек, в том числе П. А. Столыпин, внимательно следили за активностью татар. Меняя 3 июня 1907 года избирательный закон П. А. Столыпин резко сократил число мусульманских депутатов. В третьей Думе их было всего восемь, в четвертой — шесть. Закон не особенно логично под предлогом недостаточного культурного уровня лишал избирательных прав казахов и узбеков, и оставлял представительство от волжских татар, главных застрельщиков общемусульманского и общетюркского движения.

Активность татарской школы и татарских культурных учреждений привлекла, наконец, внимание и некоторых русских кругов Восточной России. В 1908 году епископ Андрей писал в докладной записке поданной правительству, что «завоевание татарами-магометанами Казанского и всего Приволжского края происходит на наших глазах тихо, мирно, постепенно, но твердо и неуклонно... Если продолжится татаризация инородцев, если киргизы, башкиры, нагайцы, вотяки усилят собой татарскую народность и сольются с ними, то в центре России создастся такой страшный враг для нее, который вместе с мятежным Кавказом может наделать русским много величайших бед в критические минуты русской народности»²¹.

П. А. Столыпин понимал, что политическими или административными мерами невозможно противостоять татарской экспансии, так как вопрос шел о столкновении двух культур. В своем письме обер-прокурору св. Синода Лукьянову он писал: «Столкновение с мусульманским миром знаменует не религиозную борьбу, а борьбу за государственную культуру. Этим объясняется тот успех, который получила за последнее

²¹ Красный Архив, 1929, т. 35, стр. 108. Интересно отметить, что Аяз Исхаки в «Идель Урал» (Париж 1933, стр. 22-23 и 46-47) тоже говорит об ассимиляторских способностях татар и о создании единой Волжско-Уральской Татарии, Идель Урал, которая должна охватить все районы России к востоку от линии Горький-Астрахань и на юг от линии Вятка-Пермь-Тюмень.

время панисламская пропаганда... При этом положении мусульманский вопрос не может не считаться грозным» 22 .

По инициативе Столыпина в 1910 году созывается «Особое совещание по выработке мер для противодействия татарскомусульманскому влиянию в Приволжском крае». Совещание также рассматривало этот вопрос, прежде всего как вопрос соревнования двух культур: православной русской и татарской мусульманской. Поэтому Совещание обратило особое внимание на идею Н. И. Ильминского о распространении русской культуры в «переводе» на местные языки. Оно советовало прежде всего увеличить число русских школ для нерусских народностей, с преподаванием на родном, для народностей, языке. Таким образом совещание надеялось создать школы, находящиеся под русским руководством, которые могли бы привлечь значительное количество учеников из нерусского населения. Кроме того, совещание рекомендовало ограничить компетенцию мусульманских школ преподаванием религии²³.

Ряд других совещаний был посвящен вопросу реформы народного образования на Кавказе, в Казахской степи, Средней Азии. Все эти совещания высказывались за введение правительственной или земской школы на туземном языке, в которой ученики нерусских народностей могли бы знакомиться с русской культурой и с русским языком. Если бы не начало войны 1914 года, можно предполагать, что школьное дело в восточных областях империи приняло бы более здоровые формы. Несмотря на сопротивление некоторых кругов администрации, которые боялись школы на языке нерусских народностей, правительство поняло, что только школа доступная населению могла обеспечить успех русской культуры в восточных частях империи.

Внутреннее успокоение России в 1910-1914 годах сказалось и на русско-татарских отношениях. За последнее десятилетие татары ближе пригляделись к русской культуре, русской школе и интеллигенции и стали лучше понимать их. Большой татарский поэт-националист А. Тукаев (1886-1912) нашел в своей поэзии место для теплых слов о русском народе, переводил русских поэтов. Число переводов с русского на татар-

²² Красный Архив, 1932, т. 53, стр. 102, письмо П. А. Столыпина от 9. XI. 1909.

²³ То же, 1929, т. 36, стр. 79-83.

ский росло. Ряд газет, в том числе и влиятельнейший «Вакт», начали всё настойчивее и настойчивее звать татар в русскую школу, отдавая ей преимущество перед татарской. Острая полемика почти исчезла со страниц газет, и даже главный орган пантюркистов в Константинополе «Тюрк-Юрду» нередко помещал переводы русской поэзии и прозы.

Война, начавшаяся в 1914 году, отодвинула на задний план вопросы культурного соперничества и школьных реформ. Несмотря на разногласия, все народы Российской империи одинаково честно воевали, защищая свою родину. Горцы Кавказа добровольно дали русской армии ряд отличных кавалерийских полков. То же сделали туркмены. Татары, так же как и русские, шли в армию по призыву. Азербайджанцы, несмотря на близость турецкой границы и культурные связи с Турцией, оставались спокойны и лойяльны. Правда, в Турции и Германии небольшая группа эмигрантов во главе с волжским татарином Юсуфом Акчура и азербайджанцем Ахмедом Агаевым выпускала воззвания, призывая тюрков России к выступлениям против правительства, но никто кроме разведок центральных держав ею не интересовался.

В 1916 году совершенно независимо от эмигрантов, и от внутрирусских тюркских политических группировок, в Казахской степи и в Средней Азии внезапно произошло большое восстание. Туземное мусульманское население Средней Азии еще со времен завоевания было освобождено от воинской повинности. Во время войны 1914-18 годов они тоже не были призваны в армию. Лишь в начале 1916 года, в виду недостатка рабочих рук, правительство решило призвать на рабочую службу, в тылу армии, 250 тысяч туземцев Средней Азии. Мобилизационный приказ, подписанный 25-го июня 1916 года императором Николаем II, вызвал самое решительное сопротивление местного населения. В земледельческих районах юга, заселенных узбеками и таджиками, волнения начались уже в начале июля, но хотя они распространились по всему югу, они почти нигде не перешли в вооруженное сопротивление властям. Наоборот, в Казахской Степи и Киргизии движение вылилось в открытое вооруженное восстание. Особенно опасный характер восстание приняло в Семиречьи. Здесь в районе крестьянской колонизации, киргизы были особенно раздражены конфискацией их кочевнических угодий для земледельцевколонистов. Более двух тысяч колонистов было убито. При подавлении восстания киргизы понесли большие потери и большое число их откочевало в Китай.

Восстание 1916 года, охватившее обширные районы Кавахстана, Киргизии и части Средней Азии, в значительной степени произошло в результате отсутствия понимания между русскими властями и мусульманским населением. Незнание русского языка массой туземцев, незнание туземных наречий русскими администраторами, взаимное непонимание психологии, отчужденность властей от местного населения явились причиной многих конфликтов, приведших в результате к трагедии. Мусульманское население не понимало намерений правительства, правительство не знало и не интересовалось настроениями туземцев. Без всякой пропаганды извне, без всякой политической программы, в результате нелепых распоряжений и еще более нелепых слухов, кочевники начали, не имея никакого плана, заранее обреченное на провал движение. А администрация не сумела и не смогла его предотвратить.

Этим трагическим движением, стоившим и русским, и местному населению тысячи и тысячи жертв, закончился императорский период отношений России с тюрками. Оно как бы было символом оторванности русских и тюрков, отсутствия общего языка, противоположности подхода к проблемам их совместной жизни. Несомненно, виной этому было недостаточное внимание, проявленное к тюркской проблеме, и властями, и русской общественностью. Власти мало что предприняли, чтобы приобщить тюрков к русской культуре, дать им знание русского языка. Русская общественность просто не думала о том, как найти подход к общим проблемам совместного существования двух национальностей, двух культур, которые жили в общем государственном организме уже несколько веков. Отдельные русские и отдельные тюрки России встречались друг с другом, но и те и другие почти ничего не сделали, чтобы их народы поняли друг друга.

7.

В 1917 году начался новый период в истории тюрков России. Февральская революция, казалось, открывала новые перспективы свободного развития. Тюркские вожди готовили планы культурного и национального строительства. В Москве 1-11 мая (стар. ст.) собрался Всероссийский мусульманский съезд. Этот съезд сразу показал наличие двух основных тенденций среди русских мусульман. Одна группа, состоявшая в основном из татар Поволжья и Урала, стояла за организацию центрального руководства жизнью русских мусульман. Другая,

представлявшая интересы Азербайджана, Средней Азии и Кавказа, настаивала на децентрализации и в конце-концов провела свои взгляды в окончательных решениях съезда.

Намерение татар сохранить за собой, путем централизации, руководство культурной жизнью мусульман России встретило еще больший отпор на втором мусульманском съезде, который собрался 21-го июня в Казани. Казахи, узбеки и кавказцы вообще почти не были представлены на съезде. А во время заседаний даже между татарами и башкирами вспыхнул острый конфликт. Не желая подчиняться опеке татар, башкиры унили со съезда. Споры велись главным образом вокруг вопроса о создании единой башкиро-татарской автономной единицы²⁴.

Казанским съездом фактически закончились попытки создания общетюркского или общемусульманского блока в России. Дальнейшая работа вождей тюркских народов бывшей Российской империи была направлена на организацию национальной жизни каждого народа в отдельности.

Захват власти большевиками усилил центробежные силы среди тюрков и других народов России. В результате распада старой власти и администрации началась анархия, которая особенно чувствовалась на окраинах. Попытки тюрков создать свою местную администрацию имели прежде всего целью преодолеть анархию и приостановить распространение коммунизма. Необходимо отметить, что в 1917 году, до большевистского переворота, ни одна из тюркских народностей России не высказалась за отделение от России. Даже наиболее протурецки настроенные азербайджанцы говорили только о культурной и территориальной автономии. Лишь после перехода власти в руки большевиков усилилось отталкивание от центра, обострилось движение в пользу автономии и самостоятельности.

В Крыму и Башкирии, в Казахстане и Коканде создались автономные правительства, в Азербайджане была даже провозглашена независимость. Однако, срок существования этих правительств не длился более, чем несколько месяцев. Только Азербайджан продержался дольше, до апреля 1920 года, благодаря прикрытию его от красных белыми армиями.

Настоящая борьба тюрков с советской властью началась лишь по захвате их территории красными. В некоторых местах

²⁴ А. Муртазин: Башкиры и башкирские войска в гражданскую войну, М. 1924, стр. 51-61.

вооруженное сопротивление тянулось до конца двадцатых годов, а отдельные вспышки происходили и позже. Это сопротивление обычно было тем сильнее, чем консервативнее было местное население. Борьба обычно велась не за самоопределение национальностей, а в защиту ислама, и повстанцы нередко наряду с коммунистами уничтожали и либералов-джадидов. Особенно упорно было сопротивление тех районов и групп населения, где сохранился родовой строй, племенная спайка, власть местных вождей, там, где корни социальной организации уходили еще в доисламский период. Горцы Горной Бухары и Кавказа, кочевники Ферганы и Туркмении особенно долго сопротивлялись всем попыткам изменения их быта и родового строя, искоренению их верований и привычек. Попытки Энвер Паши поднять в 1921-22 году общее мусульманское или пантюркское движение в Средней Азии не увенчались успехом. Басмачи дрались за свой кишлак, за защиту своих и соседских домов, за свое племя, но не воодушевлялись отвлеченными теориями и общими лозунгами. Поэтому даже во времена почти всеобщего восстания в Бухаре и Фергане красные оперировали сравнительно небольшими частями и били по очереди одного курбаши за другим. К 1925-26 году вооруженная борьба была закончена в большинстве районов.

Отношение власти к тюркам и мусульманам Советского Союза было двояко. С одной стороны она понимала, что мусульманское население востока России особенно консервативно и мало восприимчиво к идеологии коммунизма. С другой стороны, завоевание симпатий этих национальных групп было им особенно важно, как первый шаг к организации антиколониального движения в Азии. Средняя Азия, Кавказ и другие окраины России должны были стать показательной лабораторией, выставочным окном для Востока. Поэтому почти что сейчас же после захвата власти, 20-го ноября ст. с. 1917 года, Совнарком обращается с приветом, обещанием свобод и призывом к совместной борьбе против реакции «ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Позже советское правительство даже вступило в союз с пантюркистами, помогало Кемалю, пригласило в Россию Энвер Пашу. Несмотря на за-нятие тюркских территорий советскими войсками автономные Башкирская, Казахская и Туркестанская республики были сохранены. Даже «независимые» советские республики Востока: Азербайджан, Бухара и Хива существовали вплоть до 1924 года. Более того, советская власть сама организовала автономные республики и области — Якутию, Татарию, Хакассию,

Киргизию и др. Не дожидаясь окончания гражданской войны, она стала привлекать к работе местных левых националистов, делать им уступки, отдавать власть в руки джадидов и попутчиков из тюрков школы, руководство культурной жизнью, даже печать. Ведь главными врагами в эти годы были русские белые, «великорусский шовинизм», остатки и традиции старой русской государственности.

Конечно, и в это же время велась борьба с «национально-буржуазными» уклонами татар и азербайджанцев, узбеков и башкир, но «местный национализм» до 1930 года всё еще казался менее опасным, чем «великодержавный шовинизм» русских. Несмотря на все стеснения, казахи, киргизы, крымские татары и башкиры развивали свою национальную школу, национальную печать и литературу²⁵. Русский язык в этих национальных школах почти что не преподавался, зато часто культивировались местные национальные традиции.

Лишь в начале 1930-х годов начинается серьезная борьба с националистами-попутчиками, с уцелевшими еще к этому времени джадидами. Строго предписывается поощрять культуру «национальную по форме, марксистскую по содержанию». Особенно строго преследуются попытки создания языкового единства среди тюрков. Татарский, азербайджанский и башкирский языки торжествуют над турецким. Узбекский, туркменский и киргизский вытесняют средневековый чагатайский, бывший хотя и мало понятным, но общим литературным языком Средней Азии. Руссизмы сменяют арабизмы, иранизмы и туркизмы в тюркских словарях.

Баланс советской деятельности среди тюркских народов всё же довольно внушителен. Создана на народных языках литература и школа, созданы кадры национальной интеллигенции. В районах, где грамотность до революции не превышала 3-10 процентов, почти что все дети учатся в школе. Есть узбекские, азербайджанские и другие национальные университеты, ученые, студенты и исследователи. Цена этих достижений, конечно, немалая. До сих пор советские ученые ломают себе голову, каким образом объяснить что в результате оседания кочевников из четырех миллионов казахов осталось только

²⁵ См. напр. E. Kirimal: Der nationale Kampf der Krimtuerken, Emsdetten, 1952, ⊗. 289-290 и Т. Давлетчин: Культурная жизнь в Татарской АССР, Нью Иорк, 1953, стр. 21-23.

три. Крымских татар, карачаевцев и балкарцев уже нет в горах Крыма и Кавказа. Тюркские народы Советского Союза разделили с русским и другими народами издержки коммунистической революции.

Сергей Зеньковский

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

1.

Чрезвычайно редко, но всё же бывают дни, когда кажется, что заветные мечты начинают становиться реальностью. Таким днем для большинства русской интеллигенции и всех передовых кругов населения России было 27-ое апреля (10 мая) 1906 г., когда состоялось первое собрание Государственной Думы. Как бы ни расценивать ее работу, теперь — по прошествии пятидесяти лет — не подлежит сомнению, что день этот был началом новой эпохи истории России.

Тяжело было положение нового органа народного представительства, в собенности в первые годы. Инородным телом вошло оно в самодержавно-бюрократический строй, и на первых порах приходилось ему не столько законодательствовать, сколько бороться за самое свое существование. В своем обращении к правительству Дума первого состава наметила широкую программу реформ. В нее входило издание законов, обеспечивающих личную свободу граждан, свободу собраний, союзов и печати; установление равенства всех перед законом с устранением привилегий отдельных классов и национальностей; отмена исключительных законов, предоставлявших администрации широкую сферу усмотрения и произвола; принудительное отчуждение земли крупных землевладельцев за справедливое вознаграждение; и, наконец, создание ответственного перед палатами министерства. Слишком долго затянувшееся ожидание реформ и не остывшее еще после революции общественное возбуждение явно сказалось и на составе первой Думы и на радикальности ее программы. Она оказалась явно оппозиционной правительству. Основным ядром первой Думы была партия народной свободы с 178 депутатами. Следующей по численности являлась радикальная партия трудовиков, насчитывавшая 94 депутата. Далее налево шли 17 социал-демократов. Правее партии народной свободы были лишь умеренно-демократические партии «мирного обновления» (26 депутатов), демократических реформ (6 деп.)

и прогрессистов (12 депутатов). Помимо польского коло и других национальных групп было еще около сотни беспартийных, но правительству было положительно не на кого опереться. Не находя общего языка с Думой «народного гнева», правительство распустило ее менее, чем через два с половиной месяца после ее созыва — 7/20 июля 1906 г. Задуманные ею реформы не вышли из стадии комиссионной разработки. Главным предметом столкновения явился аграрный вопрос.

Новые выборы оказались также неблагоприятны для правительства. Во второй Думе действительно появилось 63 правых депутата, но вместе с тем крайне разрослось и левое крыло, на котором теперь были 97 трудовиков и 83 социалиста (соц.-демократов, соц.-революционеров и народных социалистов). Вместе с разросшимися крыльями ослабел центр. Здесь сидели вместо 178 только 123 члена партии народной свободы. Даже объединение крайних правых с 34 умеренно-правыми октябристами не могло дать правительству достаточной опоры. Партия народной свободы, в качестве самой многочисленной и к тому же центральной, сохраняла решающее значение при думских голосованиях. Приняв программу первой Думы, она могла вступать в коалицию лишь с группами левее ее. Лозунг ее был теперь — беречь Думу. В отличие от социалистических партий она не хотела расчитывать на внепарламентскую «поддержку» Думы народом и на вызов «активных выступлений» его. Она хотела быть партией чисто парламентарной, сосредоточиться на практическом законодательстве и избегать конфликтов с правительством. Началась работа думских комиссий по реформе судебных учреждений, местного самоуправления, а также по земельному вопросу на основании переработанного проекта аграрной реформы.

Между тем в процессе борьбы с революцией крен правительственного корабля всё больше склонялся направо. Вскоре же после начала работ второй Думы поползли слухи о роспуске ее. Не замедлил найтись и повод для этого. 1-го июня 1907 г. председатель Совета Министров сделал в Думе заявление о необходимости ареста всей думской фракции социалдемократов в 55 человек, как преступного сообщества, которое, согласно данным правительственного расследования подготовляло революционный переворот в стране. П. А. Столыпин требовал лишения соц.-демократов парламентской неприкосновенности. Сохраняя свое достоинство, Дума отказалась немедленно исполнить требование правительства и назначила особую комиссию, которая должна была разобраться в мате-

риалах расследования, чтобы, вместо суммарного обвинения всей фракции, решить вопрос об индивидуальной виновности каждого отдельного ее члена. Не дождавшись результатов работ думской комиссии, правительство ровно через день — 3-го (16) июня распустило Думу. Вторая Дума просуществовала дольше первой лишь на один месяц.

Заблаговременная подготовка роспуска сказалась уже в том, что того же 3-го июня 1907 г. был издан новый избирательный закон, который предоставил решающее значение в выборах землевладельцам и крупным промышленникам и наделил правительство правом вносить некоторые изменения в образование избирательных округов. Это был совершенно очевидный переворот сверху, так как по Основным Законам 1906 г. изменения в Положении о выборах могли быть сделаны только с согласия Думы. В результате правительство получило при последующих выборах такой состав партий, что оно могло расчитывать на дружную работу с ними. Однако эти расчеты осуществились лишь на сравнительно недолгий срок. Скоро начали появляться трещины во взаимоотношениях Думы и правительства, которым потом суждено было углубляться всё более и более. Всё же и третья Дума (с 1907 по 1912) и четвертая (с 1912 по 1917) просуществовали без преждевременного роспуска их царским правительством.

Наибольший контакт у правительства был с третьей Думой. На правом крыле ее были верные правительству правые (50), националисты (26) и умеренно правые (70), имевшие вместе 146 депутатов. Центр занимали теперь октябристы, выдвинутые новым избирательным законом на положение главной партии, — в количестве 154 депутатов. Партия народной свободы упала численно с 123 депутатов до 56 и была отодвинута вместе с прогрессистами (23), трудовиками (13), соц.-демократами (20) и национальными группами на левый фланг. Оппозиция насчитывала до 138 членов Думы. Достигнув доминирующего положения вследствие изменения избирательного закона, партия октябристов стремилась всемерно поддерживать правительство, произведшее переворот 3-го июня. Всё же и она оказалась не в состоянии неуклонно следовать за усилившимися реставрационными тенденциями правящих кругов. Весьма знаменательно, что уже в первой сессии Думы (1907-1908 г.) наметилось разногласие между октябристами и правительством из-за штатов Морского Генерального штаба и впоследствии из-за ассигнований на дредноуты. В борьбе с «безответственными» лицами, влиявшими на дела армии и флота, а равно с бесконтрольностью военного и морского ведомства, октябристы голосовали вместе с оппозицией. После того, как во второй сессии (1908-1909 г.) оппозиция подняла вопрос о «полном и непримиримом противоречии» между внутренней политикой, проводимой министерством внутренних дел, и основными началами «преобразованного» государственного строя, высказалась по этому вопросу и фракция октябристов. В заседании 22 февраля 1910 г. А. И. Гучков заявил, что «прискорбная необходимость» мер исключительного положения прошла, и что он и его друзья «не видят прежних препятствий, которые оправдали бы замедление в осуществлении гражданских свобод». «Мы ждем», закончил он свою речь, звучавшую как предупреждение правительству. В следующем году, 26 февраля 1911 г., другой видный член партии октябристов С. И. Шидловский уже прямо утверждал, что «успокоение» наступило, что правительство, разделавшись с «крамолой», само сеет новую «смуту», и что «администрация есть первый революционер».

Не менее решительны были выступления А. И. Гучкова против правительства в связи с обстоятельствами убийства П. А. Столыпина и с поведением иером. Илиодора, еп. Гермогена и Распутина. При обсуждении сметы Синода он указывал, что «церковь в опасности и в опасности государство», когда «загадочная трагикомическая фигура» (Распутина) захватывает такое влияние, пред которым должны склоняться высшие носители государственной и церковной власти. На этот раз дошло до столкновения со Двором. После этого выступления Гучкова Государь не пожелал принять председателя Думы Родзянко для обычного устного доклада и на представленном ему письменном докладе положил резолюцию: «Поведение Думы глубоко возмутительно, особенно отвратительна речь Гучкова по смете Св. Синода. Я буду очень рад, если мое неудовольствие дойдет до этих господ, не всё же с ними раскланиваться и только улыбаться».

В стране снова начинало наростать недовольство. Оппозиционные партии в своих выступлениях в Думе отражали это настроение. Октябристы видели себя вынужденными также равняться на настроение страны, хотя временами проявляли и резкое враждебное отношение к оппозиции. Недовольное октябристами правительство начало тактику разъединения их. Оно хотело добиться выделения более послушных элементов и образования более правого большинства в виде «русской национальной фракции». Октябристам приходилось вести двойственную политику, голосовать то с оппозицией, то с правыми, поддерживая мероприятия воинствующего национализма. Преобладало всё же равнение на правительство. Эти колебания привели к отколам направо и налево. К концу существования третьей Думы из 154 членов партии октябристов осталось только 122.

При выборах в четвертую Думу правительство расчитывало получить правое большинство без октябристов. Несмотря на нажим при выборах и на политическое использование духовенства (в качестве мелких землевладельцев), попытка эта провалилась. Октябристы оказались, действительно, ослабленными. Вместо 156 их было теперь всего 19. Они сохранили, однако, положение центральной партии, без которой невозможно было образование какого бы то ни было большинства. При ослабленном центре в 130 человек (октябристы плюс 32 члена партии центра) оба крыла оказались почти равномерно увеличившимися. Правое крыло имело 156 депутатов вместо 146, а левое 154 депутата — вместо 138. В общем же, вопреки предположениям правительства, в Думе, как и в стране, почувствовался сдвиг влево.

Четвертая Дума начала свою деятельность оппозиционно. По обсуждении декларации правительства Дума приняла резолюцию, предложенную партией прогрессистов. Правительство призывалось «твердо и открыто встать на путь осуществления начал манифеста 17 октября 1906 г. и водворения строгой законности». Голос оппозиционных партий зазвучал внушительнее. Партийная конференция октябристов в Петербурге тоже провозгласила перемену курса. «Октябризм был, по словам А. И. Гучкова, молчаливым и торжественным договором между исторической властью и русским обществом». «Договор этот, продолжал он, нарушен и разорван правительством... Мы вынуждены отстаивать монархию против тех, кто являются естественными защитниками монархического начала, церковь — против церковной иерархии, армию — против ее вождей, авторитет правительственной власти — против носителей этой власти». Речь эта явно свидетельствовала о том, как с болью в сердце переходили в оппозицию царскому правительству те, кто хотели быть его горячими сторонниками. Впрочем, в думской фракции октябристов не было полного единодушия. Поползли слухи о партийных «новообразованиях» и «почкованиях» вместе со слухами о роспуске Думы.

Начавшаяся в 1914 г. война с Германией и Австрией объединила почти все партии в деле защиты родины. Могло

казаться, что создался своего рода «священный союз» правительства и думских партий. Но военные неудачи, вскрывшие недостаточность снабжения армии, наплыв разоренных беженцев, хозяйственная дезорганизация вместе со стремлением правительства законодательствовать без Думы в порядке чрезвычайных указов, по ст. 87 Основных Законов, скоро поколебали это единение. На заседании 19 июля (1 авг.) 1915 г. голосами оппозиции, октябристов и даже части умеренных правых была принята резолюция, требовавшая изменения внутренней политики и образования министерства, пользующегося общественным доверием. Этим было положено начало образованию прочного парламентского большинства в виде «прогрессивного блока». Только крайние правые и некоторые националисты — справа, а также социал-демократы и трудовики слева — оставались вне блока.

Программа прогрессивного блока исходила из мысли, что война должна быть доведена до победного конца, а для этого необходимо единение власти и народа. Прогрессивный блок требовал образования правительства, облеченного доверием страны и действующего в единении с Думой, введения существенных персональных перемен в местной администрации, установления строгой законности управления, объявления широкой политической амнистии, прекращения религиозных стеснений, устранения национальных ограничений, в частности — для евреев и украинцев, примирения с Финляндией, автономии Польши, полного уравнения крестьянства в правах с другими сословиями, реформы земского и городского самоуправления, введения волостного земства и пр.

Так четвертая Дума кончила в сущности тем, с чего начала первая. Ей же суждено было стать свидетельницей того, как неудержимый реакционный уклон привел к крушению того самого правительства, которое вело борьбу против Государственной Думы, как органа народного представительства.

2.

Только третья, а вслед за ней и четвертая Дума имели возможность использовать свои законодательные полномочия. Но и по отношению к ним правительство стремилось отвлечь внимание народных представителей от основных вопросов путем внесения множества мелких законопроектов, так наз. законодательной «вермишели». На пути осуществления начинаний Думы стоял также Гос. Совет, оказавшийся могилой

ряда наиболее важных законопроектов Думы. И всё же думским законодательством было внесено немало изменений в самых разных областях: в крестьянском землевладении, местном самоуправлении, народном просвещении, в устройстве судебных учреждений, в делах военных и церковных, а равно и в области гражданского права и охраны труда. Пусть реформы эти не удовлетворяли полностью давно назревших потребностей страны. Пусть принятые Думой законы не во всех сферах были одинаково значительны. Взятые в целом, они сыграли существенную роль в устроении народной жизни. При беглом обзоре можно коснуться, конечно, только некоторых наиболее важных законодательных актов.

Прежде всего должна быть отмечена аграрная реформа. В общих чертах она была намечена чрезвычайным указом правительства 9 ноября 1906 г., изданным после роспуска первой Думы по 87 ст. Осн. Законов. Чтобы получить силу постоянного закона такие указы должны были получить последующее утверждение Думы. Указ 9 ноября 1906 г. был принят с дополнениями и улучшениями третьей Думой (законами 10 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г.). Новыми законами последовательно проводилась ликвидация крестьянской земельной общины. Отдельным крестьянам разрешался выход из нее на отруба с переходом в их личную собственность прежних участков земли, которыми они владели по «мирскому» разделу. Те же общины, в которых не было переделов со времени наделения их землей, прямо были признаны перешедшими к подворному владению. К этому присоединялась возможность покупки земли крестьянами через Крестьянский Банк, в руках которого скопилось немало частновладельческих земель. Дело сводилось не к количественному только увеличению крестьянского землевладения, но и к проведению мероприятий агрономического и обще-экономического характера для устранения недостатков крестьянского землеустройства. В частности — имелось в виду устранение черезполосицы и объединение отдельных крестьянских владений в одном месте. С политической точки зрения основной задачей было насадить в деревне частную собственность в противовес социалистическим стремлениям среди крестьянства.

Новый земельный строй стал быстро распространяться. Между 1907 и 1915 г. около $2\frac{1}{2}$ миллионов крестьян-домохозяев Европейской России выйдя из общины перешли на положение частных собственников. Это составляет около 24% общего числа дворов по 40 губерниям Европейской России. Если

прибавить к ним 2 миллиона домохозяев, которым еще предстояло получить удостоверительные акты на собственность в общинах где не было переделов, то община за этот срок может считаться ликвидированной на 40%. Крестьянский Банк успел продать с 1906 по 1915 г. 3.257 имений с общим размером в 4.326 десятин*. Для борьбы с малоземельем Дума постоянно увеличивала ассигнования на переселение в Азиатскую Россию. Бюджет Переселенческого Управления с одного миллиона рублей в 1894 г. возрос в 1914 г. до 30 миллионов. К этому нужно прибавить включение в смету крупных сумм на улучшение сельского хозяйства, в том числе на сельско-хозяйственные станции, на оросительные работы и пр. По своему значению в экономической жизни России все эти мероприятия в совокупности могут быть сопоставлены лишь с освобождением крестьянства от крепостной зависимости в 60-ых годах прошлого столетия.

В области местного управления Дума содействовала подъему деятельности органов земского и городского самоуправления. Положение о земстве было распространено в 1911 г. с 34 губерний Европейской России на 6 западных губерний (Киевскую, Подольскую, Волынскую, Витебскую, Могилевскую и Минскую), с образованием при выборах особых национальных курий. Законом 9 июня 1912 г. введены были земские учреждения в губерниях Астраханской, Оренбургской и Ставропольской. Законопроекты о земстве в других местах, напр., в Донской Области, а равно положение о волостном земстве — не были пропущены Государственным Советом. Для того, чтобы облегчить земствам и городам получение средств на местное благоустройство, 26 июня 1912 г. был издан особый закон об устройстве кредита для городов и земств. Отпуск государственных средств на работу органов местного самоуправления и установление контакта их деятельности с общегосударственными учреждениями было одним из приемов для большего оживления земской и городской работы. В особенности это сказалось в области народного просвещения.

Основной задачей Думы было введение всеобщего обучения. Ею был принят даже соответствующий законопроект, но и он погиб в Гос. Совете. Это нисколько не умаляет важности работы, проделанной Думой для создания тех условий, при которых делалось возможным введение всеобщего обуче-

^{*} П. И. Лященко История русского народного хозяйства, стр. 493.

ния. Для этого прежде всего нужно было построить достаточное количество школ и подготовить надлежащий кадр учителей. С 1908 г. Дума начала отпускать земствам и городам безвозвратные пособия и возвратные ссуды (на срок до 40 лет) на школьное строительство и на содержание учительского персонала. В 1909 г. был создан Школьно-строительный Фонд имени Петра Великого. Временные ассигнования школьное дело стали постоянными, и Дума перешла к созданию правильной школьной сети. Земские и городские самоуправления могли заключать договор с Министерством Народного Просвещения и получать из Фонда Петра Великого средства при соблюдении следующих условий: школьный радиус должен не превышать 4 верст; курс обучения должен быть четырехгодичным; обучение должно быть бесплатным, отпуск местных среств на школы не должен уменьшаться. Каковы были результаты этих мероприятий, об этом можно судить по положению к началу первой мировой войны. В 1914 г. 3% общего числа земств уже осуществили школьную сеть полностью; 62% земств оставалось меньше 5 лет для полного проведения сети, 30% — оставалось от 5 до 10 лет, остальным — свыше 10 лет. Без шумного декретированья, школьная сеть, при мирном течении государственной жизни, была бы осуществлена в земской России на 65% в 1920 г. и на 95% в 1925 г.* При увеличении отпуска средств на народное образование поднималось число вновь открытых учительских семинарий и учительских институтов. Законом 7 июня 1913 г. были установлены пятилетние прибавки к жалованью учителей.

Стройная структура судебных учреждений 1864 г. была испорчена в 1889 г. отменой «мировых судей», избираемых земскими и городскими учреждениями, и заменой их земскими начальниками, которые стали назначаться министром внутренних дел по представлению губернатора и соединяли в своих руках вместе с судебными функциями также административные — по делам крестьянского управления. Закон 15 июня 1912 г. исправил дефекты низшей судебной инстанции. Им были восстановлены мировые судьи, избираемые — как и раньше — органами самоуправления, с предоставлением им независимости и со включением их в общую систему судебных учреждений. Вслед за реформой низшей инстанции была произведена реформа и высшей инстанции. Законом 26 дек. 1916 г.

^{*}А. Боголепов, Деятельность земства. «Крестьянская Россия», т. 8-9, стр. 107 и сл.

была совершена коренная ломка прежнего производства дел в четырех департаментах Сената, ведавших главным образом административными делами и оставшихся незатронутыми судебной реформой 1864 г. Можно сказать, что рядом с высшими кассационными судами по гражданским и уголовным делам в России был создан законом 1916 г. и высший суд по административным делам. Закон этот вошел в действие уже при Временном Правительстве, с незначительными изменениями сообразно новым условиям.

Вопросы военного и церковного управления были отнесены Основными Законами 1906 г. к сфере «верховного управления». Государь мог выносить по ним решения без участия законодательных палат, действуя через Военный и Адмиралтейский Советы или через Св. Синод. Дума могла оказывать свое влияние только в тех случаях, когда постановления касались предметов общих законов или вызывали новые расходы из казны. Обсуждение бюджета являлось обычно поводом к критике военного ведомства и Св. Синода. В борьбе с бесконтрольностью морского министерства Г. Дума отказала в кредитах на постройку дредноутов. В общем Дума проявляла крайнюю внимательность к нуждам военного ведомства и не скупилась в ассигнованиях, но в то же время она вынуждена была бороться против постоянных попыток расширить сферу верховного управления в военных и церковных делах в ущерб и без того урезанным полномочиям народного представительства. На этой почве не раз возникали конфликты, напр.. относительно штатов Морского Ген. Штаба. В целях улучшения положения военнослужащих Дума приняла в 1912 г. новый устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их семействам, значительно улучшивший прежние постановления о пенсиях и повысивший пенсионные ставки. В том же году был издан новый закон о воинской повинности, внесший изменения в правила о льготах по призыву на военную службу, в отбывание службы вольноопределяющимися и в порядок разверстки ежегодного призывного контингента.

Точно так же главным образом при обсуждении бюджета духовного ведомства, Дума настаивала на реформе консисторий и прихода, на необходимости созыва всё дальше и дальше откладывавшегося церковного собора, а равно указывала на опасность попустительства таким сомнительным деятелям, как например, иеромонах Илиодор. В 1913 г. Дума утвердила новые штаты для духовно-учебных заведений, но ввела при этом

в закон ряд оговорок, которые не допускали одновременное введение нового устава духовных семинарий и училищ помимо законодательных учреждений. Обеими законодательными палатами был принят законопроект об отмене правоограничений духовных лиц, лишенных сана или добровольно сложивших его. Но Государю, согласно официальному языку того времени, «было благоугодно» на нем «собственноручно начертать: «Не утверждаю». (26 мая 1911 г.)

Коренное изменение в систему обложения было внесено законом о подоходном налоге. Он вошел в силу в самом конце деятельности четвертой Думы, в январе 1917 г. Если Англия и Германия ввели у себя подоходный налог еще в 19 веке, то от Франции Россия отстала в этом отношении лишь на 3 года! Закон о подоходном налоге был принят во Франции в 1914 году.

В социальное законодательство были внесены новые начала законом 23 июня 1912 г. о страховании от болезней и от несчастных случаев. Страхование от болезней было построено по системе, принятой в Германии, этой «колыбели» социального страхования. Оно распространялось на все предприятия фабрично-заводские, горные, железнодорожные, судоходные и трамвайные, которые имели не менее 20 рабочих и пользовались механическим двигателем. За бортом страхования оставались еще мелкие предприятия, а также обычные сельскохозяйственные и строительные, но основная масса промышленных рабочих, несомненно, охватывалась новым законом. Застрахованные получали бесплатную врачебную помощь и денежное пособие на случай болезни от 1/4 до 2/3 заработка в зависимости от семейного положения. Страховые средства слагались на 3/5 из взносов рабочих (не больше 3% отчисления от заработка) и на 2/5 из взносов работодателей. Заведывание делом было передано особым «страховым кассам», в которых большинство принадлежало рабочим. Представители предпринимателей могли составлять в них не свыше 2/3 общего числа уполномоченных от рабочих.

Страхование от несчастных случаев не было новостью в России. Оно было введено еще 2 июня 1903 г. и производилось исключительно на средства предпринимателей. Вознаграждение за утраченную трудоспособность выдавалось независимо от того, произошло ли несчастие по вине предпринимателя, по независящим от него обстоятельствам или по неосторожности рабочего. Только злой умысел потерпевшего или его грубая неосторожность, не оправдываемая условиями

производства работ, освобождала предпринимателя от ответственности. Принятый Думою закон 23 июня 1912 г. заменил индивидуальную ответственность отдельных предпринимателей коллективной, объединив их в особые «страховые товарищества». В случае несостоятельности кого-либо из предпринимателей рабочие, при действии закона 1903 г., практически утрачивали возможность получить причитающееся им возмещение. Теперь оно обеспечивалось им полностью наличием страхового товарищества предпринимателей.

Для надзора за проведением страхования и рассмотрения жалоб были учреждены губернские присутствия на местах и Совет по делам страхования рабочих — в центре при Министерстве Торговли и Промышленности. В них входили вместе с представителями ведомств также представители предпринимателей и рабочих.

При всех своих недостатках закон 23 июня 1912 г. всё же свидетельствовал, что охрана труда в России стояла для того времени на значительной высоте. Не имевшееся тогда в России государственное страхование от безработицы было впервые введено лишь в 1911 г. в Англии. Во Франции же действовал в ту пору лишь закон 1905 г. об обязательном призрении престарелых, немощных и неизлечимо больных, распространенный законом 1910 г. на лиц, достигших шестидесятилетнего возраста. Кроме этого страхования на случай старости не имелось государственного страхования ни от болезней, ни от несчастных случаев. Все эти виды страхования начали развиваться во Франции лишь после первой мировой войны, с 1924 г.. В России в думскую эпоху, законодательство об обеспечении трудящихся было поставлено во всяком случае на большую высоту чем в республиканской Франции.

3.

Помимо законодательства Дума осуществляла также функции контроля по отношения к правительству.

Как бы ни были ограничены ее бюджетные полномочия, они давали ей возможность не только критиковать, но и ставить условия при назначении ассигнований (как это было при утверждении штатов духовно-учебных заведений), а равно отказывать в них (как в деле с дредноутами). «Конституционный рубль», на который Дума в заседании 2 апр. 1908 г. сократила смету министерства путей сообщения, вошел в историю третьей Думы. Сделано это было как протест против того,

что действие временных штатов этого министерства было продлено не в законодательном порядке, через Г. Думу и Г. Совет, а в порядке верховного управления. Равным образом при обсуждении сметы военно-учебных заведений Думою было принято особое постановление, которое гласило, что проведение реформы Военно-Медицинской Академии помимо законодательных палат было незакономерно и нарушало порядок, установленный Основными Законами.

Столь мощное средство контроля как право запросов было поставлено в крайне узкие рамки. Дума могла делать запросы только относительно незакономерных актов правительства, вопросов целесообразности она совершенно не могла касаться. Министр мог даже отказать в представлении надлежащих разъяснений. Принятые Думою запросы не имели никаких непосредственных последствий для правительства. Если Дума не удовлетворялась разъяснением министра, то дело представлялось лишь на «высочайшее благоусмотрение», — и только. Всё ставилось в зависимость от воли Государя, которому были прямо подчинены министры. И всё же думские запросы были чрезвычайной неприятностью для правительства.

Запросами Дума защищала и свои права как представительницы народа и соблюдение гражданских свобод, поскольку они не попадали в широко раздвинутую сеть административного усмотрения.

Думою были приняты напр. запросы о неправильностях при думских выборах (3 дек. 1912 г.) и о недопустимом пользовании ст. 87-ой Осн. Законов при проведении положения о земстве в 6 западных губерниях. Дело в том, что принятый Думою законопроект о введении земства в этих губерниях был отклонен Гос. Советом. Правительство Столыпина, стоявшее за проведение этого закона, добилось искусственного роспуска Гос. Совета и Думы на три дня и в это краткое междудумье провело по 87-ой статье закон о земстве в западных губерниях. Такого «нажима на закон», хотя бы и в пользу принятого ею постановления, Дума не могла допустить и, выслушав объяснения П. А. Столыпина, в заседании 15 марта 1911 г. приняла резолюцию, гласившую: «акт — незакономерен, объяснение — неудовлетворительно».

Вопросы гражданской свободы поднимались часто также при обсуждении сметы министерства внутренних дел, причем выражалось пожелание о снятии мер усиленной и чрезвычай-

ной охраны. Запросы о незаконности продления действия положения об усиленной охране вносились и в третьей и в четвертой Думе. Но эти попытки не достигли своей цели. Дума охотнее принимала запросы по поводу отдельных конкретных случаев: об аресте учащихся средних учебных заведений Петербурга, о запрещении Главным Тюремным управлением защитникам свиданий наедине с их подзащитными, о попустительстве администрации незаконным действиям Союза Русского Народа, о преследовании профессиональных союзов, о ленских событиях (13. 11. 1913) и др. Запрос о расстрелах при волнениях на ленских приисках привел к назначению следственной комиссии и к некоторым переменам в организации управления приисками.

Дума не могла похвалиться особым вниманием правительства к пожеланиям, высказываемым ее членами при обсуждении бюджета. Интересно, что незакономерность издания нового положения о Военно-Медицинской Академии была признана также Правит. Сенатом, который отказал в его опубликовании. Но военное ведомство продолжало настаивать на правильности своей точки зрения утверждая, что эта реформа входит в сферу верховного управления военными делами. Не всегда и Дума решалась делать надлежащие выводы из обстоятельств, выяснявшихся при запросе. Несмотря на то, что обыск у соцем. депутата Петровского был явным нарушением неприкосновенности личности и жилища депутата, Дума голосами правых и октябристов приняла 3 мая 1913 г. простой переход к очередным делам, не признав действия полиции незакономерными.

Немало запросов оппозиции Думой было отвергнуто или объяснения правительства были признаны удовлетворительными. Таковы напр. запросы о провокационной деятельности агентов Виленского Охранного отделения, о провокационной деятельности Азефа, или запрос об обстоятельствах осуждения соц.-демократической фракции второй Думы, бывшего результатом провокации, об аресте рабочих делегатов на съезде фабричных врачей в Москве и пр.

Ответ на запросы был тягостной обязанностью для министров. Неудивительно, что он иногда затягивался. По поводу проволочки с запросом о выборах в четвертую Думу Ф. И. Родичев заметил, что, если запросы будут и впредь рассматриваться таким темпом, то объяснения правительства будут прочтены потомками в «Русском Архиве» или в «Русской Ста-

рине». Однако, независимо от того, как скоро правительство представляло объяснения, удовлетворялась или не удовлетворялась ими Дума, и даже вообще принимала или отвергала она запрос, — депутаты, вносившие его, имели возможность подвергнуть деятельность правительства жестокой критике. На следующий день эта критика становилась известной всей России из газетных отчетов о думском заседании. Не ответственное пред Думой правительство подвергалось публичному обвинению пред всей страной. Как бы ни было неблагоприятно голосование Думы по поводу объяснений правительства, это не влекло за собой его парламентарной ответственности. Но запросы неизменно отягчали ответственность правительства перед общественным мнением.

4.

Каково было влияние Думы на народную жизнь?

Нужно признать, что одно существование ее приводило уже к изменению атмосферы общественной жизни и к укреплению тех «свобод», которые были признаны в новом конституционном строе.

С 1906 г. для выпуска произведений печати, а равно для устройства союзов и собраний не требовалось больше разрешения, и признавалась достаточной одна заявка в установленный срок. В отношении произведений печати сохранялось однако право конфискации изданий в случае нарушения уголовных законов, с одновременным направлением дела в суд. При поступлении заявки относительно собраний и союзов полиция могла отказать в допущении устройства собрания и в регистрации союза по разного рода мотивам охраны общественного порядка. По этим же основаниям она могла и закрывать собрания и союзы. В очень скромных границах, но известная свобода деятельности законом всё же предоставлялась. Но над ней тяготели широкие полномочия органов управления в порядке усиленной и чрезвычайной охраны, с правом налагать высокие денежные штрафы и подвергать аресту в административном порядке.

Особенно тяжело отражалось это на повременной печати. Здесь чисто административный порядок воздействия на редакторов и издателей заменял установленное временными правилами 1906 г. судебное преследование. К тому же власть на местах не всегда действовала одинаково. Иногда то, что терпелось в одной губернии, запрещалось в другой. В Одессе,

напр., градоначальник оштрафовал в 1911 г. «Утро Одессы» за перепечатку таких сообщений из московскиих газет «Русские Ведомости» и «Утро России», за которые последние не подверглись никаким карам.

Функционирование Думы значительно облегчало работу прессы. Огромное значение имело свободное опубликование отчетов думских заседаний. Все вопросы, обсуждавшиеся в Думе, становились благодаря этому предметом общественного обсуждения в прессе. Если администрация пыталась тем или другим способом изъять какой-либо вопрос из обсуждения в печати, Дума сама поднимала этот вопрос, и он из протоколов думских заседаний переходил в газеты. Московский градоначальник конфисковал номер «Голоса Москвы» за помещение в нем открытого письма Новоселова к Петербургскому Митрополиту Антонию и Обер-Прокурору В. К. Саблеру с обвинением церковных властей в попустительстве Распутину. Вскоре же после этого А. И. Гучков, близко стоявший к газете «Голос Москвы», внес запрос в Думе по тому же вопросу, причем в тексте запроса была почти полностью повторена статья, вызвавшая конфискацию. Запрос был сразу же принят Думой (26 янв. 1912 г.), и об нем могли сообщить все газеты. Подобная же история разыгралась, когда петербургский градоначальник письмом в редакции местных повременных изданий предупреждал не помещать сведений о происходивших в конце 1910 г. волнениях в Петербургском Университете и на Высших Женских Курсах. Тотчас же в Думу был внесен запрос по поводу этого распоряжения, из которого стало явным и секретное распоряжение градоначальника и факт студенческих волнений. Представитель Главного Управления по делам печати уклончиво указывал в Думе, что обращение администрации к редакциям имело характер «просьбы» и не было обязательным предписанием. Но Дума нашла требование градоначальника, хотя и облеченное в форму просьбы, явно противозаконным давлением на прессу, и объяснения правительства были признаны неудовлетворительными.

Всевозможные стеснения не могли однако сдержать начавшегося после октября 1905 г. быстрого роста печати. Количество периодических и непериодических изданий чрезвычайно поднялось в 1906 и 1907 г. и продолжало расти и дальше. Особенно расширилась провинциальная пресса. Вместе с прежними, вновь появившиеся газеты и журналы давали всю гамму политических настроений справа налево. Для этого

достаточно упомянуть хотя бы некоторые из них: Русское Знамя, Новое время, Россия, октябристской Голос Москвы, либеральные и кадетские органы как Русское Слово, Русские Ведомости, Киевская Мысль, Сибирская Жизнь, Речь и Современное Слово, левые и социалистические газеты: Наша Жизнь, Товарищ, День. Толстые журналы: Русское Богатство, Современный Мир, Образование и еженедельник Звезда представляли разные оттенки социалистической мысли. С 1912 г. начала выходить и большевистская Правда. Росту периодических изданий, впрочем, соответствовал и рост штрафов в административном порядке. По неполным подсчетам число штрафов, наложеных на газеты и журналы, поднялось со 150 в 1907 г. до 340 — в 1913 г. Сумма штрафов возросла за это же время с 65 тыс. руб. круглым счетом до 130 тыс. руб. Редакторам приходилось считаться и с возможностью ареста. Но пробудившаяся и почувствовавшая свою силу общественная мысль помогала преодолевать трудности издательства. С подъемом хозяйственной жизни находились и средства для покрытия тяжелых штрафов. При тогдашнем общественном настроении штрафы делали даже некоторую рекламу газете. Если власть закрывала газету, то вместо нее согласно явочному порядку, большею частью начинала издаваться другая тождественного направления, но под другим заголовком, более или менее близким к прежнему, и печатавшимся тем же самым шрифтом, что и прежний. Читатели закрытой газеты легко могли понять, что под иным названием продолжает выходить прежняя газета. Кары сыпались на газеты всех направлений, начиная с октябристских. Труднее всего приходилось социалистической, в особенности большевистской прессе. Отдельные издания не выдерживали и совершенно прекращались. Большинство же газет пережило все трудности. В России образовалась после 1906 г. широко развитая и влиятельная общественно-политическая пресса.

При регистрации союзов администрация давала предпочтение объединениям чисто научным, литературным или хозяйственным и неизменно отказывала в регистрации, если подозревала, что объединение может принять неугодный правительству политический характер. Это сказалось между прочим в том, что было отказано в регистрации конституционно-демократической партии (Народной Свободы) и стоящим левее ее социалистическим партиям. Конечно это никоим образом не могло остановить их функционирование. Партии выступали

в процессе выборов и официально выставляли своих кандидатов. В самой Думе были фракции всех партий, как зарегистрированных, так и незарегистрированных. Они были тем ядром, около которого слагались родственные им группировки по всей стране. Они имели постоянную связь с этими местными объединениями и близкими им по духу культурными и профессиональными союзами. Партии имели свои партийные органы печати. Если партия не была зарегистрирована, то ее газеты и журналы выходили формально как частные издания, хотя иногда имели явно партийный заголовок. Так издавался, например, в Петербурге «Вестник Партии Народной Свободы». Обе фракции социал-демократической партии имели свои особые органы. Кроме большевистской «Правды» выходила одно время и меньшевистская «Рабочая Газета». После введения закона о социальном страховании 1912 г. сначала появился журнал меньшевистской фракции «Страхование Рабочих», а затем стали издаваться под руководством большевиков «Вопросы Страхования». Деятельность политических партий и их борьба друг с другом, а равно и их внутрипартийная борьба стали неотъемлемой частью общественной жизни России того времени.

Образование профессиональных союзов по временным правилам 4 марта 1906 заставило администрацию насторожиться с самого же начала. Находя, что профессиональные союзы служат главным образом партийно-политическим, революционным целям, а не защите экономических интересов рабочих, правительство отказывало им в регистрации и закрывало их. Так же, как в вопросах печати, был разнобой в деятельности местных властей и по отношению к профессиональным союзам. Отдельные ретивые администраторы заходили слишком далеко в использовании своих широких полномочий. По запросу соц.демократической фракции о преследовании профессиональных союзов Дума, в заседании 4 ноября 1910 г., приглашала правительство принять меры для единообразного исполнения администрацией правил 4-го марта 1906 г. Несмотря на закрытие профессиональных союзов администрацией и на аресты членов его, союзы эти продолжали врастать в рабочее движение и постепенно укрепляться в нем. Центром профессионального движения был Петербург, где в 1912 г. существовало около 15 союзов: общества рабочих печатного производства, по обработке дерева, булочно-кондитерского производства, портняжного дела, конторского труда и пр. Были профессиональные объединения и в Москве и также в большинстве промышленных городов. Профессиональные общества по закону не имели права издавать свои периодические органы. Но в качестве частных изданий выходили в 1912 г. журналы: «Металлист», «Печатное Дело», «Голос Булочника и Кондитера», «Вестник Портных», «Вестник Приказчика», «Одесский Печатник» и другие издания, фактически тесно связанные с соответствующими профессиональными союзами. В своей тактике русские профессиональные союзы начинали перенимать методы европейских рабочих организаций. Действительная сила молодых организаций и их влияние на рабочие массы проявилось в особенности в той волне экономических и политических забастовок, которая прокатилась по России, начиная с 1911 г. и увлекла десятки и сотни тысяч рабочих.

Несколько более благосклонным отношением правительства пользовались кооперативные объединения, хотя и они на своем пути встрачали немало препятствий и нередко закрывались. В круглых цифрах общее число кооперативных товариществ возросло с 41/2 тысяч в 1905 г. до 251/2 тыс. в 1912 г. Их прирост в 1913 г. равнялся 5000 организаций. По данным, опубликованным Управлением Мелкого Кредита, одних кредитных и ссудо-сберегательных товариществ было к концу 1913 г. свыше 121/2 тысяч. Помимо кредитных товариществ, и часто при их содействии, образовывались сельско-хозяйственные общества; маслодельные, молочные и закупочные, а также потребительские общества. Московский Союз Потребительских Обществ и Союз Сибирских Маслодельных Артелей могут быть указаны как наиболее известные примеры объединения отдельных кооперативов в большие союзы. В 1913 г. состоялись разрешенные правительством кооперативные съезды в ряде губерний, а также 2-ой Всероссийский Кооперативный Съезд в Киеве. Кооперативное движение больше развивалось в деревне, чем в городе. Из 10 тыс. потребительских обществ в 1914 г. 85% были в селах. Сильные кооперативы делались своего рода центром местной жизни, около которого сельская интеллигенция (земские работники, агрономы, врачи, священники, учителя и пр.) объединялась с крестьянством. Они содействовали не только развитию хозяйства, но также и выдвижению новых людей на поверхность сельской общественной жизни.

Улучшение жизни в деревне шло параллельно с общим хозяйственным подъемом в стране. Предоставление сравнительно большей свободы личной инициативе сразу же дало благотворные результаты. После первоначального медленного

улучшения хозяйственной жизни начался с 1909 г. сильный промышленный подъем. Время с 1909 по 1914 г. было порой расцвета русского хозяйства*.

Одновременно с хозяйственным происходил и культурный подъем. Жизнь высшей школы и научных учреждений протекала весьма интенсивно. Возросло и число высших учебных заведений и количество обучающихся в них студентов. Если Министерство Народного Просвещения с неохотой шло на открытие новых высших школ, то охотнее делали это другие ведомства, как Министерство Торговли и Промышленности или Главное Управление Земледелия. В особенности оживилась в этом деле общественная и частная инициатива. В каждом из наиболее крупных городов России поднимался вопрос об открытии какого-либо высшего учебного заведения или народного университета. На почве борьбы за академическую свободу университетской профессуре приходилось переживать тягостные моменты, но в общем ей удалось ее отстоять. Быстро росла и средняя школа. Здесь частная инициатива сказывалась главным образом в открытии женских гимназий и прогимназий.

В церковной жизни знаменательным был созыв Предсоборного Присутствия после того, как Государь в рескрипте на имя петербургского митрополита Антония (25 дек. 1905 г.) признал необходимость реформы Св. Синода и созыва поместного собора. В перый раз в истории русской церкви обсуждались церковные реформы столь компетентным и авторитетным по своему составу «всецерковным» собранием. Помимо главной церковной иерархии собрание включало в себя цвет тогдашней богословской науки. Хотя выработанный им проект церковных реформ носил несколько половинчатый характер, в нем всё-таки ясной струей пробились элементы нового церковного сознания, и им были намечены основные черты назревших церковных реформ. В этом огромное эначение этого «предсобора». Дальше пошли оттяжки созыва церковного собора, и материалы Предсоборного Присутствия перешли для переработки в новые комиссии — Предсоборное Совещание и Предсоборный Совет. Но через эти комиссии от Предсоборного Присутствия идет прямая дорога к реформам Московско-

^{*} Относящиеся к этому вопросу фактические данные можно найти в известных работах П. И. Лященко, С. Н. Прокоповича, М. И. Туган-Барановского и др.

го Собора 1917/1918 г. Русская богословская пресса того времени пережила чрезвычайное оживление в связи с подробным обсуждением выдвинутых жизнью богословских и канонических проблем. Пересмотру взаимоотношений церкви и общества, религии и науки были посвящены в особенности собрания Религиозно-Философского Общества в Петербурге, где сходились для собеседований выдающиеся представители церковной и общественной мысли. Об ознаменовавших тот же период достижениях русской литературы, русского театра, русской музыки и живописи говорить едва ли приходится — они обшеизвестны.

**

Много было тягостного и раздражавшего во всевозможных попытках повернуть колесо истории вспять — от конституции к самодержавию, от ограниченных политических свобод к широкой свободе административного усмотрения. Но в тогдашних условиях это не убивало воли к сопротивлению. Чем крепче был нажим, тем сильнее настораживалось общественное мнение, и где-то накоплялось противодействие. Передовые слои общества жили в ощущении поднявшейся волны народного движения, которая, как казалось, не могла улечься. Это давало силы бодро тлядеть вперед. Февральская революция 1917 г. в своей первоначальной стадии оправдывала эту веру. Октябрьская революция на деле выбила Россию из сферы общечеловеческой культуры.

По сравнению с тем попранием всех прав личности и с тем угнетением народных масс, которые принес с собой коммунистический переворот, думская эпоха вопреки всем реставрационным попыткам царского правительства, начинает казаться такой светлой полосой русской истории, о возврате к которой в наши дни можно только мечтать.

А. Боголепов

KOMMEHTAPNN

О воспоминаниях Ф. А. Степуна

В начале 1853 г. Герцен такими словами охарактеризовал недавно перед тем начатый им «странный труд»: «Надгробный памятник и исповедь, былое и думы, биография и умозрение, события и мысли, слышанное и виденное, наболевшее и выстраданное, воспоминания... и еще воспоминания». «Бывшее и несбывшееся»* Ф. А. Степуна принадлежит к тому же роду автобиографической литературы. Среди мемуаров, появившихся в эмиграции, воспоминания эти выделяются своим широким охватом, тесной связью между личным и общим и сознательно литературным подходом автора к своей задаче: «я писал и как беллетрист», говорит он в предисловни к книге. Выделяются они и по своему интересу. Это — увлекательное чтение, от которого трудно оторваться.

На долю Ф. А. Степуна выпала богатая событиями жизнь. В той мере, в какой это относится к событиям историческим, то же самое можно, конечно, сказать и обо всех его современниках. Но лишь сравнительно немногие из них стояли так близко к центру русской культурной (а в известные моменты и политической) жизни и немногие обладали такой же зоркостью в наблюдении, интенсивностью переживаний и одновременно способностью к обобщениям, — пусть часто и спорным, но всегда вызывающим на размышления. Где-то в книге автор говорит про себя, что он думает «прежде всего глазами». Прибавлю, что он к тому же и превосходный рассказчик. Вот почему всё живет на страницах его книги — и люди, и природа, и эпоха. Калужская «деревня» его детства, где народ ощущался помещиками как «какой-то природно-народный пейзаж», сменяется «сонной лефортовской Москвой», в которой прошли его школьные годы. Даже такой, не популярный среди большинства людей его круга сюжет, как отбывание воинской повинности служит автору полотном для очень ярко написанной картины русской армейской жизни начала века, не только

^{*} Т. I-II, изд. имени Чехова, Н. И., 1956.

с ее темными но и с ее светлыми сторонами. Потом приходит первая «встреча с Европой». Она заставляет Ф. А. Степуна, «полупруссака» по происхождению, особенно остро ощутить свою «русскость» — по контрасту с окружающей его германской стихией. Контраст этот дан автором в двух аспектах эмоционально-идейном и бытовом. Первый из них символизируется «конфликтом» со знаменитым историком философии Виндельбандом, в семинарии которого при обсуждении одной проблемы этического характера русский студент в упор задал ему вопрос: а как по его, профессора, мнению думает об этом сам Господь Бог? Разочаровавший Ф. А. Степуна ответ Виндельбанда сводился к тому, что «это уже его 'частная метафизика', его личная вера, не могущая быть предметом семинарских занятий». (Должен признаться, что в этом «конфликте» я на стороне Виндельбанда!) Бытовой (но отчасти конечно и психологический) конфликт изображен автором с большим чувством юмора в очаровательном описании визита к его прусским родственникам с отцовской стороны.

Следующий и, на мой взгляд, один из наиболее ценных разделов книги посвящен России накануне войны. Здесь мы находим зарисовки различных литературных и философских группировок в Москве и Петербурге, наблюдения над изменениями в политических настроениях русского общества и впечатления, вынесенные автором из его поездок по провинции. Есть и небольшое лирическое отступление, посвященное «вагонам России», в котором очень хорошо передана своеобразная поэзия русских поездов*. Как и в других частях воспоминаний, автор не ограничивается попыткой воссоздать картину предреволюционной России, но делает из своих наблюдений и некоторые историософские выводы, о которых речь будет ниже. Первый том воспоминаний оканчивается началом войны 1914 г., когда автор был призван в армию и попал на фронт в качестве «прапорщика-артиллериста». На этот раз мы видим русскую армию уже не в «идиллических» условиях мирного времени, а в горниле самой трагической войны в истории России. То, что оба эти облика армии показаны с одинаковой убедительностью, каждый в его жизненной конкретности, есть одно из доказательств изобразительного дара автора.

^{*} К перечисленным автором образцам «железнодорожной темы» в русской литературе следовало бы прибавить еще и первую главу «Идиота».

Второй том воспоминаний разделен на две огромных главы, озаглавленных — «Февраль» и «Октябрь». В этом томе личное несколько отступает на второй план перед общим. И в нем, конечно, есть портреты, пейзажи и бытовые подробности, но в целом (особенно в части касающейся Февраля) размышления и рассуждения преобладают над передачей впечатлений от «слышанного и виденного». К размышлениям и рассуждениям я вернусь в дальнейшем. Здесь же хочу сказать только, что рассказ автора о его жизни в подсоветской Москве и в деревенской «трудовой коммуне» кажется мне одной из лучших частей воспоминаний. Я не могу вспомнить ни одного другого произведения, которое помогло бы мне так живо ощутить повидимому ни с чем несравнимую атмосферу этих ранних советских лет, когда «быт приближался к бытию» и «на каждом перекрестке стояла судьба», и когда «беспомощность наскоро созданного партийно-государственного аппарата» еще оставляла место для какой-то свободы. «Каждую минуту можно было быть ни за что расстрелянным, но одновременно было возможно безнаказанно не исполнять прямых приказаний власти».

Конечно, не только та часть, о которой я только что говорил, но и вся книга Ф. А. Степуна очень хорошо написана. Думаю, что это лучшее из всего, что он до сих пор написал. И всё же, читая его воспоминания, я иногда чувствовал, что они... слишком хорошо, вернее — слишком красочно написаны. В них есть характерная для Ф. А. Степуна стилистическая преизбыточность: слишком много метафор, слишком много эпитетов, слишком много вообще всяких словесных эффектов. Часто это получается блестяще, но ведь и обилие блеска можно счесть за недостаток. Иногда же это приводит, как мне кажется, к прямой стилистической неудаче. Приведу как пример следующую фразу: «Образ дальнейших событий... растворяется в музыке напряженной душевной борьбы между темою глубокой печали о необходимости разлуки со своею только что начавшейся новой жизнью и контр-темой холодящего сердце ожидания чего-то большого и невероятного». Я не думаю, чтобы это было очень хорошо сказано. Я мог бы привести и другие примеры таких неудач Ф. А. Степуна, но не стану этого делать, так как я задался целью написать не рецензию о его книге, а комментарий к ней более общего характера.

В некоторых элементах того, что я назвал стилистической преизбыточностью воспоминаний Ф. А. Степуна, есть несом-

ненное родство с романтической стилистикой, и это приводит меня к вопросу о связи его с романтизмом и об его отношении к романтизму. От своего романтического прошлого Ф. А. Степун не отрекается: «я действительно родился романтиком», пишет он в одном месте. Но его отношение к романтизму в моих глазах как-то раздваивается. По разным поводам он высказывает осуждение романтизму. Так например, о Ницше он говорит: «Всё это и по своему вкусу и по своей безвкусице настолько романтично, что читается ныне не без труда». Он повидимому с осуждением говорит о «романтически-мистической вражде немцев ко всякой грани и форме в искусстве и мысли». «Несчастье Блока — пишет он в другом месте — было именно в том, что он... до конца оставался духовно беззащитным романтиком мечтателем». Больше того, мы находим в его книге и такое личное признание: «смогу ли я когда-нибудь религиозно преодолеть в себе романтика, я не знаю...» Противопоставление романтизма религиозности в данном случае, грубо говоря, - мировоззренческое. Но ведь романтизм был не только мировоззрением, но еще и психологией и стилем. Некоторые из немецких романтиков были или стали людьми религиозными, но и религиозность их оставалась в той или иной мере романтической. То же самое можно сказать и о ранних славянофилах, о связи которых с немецким романтизмом Ф. А. Степун когда-то напечатал интересную статью в «Русской Мысли». Религиозность молодого Герцена носила ярковыраженный романтический характер. Позднее Герцен отрекся и от религиозности и от романтизма, но психологически и стилистически он продолжал оставаться романтиком и после своего перехода «от идеализма к реализму», едва ли не до конца своей жизни.

Думаю, что и Ф. А. Степуну (по крайней мере тому, который писал свои воспоминания) преодолеть в себе романтика не удалось. Возможно, что это удалось ему даже в меньшей степени чем Герцену. Кажется, ни в одном месте его воспоминаний я не нашел той любовной, но всё же снисходительной иронии, с которой Герцен описывает, например, «отчаянных» московских гегельянцев времен его молодости. К сходным явлениям русской символический эпохи Ф. А. Степун относится гораздо более серьезно. С переживаниями того времени он еще настолько связан эмоционально, что он не всегда способен смотреть на них со стороны.

Спешу оговориться — я отнюдь не являюсь противником ни романтизма, ни символизма. И тот, и другой не только были

исторически закономерными явлениями, не только оставили после себя образцы высоких художественных достижений, но и отвечали некоторым неискоренимым потребностям человеческой души*. Но и в романтизме и в символизме были тенденции к преувеличениям, к исключительности, к тому забвению «всякой грани в искусстве и мысли», о котором Ф. А. Степун говорит в применении к «романтически-настроенным немцам». Мне кажется что в своем «методе положительного всеединства» (см. его предисловие к книге) он сам иногда оказывается в опасной к такому забвению близости.

В своих воспоминаниях Ф. А. Степун приводит цитату из одного своего письма, написанного в 1916 г., и в ней мы находим такую формулу: «Мимолетное — как вечное, интимное -как вселенское, лирика, — как космогония». Слова эти, пожалуй, можно было бы поставить эпиграфом если не ко всей книге Ф. А. Степуна, то по крайней мере к отдельным ее частям. Это, конечно, типично романтический подход. Мы найдем его и у русских идеалистов тридцатых годов (см. например, письма Огарева к невесте, опубликованнные М. О. Гершензоном), и у символистов (напомню интереснейшие наблюдения в этой области В. Ф. Ходасевича). Лично для меня именно эта черта романтизма и символизма всегда оставалась малоприемлемой и чуждой. Одно дело утверждать укорененность мимолетного в вечном, интимного во вселенском, лирики в космогонии, и совсем другое — ставить между этими двумя рядами знак тождества. В первом случае грань остается, во втором она стирается — к ущербу как для ясности и трезвости мысли, так и для адэкватности ее выражения. Ф. А. Степун говорит о своей близости к учению Соловьева о «положительном всеединстве». Но у Соловьева грани всё-таки оставались: он отделял личное от общего, метафизику от политики (как например, в пору его ценного и плодотворного сотрудничества с либералами-позитивистами), лирику ограничил пределами своей поэзии, а философские книги или публицистические и литературно-критические статьи писал не только без лирики, но и в стиле скорее «классическом», чем романтическом. И даже в стихах -- о своих самых интимных переживаниях он говорил больше намеками и в полушутливой форме.

Я не отрицаю того, что избранный Ф. А. Степуном метод, основанный на своего рода «экзистенциальном» подходе («все

^{*} Всё это, конечно, можно сказать и о классицизме, и о реализме.

истины, в которых я мыслю мир и историю... родились в глубинах личной жизни»), имеет и свои преимущества. В целом ряде случаев он позволил ему и более зорко видеть и ярче передать виденное. Но иногда чувство меры ему изменяет, лирическое волнение выходит из-под контроля, и от потери грани между «лирикой» и «космогонией» страдают и мысль и форма. Так например, в воспоминаниях о своей ранней юности автор рассказывает между прочим, о происшедшем в его душе «серьезном раздвоении между итальянскими очами Людмилы и сине-серыми глазами Настеньки». Настенька разгадала это раздвоение и с ее стороны на автора «обрушились громы», в которых она «распахнула» перед ним «огнедышащие недра своего... нрава». К этому автор добавляет, что если он вызвал образ Настеньки, то для того, чтобы показать ту «мятежную душу, от которой сгорела Россия». Признаюсь, что этот пассаж кажется мне не очень убедительным — ни в эстетическом, ни, особенно, в историко-философском отношении.

Во втором томе воспоминаний есть один эпизод, гораздо более значительный по своему характеру, но в котором личное тоже сливается с общим к некоторому недоумению даже сочувственно настроенного читателя*. Речь идет о восстановлении смертной казни на фронте летом 1917 г. И вот, рассказывая о своем отношении к этой трагической проблеме, автор говорит следующее: «...приятие смертной казни оказалось для меня возможным лишь потому, что незадолго до начала войны в моей личной жизни закончился тот сложный и тяжелый период, из которого я вынес убеждение, что без готовности принесения в жертву своей и чужой жизни осилить жизни нельзя». Нисколько не сомневаясь в искренности этого показания, охотно верю, что его личный опыт помог Ф. А. Степуну решить для себя вставший перед ним тяжелый вопрос. Но ведь он пишет, что решение это стало для него возможным только в силу этого личного опыта. Что же бы он делал, если бы у него, как это легко могло случиться, такого опыта не было? И что делать в аналогичных случаях всем другим, подобного

^{*} В авторизованном немецком переводе воспоминаний вышедших в трех томах в Германии в 1947-51 гг. под заглавием Vergangenes und Unvergängliches (Прошедшее и непреходящее), об этом эпизоде расказано более подробно и определенно. В русском тексте автором были сделаны сокращения — насколько мне известно, по требованию издательства.

опыта не имеющим? Я не задавал бы этих вопросов, если бы в дальнейших своих рассуждениях Ф. А. Степун не делал из своего личного опыта очень широких и смущающих меня обобщений. «Я думаю, — пишет он, — что лишь при таком переживании смертной казни, как некой сверхполитической мистерии, таящей в себе сознание трагической вины казнящего перед казненным (это понимал даже Иоанн Грозный, постоянно мучившийся своими казнями и каявшийся в них), возможно ее нравственно-положительное воздействие на общественно-политическую жизнь». Оставляя в стороне Ивана Грозного, казни которого, несмотря на его раскаяние, едва ли оказали какое-либо нравственно-положительное воздействие, скажу только, что вся эта фраза, и по мысли, и по форме своей кажется мне соблазнительной. Я вообще безусловный противник смертной казни, но даже позиция Виндельбанда (в уже упомянутом споре с ним Ф. А. Степуна), который подходил к вопросу «в плане целесообразности», оправдывал наказание преступника «необходимостью охранения общества и государства» и настаивал на «резком его усилении в эпохи войн и революций», кажется мне духовно более трезвой, чем попытка оправдать ее как «некую сверхполитическую мистерию».

Значительное место в воспоминаниях Ф. А. Степуна (в последней части первого тома и во втором томе) занимают размышления о судьбе России. В центре этих размышлений естественно стоит революция. О предреволюционных годах и о самой революции автором сказано очень много интересного, важного и проницательного, но наряду с этим есть в его книге и немало смущающих меня мыслей и формулировок. Есть в общих заключениях автора и трудно разрешимые противоречия*. Начну с его оценки предреволюционного периода и с его отношения к вопросу о том, была ли революция неизбежна. В одном месте он называет этот вопрос «праздным и пустым», но тут же добавляет: «и всё же в сердце не убить веры, что, не случись войны, Россия могла бы избежать революции». Я принадлежу к числу тех, которые не считают этот и подобные ему вопросы «праздными и пустыми». Это область не «веры», а исторического познания. Если не стоять на позиции абсолют-

^{*}Я добросовестно исполнил просьбу автора «не упускать извиду датировку отдельных частей его воспоминаний», которые писались им в течение почти одиннадцати лет (1937-1948). Но указываемые мною дальше противоречия всегда относятся к одной и той же части.

ного исторического детерминизма, если считать вместе с Герценом, что история «пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот», то для понимания того, почему та или другая возможность стала реальностью, почему именно эти, а не другие «ворота» открылись, размышления на тему «что было бы, если бы...» становятся совершенно необходимыми. Для историка этот умственный эксперимент служит заменой недоступного ему лабораторного эксперимента. Только представив себе другие возможные пути развития (вопреки замечательной метафоре Герцена их всегда бывает много меньше тысячи!), может историк правильно оценить удельный вес каждого из факторов, приведших к торжеству одной возможности над всеми другими. В сущности, в какой-то мере и сам Ф. А. Степун занимается этим вполне законным «гаданием». Уже в цитированной мною фразе мы находим мысль о том, что Россия могла бы избежать революции, если бы не случилась война. Но почему это предположение может быть только предметом веры? Это совершенно законная историческая проблема, которая подлежит тщательному обследованию с помощью отстаиваемого мною гипотетического метода. В общем вся нарисованная Ф. А. Степуном картина предреволюционной России говорит в пользу высказанного им предположения. И в целом ряде мест он делает из своих наблюдений соответствующие выводы. После 1905 г. в России «выростала какая-то новая, с году на год всё крепнувшая жизнь». — «Пробужденная в 1905 г. революционная энергия начала в эпоху третьей Думы быстро сливаться с созидательным процессом жизни». — Накануне «злосчастной войны 1914 г.» в России происходил «быстрый, в некоторых отношениях даже бурный рост общественных сил». — «Еще десять-двадцать лет дружной, упорной [просветительной] работы и Россия бесспорно (курсив мой, М. К.) вышла бы на дорогу окончательного преодоления... разрыва между 'необразованностью народа и ненародностью образования'». — Культурный подъем тех лет «свидетельствовал о духовном здоровье России». — «К величайшему... несчастью России этот оздоровительный процесс был сорван большевистской революцией».

И вот наряду с этими достаточно определенными утверждениями, под каждым из которых я мог бы подписаться (с одной только оговоркой: прежде чем быть сорванным большевистской революцией оздоровительный процесс был подорван войной), в той же главе можно найти и прямо им противоположные. Например: «После грозных событий 1905 г. уже ясно

обозначился неминуемый (курсив мой, М. К.) срыв в пропасть». — «Зародившийся после крушения 1905 г. дух уныния... с каждым днем всё шире и шире расползался по России душным, ядовитым туманом». — «Уже задолго до войны все политически сознательные люди жили как на вулкане... Всем было ясно, что Россия может быть спасена только радикальными и стремительными мерами». — «В 1912 г. показавшийся на горизонте призрак войны сразу же приблизил революцию».

Я конечно знаю, что предреволюционная Россия не была царством сплошного прогресса и благополучия: в ней оставалось немало нездоровых и уродливых явлений и перед ней стояло еще много неразрешенных и трудно разрешимых задач. Ф. А. Степун указывает и на эти теневые стороны тогдашней русской жизни. Но мы не найдем в его книге попытки дать анализ общего положения страны, определить удельный вес положительных и отрицательных факторов, свести их в каком-то хотя бы приблизительном балансе. К анализу у него, повидимому, вообще нет склонности. Метод его одновременно импрессионистический и синтетический: от личных впечатлений он переходит прямо к широким обобщениям. Но так как впечатления обыкновенно бывают очень разнообразными, то и в основанных на них обобщениях концы с концами не всегда сходятся. При этом Ф. А. Степун на мой взгляд, переоценивает силу отрицательных факторов и недооценивает силу положительных. Он видит «несчастье канунной России» в том, что «в общественности и культуре цвела весна в то время как в политике стояла злая осень», и говорит, что «трупный запах заживо разлагавшейся власти... не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет». В какой-то мере он, конечно, прав, но ни осень не была уж такой злой, ни отрава — столь губительной. Если в ранние советские годы беспомощность власти, по его словам, «оставляла место для какой-то свободы», то та же характеристика применима и к России конституционного периода — с той только разницей, что пределы свободы были тогда несравненно более широкими. Для того же, что Ф. А. Степун говорит о сплошном «духе уныния», о жизни «как на вулкане» (см. выше) или об «эротически-мистическом блуде» как «исповедничестве эпохи», я не нахожу подтверждений ни в своем личном опыте, ни в исторических показаниях. И еще менее соответствующим действительности кажется мне его утверждение, что в России того времени «ведущими силами» были «клерикальное черносотенство и атеистически-революционная интеллигенция».

Как я уже указывал, в воспоминаниях Ф. А. Степуна можно найти много ценных наблюдений над изменениями в политических настроениях русского общества в годы, предшествовавшие первой мировой войне. И всё же наблюдения эти в целом страдают некоторой неполнотой или вернее — односторонностью. Говоря о переменах в русском «политическом климате», автор ссылается на известные ему примеры yxoda «радикальных кандидатов прав» в помощники к присяжным поверенным «буржуазно-либерального лагеря», «радикальных сыновей серых купцов» — в торговлю «в отцовском лабазе», «студентов-общественников» — в науку или в искусство. Но ведь наряду с такими явлениями были и другие: не уходя от общественности, люди, в том числе и радикально настроенные, уходили от утопизма и максимализма к политическому реализму, от убеждения в том, что «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть» — к поискам путей для непосредственной созидательной работы. Если не ошибаюсь, ни одного примера такого «обращения» Ф. А. Степун в своих воспоминаниях не приводит. Пожалуй, некоторый намек можно найти в его замечании, что споры о «Вехах» не интересовали провинцию, где представители местной интеллигенции не чувствовали себя виноватыми ни в «народническом мракобесии», ни в «сектантском изуверстве», ни в «общественной истерике», ни в «убожестве правосознания», ни в «бездонном легкомыслии»*. Но ведь процесс политического оздоровления, о котором я здесь говорю, шел не только в провинции, но и на верхах русской общественности. Думается, что в этой области Ф. А. Степун, при всей его наблюдательности, всё-таки чего-то недоглядел — может быть, потому, что при тогдашнем своем относительном аполитизме он недостаточно пристально в эту сторону смотрел.

Следы этой несколько односторонней направленности я нахожу даже и в том, что Ф. А. Степун говорит о культурном подъеме того времени. Уже в его утверждении, что «по-настоящему описать 'канунную' Москву значит написать историю русской культуры», чувствуется своего рода местный патриотизм. В дальнейшем происходившая в предреволюционной России «духовная эволюция» в изложении автора более или менее сводится к «большой культурной работе», делавшейся в «морозовском особняке» (где происходили заседания Религиозно-Фило-

^{*} Слова, поставленные в кавычки, принадлежат не Ф. А. Степуну, а цитируемым им авторам «Вех».

софского общества имени Владимира Соловьева) и в редакциях «Мусагета», «Весов», «Пути» и «Софии». Нисколько не отрицая всей важности того, что происходило в этих близких Ф. А. Степуну кругах, я всё-таки не могу согласиться с тем, что они играли такую исключительную роль*. Для меня одной из основных — и положительных — черт предреволюционной эпохи было разнообразие духовных, умственных и эстетических течений. Никакой столбовой дороги у русской культуры в то время не было. Было много различных путей, иногда ведших в разные стороны, но иногда и перекрещивавшихся. Характерно, что и в своем лагере Ф. А. Степун отмечает «многомотивность» и «разнонаправленность религиозно-философского и научно-художественного сознания». Единство этого лагеря, по его словам, держалось «борьбой за свободу личности и свободу творчества», но ведь та же борьба шла и за пределами этих всё-таки несколько замкнутых культурных очагов.

О революции 1917 года в эмиграции было написано очень много, но за некоторыми исключениями эта литература не стоит на высоте исторической значительности и трагической сложности проблемы. Со времени нашей национальной катастрофы прошло уже почти сорок лет — на десятилетие больше, чем прошло с «времен очаковских и покоренья Крыма» до того как Грибоедов устами Чацкого сделал их символом допотопного мышления. А ведь, по своим размерам и последствиям — «потоп» нашей эпохи на много превысил тот, что отделял грибоедовскую Россию (и Европу) от периода последних лет екатерининского царствования. Тем более поразительно, как мало учет этого громадного исторического опыта отразился на эмигрантских рассуждениях о революции. Слишком часто о ней говорят и пишут как о политической злободневности, — как если бы мы еще жили в 1917-ом, а не накануне 1957-го года. В этой дискуссии сплошь да рядом звучат всё те же, почти полустолетней давности, страсти; сводятся застарелые, уже погашенные историей счеты; употребляются ставшие шаблонами аргументы, к сожалению, не делающиеся от времени «чем старе, тем сильней».

Слишком распространено и стремление найти «козла отпущения» — иногда коллективного, чаще же (это и проще,

^{*} Так же как я не могу согласиться и с утверждением Ф. А. Степуна, что позднее, в эмиграции, только вокруг представителей «нового религиозного сознания» происходила «творческая работа по осмысливанию развернувшейся трагедии».

и удобнее для полемических целей) — персонифицированного. Нередко в этом нетрудно обнаружить потребность разделаться со своим прошлым, выместить на ком-нибудь другом свои собственные «грехи молодости». Иногда это еще прикрывается, сознательно или бессознательно, датированною задним числом проницательностью.

Ничего подобного такому подходу в воспоминаниях Ф. А. Степуна найти нельзя. Можно оспаривать фактическую точность отдельных его показаний. Можно не соглашаться с ним в оценке тех или иных эпизодов и действующих лиц. Можно, наконец, расходиться с ним в некоторых из его общих выводов. Но нало признать, что свой рассказ и свои рассуждения о революции он ведет на высоком уровне, соответствующем значительности и трагизму его темы. И за это можно быть ему только благодарным. Он откровенно признается, что его отношение к февральской революции было «сложным и противоречивым». Ничего удивительного в этом нет: сама революция была сложной и противоречивой, и подходить к ней с прямолинейными мерками или пытаться изобразить ее с помощью одной только черной (или белой) краски — значит совершать насилие над исторической реальностью. Такой попытки Ф. А. Степун не делает. Об ошибках и грехах «революционной демократии» или даже всей «свободолюбивой русской интеллигенции» он говорит неоднократно. Тем не менее присяжные хулители Февраля найдут в его книге не много для себя утешительного. «Моей душе — пишет он — мало что так претит, как мракобесное издевательство над 'либеральной близорукостью', 'интеллигентской мягкотелостью' и 'красноречивым празднословием нашей интеллигенции', в котором с первых же дней революции состязались наши, только что бездарно выпустившие из своих рук 'историческую власть', монархисты — с большевиками». Вопреки традиционным нападкам на Временное Правительство за то, что оно развалило армию, он, на основании личного опыта, дает положительную оценку деятельности армейских комитетов, без которых «армия развалилась бы гораздо раньше и раньше пошла бы за большевиками». По его мнению, в условиях того момента путь избранный Керенским оставался «единственно открытым». В ответ на столь же традиционное рассуждение о том, что «на уговорах воевать нельзя», он ставит вполне резонный вопрос — «но что же делать, когда воевать без уговоров еще менее возможно?» Столь же основательно его замечание по адресу тех, кто, нападая на Временное Правительство, требовал сильной власти: «сильную власть вообще не требуют, ее осуществляют». Вот почему нападки правой оппозиции на Временное Правительство, и на А. Ф. Керенского в особенности, не производили на него «убедительного впечатления». За этой оппозицией он не видел реальной силы (как не видел ее и за Корниловым). Без малого тридцать лет после того он подвел своим наблюдениям и размышлениям такой итог: «Керенский проиграл революцию. И тем не менее я продолжаю... настаивать на том, что линия Керенского была единственно правильной. Общая воля России была скорее с Керенским, чем с большевиками или с правыми».

Временное Правительство он обвиняет «только в том», что оно недостаточно энергично защищало «свободу от всех свободоненавистников». Это конечно очень большое «только». И конечно это обвинение тоже является общим местом в дискуссии о причинах поражения февральской революции. Но в отличие от многих других общих мест оно сохраняет свою жизненную значительность. Правильно — т. е. исторически, а не партийно-полемически — поставленный, этот вопрос подлежит серьезному обсуждению. Это признают и сам А. Ф. Керенский, и многие из далеко не всегда с ним согласных руководителей тогдашней «революционной демократии». Может быть, в обсуждении этого вопроса Ф. А. Степун не уделил достаточно места тем общим условиям, в которых Временному Правительству приходилось действовать: помимо войны, нельзя забывать и факта почти автоматического развала административного аппарата на другой же день после падения старой власти. То, что Ф. А. Степун говорит о положении на фронте, можно пожалуй сказать и о проблемах внутреннего управления: «на уговорах управлять нельзя, но что же делать когда управлять без уговоров еще менее возможно?» Повторяю, я не сторонник исторического детерминизма и не считаю, что поражение Февраля было неизбежным. Эти мои замечания вовсе не имеют целью снять с очереди вопрос о недостатках и ошибках Временного Правительства и всей стоявшей за ним русской демократии. Напротив, его углубленное обсуждение я считаю настоятельно нужным. Я только думаю, что при этом не надо упускать из виду ту исключительно трудную обстановку, в которой Временное Правительство оказалось с самого начала. Тем более, что с тех пор вопрос о способности демократии к самозащите перерос национальные рамки. Не в одной России демократы потерпели поражение в их попытках «защитить

свободу от всех свободоненавистников» — и притом в условиях несравненно менее трудных.

Если общий подход Ф. А. Степуна к февральской революции кажется мне вполне правильным, то меня гораздо меньше удовлетворяют его рассуждения о том, что нужно было бы сделать, чтобы предотвратить ее трагический исход. Он неоднократно возвращается к «жажде замирения, вспыхнувшей в солдатских душах». В ней он видел «не трусость и шкурничество, а прежде всего всенародно-творческий порыв к свободе, в смысле оправдания добра в мире». Единственной возможностью «благополучно ликвидировать революционный развал России» ему представлялось заключение «если не почетного, то всё же приличного мира». Ему кажется, что если бы у революции нашлись вожди, которые «во-время расслышав этот порыв, сумели бы его политически оформить, — всё было бы спасено: и правда революции, и честь России». И тут же он говорит, что он сам не только не мог высказать эту свою мысль «по тактическим соображениям», но и пришел к убеждению о «полной невозможности правильной политической проекции солдатского миролюбия». Допустим, что под этой невозможностью он имеет в виду отсутствие у революции достаточно проницательных вождей. На это предположение наводит его замечание о неспособности кадетов и социалистовоборонцев, объединяемых им под общей рубрикой «западников-позитивистов», считаться в политике с таким невесомым фактором, как «нравственно-религиозное убеждение простого народа». Но во-первых, социалисты-оборонцы фактически проводили ту же идею «если не почетного, то всё же приличного мира». А во-вторых, именно неудача их попыток в этом направлении показывает, что дело было не столько в их психологии, сколько в объективных условиях: не только оказалось невозможным достигнуть соглашения с западно-европейскими союзниками, но и на поддержку со стороны Америки нельзя было рассчитывать: к этому времени Вильсон уже окончательно перешел со своей прежней позиции «мира без победы», т. е. мира заключенного на основе восстановления статус-кво без маких-либо аннексий и контрибуций — к позиции «войны до победного конца». При такой международной обстановке единственным возможным способом «политического оформления» народной тяги к миру оставался сепаратный мир, и Ф. А. Степун откровенно признается, что он начал всё определеннее склоняться к идее такого мира (правда, с заблаговременным предупреждением союзников — см. т. II, стр. 88). Не стану обсуждать этот вопрос с принципиальной точки зрения. Укажу лишь, что летом 1917 года исход войны не только не мог быть ясно виден, но и действительно еще не был предрешен. При всем своем «революционном развале», Россия, пока она оставалась в войне, приковывала к восточному (для центральных держав) фронту огромное число немецких дивизий. В случае сепаратного мира эти дивизии были бы немедленно переброшены на западный фронт — прежде чем Америка успела бы перевезти через Атлантический океан и развернуть на европейском континенте достаточно внушительные вооруженные силы. Трудно сказать, каков был бы тогда исход войны и как он отразился бы на судьбах России. С другой стороны, тем же летом 1917 г. были некоторые основания рассчитывать на возможное в недалеком будущем отпадение от Германии ее более слабых союзников. Едва ли можно поэтому объяснять отталкивание Временного Правительства от сепаратного мира только мотивами психологического или идейного характера.

По-иному смущают меня рассуждения Ф. А. Степуна о том, что он считает основной ошибкой А. Ф. Керенского на этот раз в его внутренней политике. Он видит ее в убеждении, что «'общая воля' народа должна согласоваться даже и в революционное время с волею его правомочно избранных представителей». В одном месте, формулируя сложившийся в его уме «план правительственных действий», он говорит о срочном созыве Учредительного Собрания, хотя бы и «без достаточной юридической подготовки». Здесь, как видим, «воля правомочно избранных представителей», даже и в революционное время, всё-таки находит себе место. Но несколько дальше говорится уже о том, что Керенский потерял возможность стать «настоящим вождем народной революции», потому что был убежден, что «'общая воля' народа не может быть явлена иначе, как на путях свободного волеизъявления свободно выбранных представителей всех слоев и партий». В авторском контексте это «убеждение» звучит как «предубеждение», от которого Керенский должен был бы избавиться, чтобы игнорируя партии, выборы, а может быть и другие демократические формальности, опереться непосредственно на народные массы и признать самого себя выразителем их «общей воли». Не буду вдаваться в обсуждение осуществимости такой версии развития февральской революции и ее шансов на успех. Скажу только, что едва ли рекомендованный Ф. А. Степуном путь является решением вопроса о том, как демократия может защитить себя от «свободоненавистников», не переставая быть демократией.

«Делу Корнилова» в воспоминаниях Ф. А. Степуна уделено довольно много места. Находясь в то время в политическом отделе военного министерства и будучи довольно тесно связан с Б. В. Савинковым, автор стоял, если не в центре событий, то достаточно от них близко. Уже по одному этому рассказ его представляет значительный интерес. Отмечу еще, что и здесь он старается быть возможно более беспристрастным. Он не преследует никаких полемических целей, не ставит себе задачей непременно кого-либо очернить (или обелить), а хочет понять, как могло произойти то, что произошло. Это особенно относится к его трактовке роли и взаимоотношений двух главных антагонистов. В дальнейшем я не буду входить ни в оценку фактических деталей рассказа Ф. А. Степуна, ни в рассмотрение его отдельных, более частных суждений, а ограничусь замечаниями об общей его концепции.

Он видит в конфликте между Керенским и Корниловым «трагическое недоразумение», в котором на каждой стороне были и правда и вина. В его представлении (думается, слишком оптимистическом) настоящего, принципиального расхождения между Керенским и Корниловым не было. Несколько упрощая, можно сказать, что автор видит основу «недоразумения» в столкновении двух различных психологий — «штатской» и военной. С одной стороны, стоял Керенский, «глубоко чуждый армии человек», который не чувствовал ни ее «нравственно-бытовой сущности», ни ее «эстетики». С другой — генерал Корнилов, «доблестный солдат», но малоискушенный политик (ему не хватало «универсальности политического кругозора»), к тому же испытывавший «глубокое недоверие к советским демократам, к которым он, в минуты раздражения, причислял и Керенского».

При всей привлекательности такого подхода я всё же сомневаюсь, чтобы одной разницей между этими двумя психологиями (даже если каждая из них правильно угадана автором) можно объяснить возникший между Керенским и Корниловым конфликт. Автор убежден, что никакого заговора против Керенского Корнилов не замышлял. Но в то же время он говорит о «право-заговорщических элементах в ставке», т. е. в непосредственном окружении Корнилова, называет имена некоторых заговорщиков и рассказывает кое-что об их политических планах. Он пишет также, что В. Н. Львов «появился в

кабинете Керенского в качестве парламентера черносотенной контр-революции». Дело осложняется еще тем, что в качестве третьего действующего лица, в его представлении игравшего во всех предшествовавших разрыву переговорах чрезвычайно важную роль, он вводит Савинкова. Этот «одинокий эгоцентрик» и «фашист типа Пилсудского», по свидетельству Ф. А. Степуна, стремился использовать и Керенского и Корнилова «в задуманной им политической игре, дабы не сказать интриге». Да и про Корнилова у автора сказано, что «даже протягивая Керенскому руку, он норовил повернуться к нему спиной». Если принять всё это во внимание, то трудно представить себе, каким образом между этими тремя людьми, как они охарактеризованы Ф. А. Степуном, могло бы быть достигнуто какое-либо прочное соглашение.

У меня остается мало места, но мне хочется еще, хотя бы в нескольких словах, коснуться поднятого Ф. А. Степуном вопроса о морально-исторической ответственности деятелей Февраля — ответственности, которую он не сваливает целиком на других, но принимает и на себя. «Чья вина перед Россией тяжелее — пишет он в начале второго тома — наша ли, людей Февраля, или большевистская — вопрос сложный». К этому он тут же прибавляет, что «за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячие служители добра», и этим в сущности признает вину людей Февраля более тяжелой. В следующем же параграфе уже прямо говорится, что будущему историку будет легче «простить большевикам» чем «оправдать Временное Правительство». Я понимаю и ценю те мотивы, которые руководили Ф. А. в данном случае, но всё-же не могу не выразить некоторого недоумения. Почему, говоря в последней части первого тома в сущности о том же, но в отношении к Западной Европе, он как будто применяет к ней другую мерку? «Зло либерального 19-го века — пишет он там — было в конце концов, лишь неудачею добра. Сменивший же его 20-й век начался с невероятной по своим размерам удачи зла». И дальше: «Зло 19-го века было злом еще знавшим о своей противоположности добру. Зло же 20-го века этой противоположности не знает. Типичные люди 20-го века мнят себя... 'по ту сторону добра и зла'... Думается, что их 'великие дела'... никогда не преобразятся в памяти 'благодарного' потомства в светлые подвиги». Здесь весь тон совершенно другой: виновным лишь в неудаче добра отдается явное предпочтение перед носителями торжествующего зла, а делам последних не обещается оправдание

со стороны будущего историка. Суд будущих историков меня, признаться, особенно не беспокоит. Очень часто историки признают неизбежным просто то, что произошло, а от признания неизбежности легко переходят к утверждению благотворности совершившегося. Как противоядие против такого фактопоклонства, суд иад историей мне кажется гораздо важнее суда истории. Думаю, что с этим Ф. А. Степун согласится. Конечно, в этом суде над историей не должно быть ни произвола, ни, в особенности, самодовольного чувства собственной непогрешимости. Я отнюдь не против признания своих и своего поколения грехов. Но ведь и избыток покаяния, как это показывает в своей известной притче* Владимир Соловьев, может иметь губительные последствия.

Перечитывая то, что я написал, вижу, что своему несогласию с Ф. А. Степуном я уделил непропорционально много места. Думаю, впрочем, что это почти неизбежно: о согласии можно просто заявить, несогласие же приходится обосновывать. К тому же воспоминания Ф. А. Степуна так задевают за живое и поднимают столько «самых важных» вопросов, что спорить с ним очень интересно и для спорящего полезно. Скажу еще, что в моих глазах ни один из недостатков, которые я — правильно или неправильно — в книге Ф. А. Степуна отметил, ценности ее не понижают. Уверен, что она останется в русской литературе и как выдающийся образец художественной прозы, и как важное свидетельство современника о нашей эпохе.

М. Карпович

^{*} См. «Три разговора», Разговор второй.

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ М. А. АЛДАНОВА

В истории русской эмиграции это одна из тех дат, которые не могут остаться неотмеченными.

В лице М. А. Алданова эмиграция видит не только одного из выдающихся русских писателей нашего времени, сумевшего получить широкое международное признание. Для нее он еще и один из самых любимых писателей, с которым она ощущает себя особенно тесно связанной.

У «Нового Журнала» есть и свои особые основания для празднования юбилея М. А. Алданова. Он был одним из инициаторов и основателей журнала. В годы своего пребывания в Америке он принимал самое деятельное участие в судьбе нашего издания и был постоянным и незаменимым советником во всех его редакционных делах.

Нечего говорить, что как тогда, так и после своего возвращения в Европу, он был также одним из наиболее ценных наших сотрудников. С чувством глубокого удовлетворения думаем мы о том, что на страницах «Нового Журнала» впервые печатались «Истоки» и что позднее у нас же были напечатаны «Повесть о смерти» и «Бред».

Вместе со всеми его многочисленными друзьями и почитателями, мы приносим Марку Александровичу дань нашей признательности и от души шлем ему наши лучшие пожелания.

Редакция

БИБЛИОГРАФИЯ

ПО ПОВОДУ КНИГИ А.В.КАРТАШЕВА «ВОССОЗДАНИЕ СВЯТОЙ РУСИ»*

«Лозунг воссоздания», пишет А. В. Карташев, не следует понимать «в смысле пассивном»... «Перед нами уже предостерегающая каррикатура на добродетель пассивизма в виде советской церкви, не борющейся за Св. Русь и не только пассивно подчиняющейся активно анти-христианской власти, но и усердно ей услужающей» (стр. 7). «Чтобы вылезти из этой трясины грехопадения, не мешает подумать об активных путях и способах нашего восстановления, о созидательной активности» (стр. 8), «Творческая вера требует не созерцания только, но и действия». Задача заключается в том, «как в среде безверного и расхристианившегося человечества создать 'град Божий'. Так как по элементарным законам истории исключается реставрация Св. Руси, в Киевском, в Московском или в Петербургском виде, то остается лишь творческое возрождение, воссоздание є в новом стиле неведомого грядущего» (стр. 20). Это грядущее представляется А. В. Карташеву как установление нового особого теократического порядка.

И вот в толковании понятия теократии А. В. Карташев допускает то, что в логике называется quaternio terminorum, т. е. употребление одного и того же термина в двух различных смыслах. Говоря о положении церкви в современном правовом, внеконфессиональном государстве, А. В. Карташев так определяет задачи государства и церкви: «У государства одна своя собственная верховная цель: вести народы к земному благополучию и накоплению ценностей человеческой культуры. У церкви — своя: спасать души верующих от этого ограниченного земной жизнью идеала, от этого нового язычества, делать людей сынами евангелия, а всё земное благополучие и всю культуру с опекающим их государством вновь покорить внутренне Христу... Это и есть кафолическая задача и природа церкви... Это и есть пути новой теократии церкви в невольном отделении от нового государства, но в упорном его покорении сво-

^{*} А. В. Карташев. Воссоздание Святой Руси. Париж. 1956.

ему духовному влиянию силами и средствами *чисто-духовными*» (стр. 88, 89). Мы полагаем, что такая деятельность церкви едва ли может быть названа теократией, по крайней мере, в обычном понимании слова.

Но у А. В. Карташева есть и другое понимание теократии, осуществление которой он видит в Византии и Московской Руси. По официальной византийской терминологии это «симфония». «Символом и формой византийской теократической симфонии двух властей было возглавление единого церковно-государственного организма двумя высокочтимыми фигурами царя и патриарха» (стр. 106). Здесь церковь уже не ограничивается одними чисто духовными средствами, но, опираясь на свой союз с государством, может располагать и известными формами принуждения. Таким образом, при «симфонии» мы имеем действительную теократию, и по такой теократии тоскует А. В. Карташев: «Не стало у православия царя, миропомазанного защитника. Может быть долго не будет. А может быть и совсем не будет. Какое православное сердце не оплачет эту незаменимую потерю!» (стр. 184-185). И, если монархия невосстановима, то всё же А. В. Карташев мечтает о союзе церкви с умеренной диктатурой (стр. 61 и 213).

В своей тоске о теократии А. В. Карташев едва ли прав.

Думается, что одной из основных черт русского православия является тот дух свободы, который всецело проникает его, и думается, что русскому православию чужд идеал теократии. Ведь основным принципом теократии является положение compelle intrare (принудь войти) и всякая «кратия» (власть) неизбежно заключает в себе момент насилия и компромисса и в то же время связана с определенными историческими формами. «Но церковь», как говорит С. Н. Булгаков, «стоит выше всех исторических форм и судит их высшим судом совести» («Православие и социализм», Вестник Р. С. Х. Д., 1930). Таким высшим судом совести и была русская православная церковь в первый период своего существования. Тот же теократический идеал, который был выработан публицистами XVI века, представляет искажение русского православия и связанного с ним понятия Св. Руси.

Являясь олицетворением совести, церковь воспитывала народ и была прогрессивной силой в его жизни. Она несла народу просвещение и стремилась исправить его воззрения в области права, семейной жизни и общественных отношений. Она создала для русского человека идеал — идеал святости. Совершенно прав А. В. Карташев, когда говорит, что термин «Святая Русь» — есть глас народа, что он родился и хранился в неписанном народном преда-

нии «каликами перехожими», в так называемой народной литературе, и не является искусственным плодом «литературных выдумщиков» (стр. 29, 30). Если мы проанализируем те мысли и настроения, которые дали основание русским людям называть свою родину Святой Русью, и которые, хранясь в глубине народного сознания, были определяющим моментом в идеологии ее лучших деятелей на протяжении всей русской истории, то, пользуясь указаниями Г. П. Федотова (Russian Religious Mind), мы можем отметить следующие характерные черты.

Прежде всего приходится подчеркнуть глубоко-этическое настроение, имеющее при том несомненный социальный аспект. Этот социально-этический аспект в понимании христианства сохранился в православии и до настоящего времени. Наряду с социальным моментом русское христианство подчеркивает космологический аспект религии. В конце истории все люди, объединенные любовью к Христу и друг к другу, вновь воссоединятся с Богом и вместе с тем преобразуется весь мир.

Древняя Россия не знала аскетического отрицания культуры. В литературе Киевского периода мы постоянно встречаемся с восхвалением мудрости и в частности книжной мудрости. В высшей степени показательны в этом отношении русские жития святых: все русские святые в их детстве являются ревностными учениками. Так церковь воспитывала в русском народе любовь к просвещению.

В отношении к государственной власти в Киевской Руси существовала ее обще-христианская оценка. Князь наделялся высоким достоинством и народу вменялось повиноваться ему, как Божьему слуге. Но Киевская Русь была далека от какого бы то ни было обожествления власти: божественная инвеститура требовала от носителя власти повиновения религиозному и нравственному закону. Не останавливаясь на других характерных чертах русского религиозного сознания Киевского периода, укажем только еще на один момент, коренным образом отличающий идеологию Киевского периода от Московского.

В Киевский период нельзя говорить о русском мессианизме в смысле единственности и исключительности религиозного призвания. Все народы призваны Богом, в их числе — и русский. Этот взгляд происходит от универсальной экуменической точки зрения, а не от национальной (ср. Russian Religious Mind, стр. 365-412).

В высшей степени существенным является и то, что церковь воспитывала народ не путем внешней дисциплины, а путем живого примера, который давался монастырями и их руководителями-святыми. «В этом отношении исключительное значение имел Св. Фео-

досий Печерский, подлинный монах и аскет, но аскеза у него подчинена любви. Служение любви, служение миру на долгое время становится традицией русского монашества, и именно эта традиция влекла народ к монастырям».

Русские святые были теми корнями, на которых росла русская культура. Основой этой культуры было свободное и искреннее признание безусловного нравственного авторитета. Не стоящая над народом элита руководила сознанием русского народа, а вышедшие из народа подвижники. Константин Аксаков говорил, что народ готов отдать правительству всю силу власти, но хочет сохранить за собой свободу мнения. В древней Руси выразителем этого свободного мнения народа была церковь в лице ее лучших представителей. «Церкви, — говорит Г. П. Федотов, — легко было учить миролюбию и верности крестному слову буйных, но слабых князей, мало связанных с землей и раздираемых взаимными усобицами. Но великий князь и позднее царь московский стал грозным государем, не любившим встречи. И голос церкви во дворце государевом стал тише, приглушеннее. Не обличая, не грозя, церковь, в лице митрополита и патриарха, печаловалась за опальных, стараясь смягчить жестокость государственного разума».

Голос церкви был приглушен преобладанием тех принципов, которые с середины XVI века стали официальной государственной идеологией. По мнению А. В. Карташева, мы имеем здесь величайшее достижение: «Выше этих высот и шире этих широт русское национально-религиозное и религизоно-национальное сознание по существу никогда не подымалось... Русское самосознание от самых пелён своих как-то сразу вознеслось на свою предельную высоту. И в этом величии своих помыслов, в некотором их максимализме, вскрыло природу России, как лона мировой культуры... И не было более в истории русского самосознания мгновения равного этому, по захватывающей новизне, по оплодотворяющему творческому вдохновению» (стр. 27-38).

Но дальнейший ход истории показал, что торжество идей, связанных с теорией Третьего Рима, вопреки мнению А. В. Карташева, было не высшей точкой в развитии русского самосознания, а началом того падения церкви, которое завершилось реформой Петра и последующей церковной политикой русских императриц и императоров.

Заменив идеал святости и смирения гордым сознанием особого избранничества и мессианской роли русского народа, идеологи Третьего Рима одновременно подчиняли церковь государству, ставя своей главной задачей оправдание и укрепление возникавшего

самодержавия. Вместе с тем, может быть, не сознавая этого ,они попирали все те начала, которые таились в истинном понятии Св. Руси, сложившиеся в Киевский период и продолжавшие жить в глубине русской души даже и до настоящего времени.

Создателем новой теории был Иосиф Волоцкий и его последователи. Тесный союз церкви и государства — такова была главная их цель. Поддерживать государственную власть и за это самим пользоваться ее поддержкой—такова была задача «осифлян». Иосиф готов был считать торжество московских государственных порядков — торжеством и самой церкви и содействовал ему всеми возможными средствами. Ту же иосифлянскую политику проводил и митрополит Даниил. Но именно пользование всеми возможными средствами, как например, беспощадное истребление еретиков или допущение митрополитом Даниилом клятвопреступления во имя государственных целей, проповедь «благопремудростного и ботонаученого коварства» делало их политику безнравственной и унижало церковь.

Возвышая московского великого князя, перенося на него все права византийского императора, как единственного защитника православия, иосифляне в то же время будили в народе гордый национализм, убеждая народ в том, что только русские являются истинными носителями христианства в противоположность не только латинянам, но даже и грекам. В своей же литературной деятельности иосифляне были ярыми отрицателями того духа свободы, который мы находим у их противника Нила Сорского и его последователей. Религиозный национализм и слепое преклонение перед обрядом и книгой, два момента, сыгравшие такую видную роль в расколе, были в значительной мере делом иосифлян.

Идеология, разрабатывавшаяся иосифлянами, была вполне усвоена Иваном Грозным. Увлеченный идеей божественного происхождения царской власти, отстаивая эту идею против мнимых врагов, он поколебал самые основы государственного порядка и подготовил смуту. Великое потрясение московского государства, вызванное смутой, сопровождалось не только хозяйственной разрухой, но и страшным упадком нравов. Последнее вызвало, по словам Пьера Паскаля (Avvakum et les debuts du Raskol) стремление к реформе. «Но связанные с этим стремлением чаяния носили разный характер: с одной стороны чувствовалась потребность определенной регламентации — исправления обрядов и книг, с другой — признание необходимости нравственного возрождения». Осуществление нравственного возрождения церкви было задачей так называемых «боголюбов», к которым принадлежал ряд будущих деятелей раскола с протопопом Аввакумом во главе.

Стремясь к внутреннему возрождению религии в ее истинно христианском духе, «боголюбы» полагали, что реформа должна начаться с изменения положения приходского духовенства. Они хотели поднять положение священника на подобающую высоту, чтобы он не ограничивался пассивным послушанием, но, советуя и порицая, оказывал духовное воздействие на своих прихожан, гражданские власти и даже на самих епископов (ср. Паскаль, стр. 27, 59, 390). «Боголюбы» полагали, что истинная власть церкви заключается не в ее внешнем величии, а исключительно в ее нравственном воздействии на окружающих. Никон, когда-то разделявший стремления «боголюбов», исказил их идею, заменив ее идеей внешней власти. Он думал возродить церковь установлением той формы теократии, которая известна под именем «симфонии». Никон не понимал, что высокий авторитет церкви достигается только той нравственной высотой, которую проявлял митрополит Филипп и другие святители церкви. Он думал, что этот авторитет достигается внешними средствами. Власть патриарха должна быть поставлена в глазах народа на ту же высоту, как и власть царя. И вот внєшнее, видимое величие патриаршей власти становится одной из главных забот Никона.

Но главным было то, что увлеченный высокой идеей патриаршей власти, Никон проявлял ее в резком, насильственном характере своих реформ. Ведь исправление книг началось задолго до Никона: над этим трудились и Максим Грек и игумен Дионисий, и их деятельность не вызвала раскола. Никон же, хотя и предполагал, что он только стремится очистить книги и обряды, возвратить их к первоначальным греческим источникам, вследствие своей грубой авторитарности представлялся своим противникам ожесточенным новатором, готовым разрушить всё, в чем русские люди испокон веков находили своё спасение. В то же время, согласно известным заветам теократии, он пытался насильственно загнать в новую, созидаемую им церковь весь русский народ. Отсюда его преследование всех несогласных с ним. Безжалостная жестокость Никона, как говорил священник Неронов, не имеет ничего общего с христианским милосердием, а напоминает гонителей церкви и предвещает пришествие антихриста. И этот мотив постоянно повторялся в заявлениях всех вождей раскола и имел глубокое влияние на народ. Вера преследуемая представлялась более чистой и достойной почитания, чем вера преследователей. Никон вызвал раскол и добился результатов прямо противоположных своим намерениям.

«Осудивший Никона собор 1666 г. осудил в то же время и его идеи о превосходстве патриаршества над царством, об абсолют-

ной власти патриарха в религиозных вопросах и о его правах в вопросах государственных... Правда, собор признал, что каждая из двух властей суверенна в своей области, но Лигарид и два восточных патриарха в течение прений столько раз повторяли, что непослушание царю заслуживает анафемы, что царь свят, что царь Бог, что результаты постановления собора практически означали утверждение бесконтрольной светской власти» (Паскаль, стр. 390).

Некоторое время церковь оставалась без патриарха. Новым патриархом был избран Иоаким. «У него нет теократической амбиции, нет и интереса к вопросам чисто религиозным... Он деятель государственной церкви, той своеобразной церкви, которую затем Петр только усовершенствует в своих целях, но все предпосылки которой он нашел уже подготовленными» (Паскаль, стр. 498). Таким образом, церковная реформа Петра не была чем-то совершенно неожиданным в истории русской церкви, а явилась результатом того исторического процесса, который начался проповедью Иосифа Волоцкого и закончился торжеством абсолютизма и полного подчинения церкви государству.

Сам А. В. Карташев так характеризует новое положение церкви: «Суть перемены... не во внешней замене единоглавия многоглавием, а в уничтожении церковного происхождения этой реформы власти и управления в церкви... Синод был не церковное, а государственное учреждение, одно из министерств, которое законодательствовало и управляло 'по указу Его Императорского Величества'» (стр. 106). «Зависимая от государства служебно и материально церковная иерархия приобрела чиновничье, бюрократическое самочувствие» (стр. 108). Если во главе церкви стали иерархи-бюрократы, то положение подчиненного сельского духовенства было совершенно безотрадно. «Вплоть до императора Павла священникам продолжало грозить телесное наказание... Духовенство находилось в пренебрежении у дворянства как «подлый род людей»; оно создало себе репутацию мздоимцев в крестьянской среде и его в свою очередь эксплуатировал архиерей, который в старину нередко обращался с попами, как с крепостными. Такое духовенство лишено было возможности добиться со стороны паствы уважения, которое подобало его сану». (П. Н. Милюков, «Очерки по истории русской культуры», т. II, стр. 111).

Такая церковь не могла уже быть тем голосом совести, каким она была когда-то. «Мертвенность сковывала уста даже самых талантливых и блестящих церковных витий, которыми нескудна была земля русская» (Воссоздание Св. Руси, стр. 109).

Молчание церкви особенно знаменательно в 19 столетии. С конца 18 века основной государственной и нравственной проблемой в России становится вопрос о крепостном праве. Но церковь хранила пассивное молчание по этому вопросу. Не протестовала церковь и против жестоких телесных наказаний, которые в некоторых случаях превращали отмененную законом простую смертную казнь в смертную казнь квалифицированную. Когда церковь потеряла свое руководящее значение народной совссти, воспитанное самой церковью народное стремление к воплощению в жизни правды и справедливости перешло в революционное движение, в котором оно однако приняло извращенную форму. Вся глубина трагического противоречия, создавшегося в некоторых слоях русского общества, охваченных мыслью, что правда несовместима с деятельностью современного государства, раскрылась 1-го марта 1881 г., когда идейно чистые и самоотверженные люди решились убить лучшего из русских государей.

Трагичны были и события непосредственно за этим последовавшие. 28-го марта 1881 г. Владимир Соловьев, один из последних романтиков царской власти, прочел публичную лекцию, сущность которой он изложил в своем письме к Александру III. «Веруя, что только духовная сила Христовой истины может победить силу зла и разрушения, проявляемую ныне в таких небывалых размерах, веруя также, что русский народ в целости своей живет и движется духом Христовым, веруя, наконец, что царь России есть представитель и выразитель народного духа, носитель лучших сил народа, я решился с публичной кафедры исповедать эту свою веру. Я сказал в конце своей речи, что настоящее тягостное время дает русскому царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского всепрощения и тем совершить величайший нравственный подвиг, который и поднимет власть его на надлежащую высоту и на незыблемом основании утвердит его державу».

Мирянин, но глубоко верующий человек, взял на себя тот долг печалования, который когда-то выполняли патриархи русской церкви. Он явился выразителем глубочайшей совести русского народа. В речи Соловьева мы видим последнюю попытку убедить власть, что со злом революции следует бороться не простым противопоставлением ей силы, а противопоставлением истины Христовой. В наше время, когда все помыслы направлены на борьбу с коммунизмом, эта мысль Соловьева приобретает особое значение. Неудача же Соловьева явилась новым крушением идеи «симфонии», которая предполагает, что во главе государства стоит царь, вся деятельность которого обусловлена христианскими принципами. Александр III, под влиянием официального руководителя церкви, Победоносцева, решил иначе: злу революции был противопоставлен не акт

веры, не нравственный подвиг, а сила. Но революция оказалась сильнее...

Победившие в 1917 г. большевики поставили себе задачей уничтожить церковь.

Но можно ли думать, что эту задачу им удастся осуществить? Свое замечательное исследование о начале раскола Пьер Паскаль посвящает "Christiano quondam et ad hoc magis in futurum Russorum populo" (русскому народу, когда-то христианскому, христианскому еще и до сих пор, но более в будущем). Для таких надежд мы имеем основание как в нашем прошлом, так и в нашем настоящем.

Наряду с иосифлянским течением, которое получило преобладание в официальной церкви, в России всегда существовало и течение противоположное, в котором сохранилось понятие святости, унаследованное от Киевской Руси. Нил Сорский и его последователи, заволжские старцы, в противоположность стремлению к слиянию церкви с государством требовали строгого разделения их и взаимной независимости. Их учение было проникнуто духом внутреннего христианства и той нравственной свободы, которая неотъемлема от истинной религиозности. «Голос заволжских старцев и их последователей неумолчно раздавался против иосифлян, пока оставалась какая-нибудь надежда преодолеть господствующее течение. Голос этот смолк или, точнее говоря, был подавлен только после окончательного торжества национально-религиозной партии в середине XVI века» (П. Н. Милюков, Очерки, т. II, стр. 35).

Но внутреннее понимание христианства продолжало жить в глубине русского сознания, главным образом, в монастырях. В конце XVIII века, под влиянием Паисия Величковского, это понимание углубилось и проявило новую жизненность. Во многих монастырях, из которых особенно известна Оптина пустынь, ожила древняя традиция старчества. Влияние старцев выходило за пределы монастырских стен и оказывало на мирян то действие, которое в значительной мере было утрачено официальной церковью.

«В то же время, — как говорит Паскаль, — церковь, установившаяся после раскола и реформ Петра, была той церковью, в которой жили десятки миллионов простых искренно верующих русских людей. Вопреки недостаточности ее проповеднической деятельности, подчиненности ее епископата и посредственности ее служителей, они находили в ней удовлетворение своих умственных, нравственных и религиозных потребностей» (Паскаль, стр. 565).

В лаицизированной Петром русской интеллигенции, относившейся если не враждебно, то, во всяком случае, индиферентно к религии, с 40-х годов XIX ст. начинает пробуждаться интерес к религиозным вопросам. Владимир Соловьев и его последователи показали, что религиозная философия может дать удовлетворение самым утонченным умам и что она много глубже, чем господствовавший в XIX ст. позитивизм и сменивший его материализм.

Наконец, — и это, может быть, самое важное, — не может остаться бесследным тот мученический путь, которым прошла русская церковь при новой безбожной власти, а вместе с ней и весь русский народ. Всё это дает основание верить, что должно наступить религиозное возрождение России, и мы вновь будем иметь право говорить о «Святой Руси». Но такое возрождение, вопреки утверждениям А. В. Карташева, может совершиться только в свободной, независимой от государства церкви, чуждой каким бы то ни было теократическим замыслам. Этому учит вся наша история.

М. Поливанов

SERGEI BERTENSSON AND JAY LEYDA. Sergei Rachmaninoff. New York University Press. 1956.

Рахманинов был «реабилитирован» в Советском Союзе в годы второй мировой войны. С тех пор советские музыковеды выпустили несколько трудов о нем и издали значительную часть его переписки. Немало книг о Рахманинове вышло и в Америке, на его второй родине, где он прожил послєднюю треть своей жизни. Но среди этой довольно обширной литературы, может-быть, на первое место следует поставить недавно вышедшую книгу Бертенсона и Лейды.

Для этого есть много оснований. Прежде всего авторам удалось собрать исключительный по полноте материал. В этом им помогли многочисленные друзья, коллеги по искусству и родственники Рахманинова, особенно же сестра жены покойного композитора — С. А. Сатина. Во-вторых, книга обладает превосходными литературными качествами. Тон повествования спокоен и сдержан. Очень хороши переводы писем на английский язык. В-третьих, вся историко-хронологическая часть книги безупречна. И, наконец, большим достоинством книги является ее совершенная объективность. Расположенные в хронологическом порядке подлинные материалы (главным образом, переписка), связаны авторским текстом в безупречный по форме, увлекательный рассказ, но «комментариев» авторов, их собственных «мыслей по поводу» в книге нет, так же как нет и анализа музыки Рахманинова. И от этой нарочитой сдержанности книга не только не проиграла, но, наоборот, значительно выиграла. Сдержанность авторов, их немногословие там, где речь идет о творческом процессе, о духовном мире композитора — эти особенности книги оказались соответствующими личности самого Рахманинова, свойствам его характера. Общий тон книги необычайно близок облику ее героя. И думается, если бы композитор был жив, то из всех книг о нем он, вероятно, предпочел бы книгу Бертенсона и Лейды.

Авторы не анализируют творчества Рахманинова — не любил говорить и писать об этом и сам покойный композитор. Откровенно говоря (да простят мне музыковеды) есть всегда в большей или в меньшєй степени нечто надуманное, кабинетное, во всех литературных сочинениях о музыке. Их педагогическое зачение, конечно, оспаривать не приходится, но все-таки томы, исписанные учеными знатоками о какой-нибудь симфонии, никогда не расскажут о ней того, что так легко откростся каждому слушателю во время хорошего исполнения этой-же симфонии на концертной эстраде. Личность большого композитора — в его творчестве, и обратно, это творчество зеркало его души. И потому факты, которые узнают читатели из книги Бертенсона и Лейды о Рахманинове, вполне совпадут с образами его музыки. Духовно Рахманинов принадлежал прошлому веку, он был консервативным человеком и таковым было и его творчество. Это совершенно бесспорно, несмотря на многие новые влияния в его музыке (в том числе даже джаза), несмотря на то, что виртуозная техника его пианизма была глубоко современна и что он прожил свою творческую и артистическую жизнь в самом центре музыкальных свершений нашего века. Рахманинов никогда не мог принять до конца музыку таких его современников как Стравинский и Прокофьев (исключение составляли лишь два первых балета Стравинского) и он молча солидаризировался со словами Медтнера, сказанными последним на концерте из произведений Прокофьева в Москве 5 февраля 1917 года «...если это музыка, то я не музыкант». В натуре Рахманинова что-то общее было с Буниным. Оба были очень русскими, строгими к себе и к другим, оба были классиками по вкусам и оба принадлежали прошлому. И как люди прошлого, оба никогда не могли до конца разобраться в суетливом беге событий настоящего — да вероятно и не стремились разбираться.

Структура книги — ее зависимость от документальных материалов (переписки, газетных статей, интервью и т. д.) — определила некоторую неравномерность повествования. Одни периоды жизни Рахманинова оказались освещены более полно нежели другие. Приведено много материалов о годах его путешествий и сравнительно меньше о времени его жизни в Москве. В особенности это относится к моментам его интенсивной работы над некоторыми из его крупных сочинений. Так напр. читатели немного узнают о Втором, и особенно, о Третьем фортепьянных концертах и обо всем, что с ними связано. Однако этот несущественный недостаток не

относится к американскому периоду — последний весь представлен с исчерпывающей полнотой.

«Рахманинов» Бертєнсона и Лейды — целый вклад в литературу о русском музыкальном искусстве и большая радость для каждого, кто его любит и им гордится.

Ю. Елагин

БАРОНЕССА Л. ВРАНГЕЛЬ. Семья Раевских. Париж, 1956.

Когда в литературных кругах Парижа стало известно, что печатается книжка бар. Л. С. Врангель «Семья Раевских», я ждал выхода ее не только с иетерпениєм, но и с волнением. Семья Раевских так связана с русской культурной жизнью начала девятнадцатого века, с его военной славой, декабризмом, она была также связана и с русской литературой, с Пушкиным, с братом Пушкина, с Грибоедовым, Лермонтовым. Мое нетерпение было понятно. Я был уверен, что найду ответы, которые интересовали многих и особенно пушкинистов (сколько вопросов требуют разрешения!). У меня не было сомнения в том, что книжка будет превосходная, за это ручалось имя ее автора, прекрасной мемуаристки.

Книжка наконец вышла в свет и вызвала большое разочарование. В ней не оказалось истории декабризма, «образы минувшего века» оказались бссцветными, Александр Раевский, «демон Пушкина» и его коварный друг, остался такой же непонятной фигурой, какой он был и до появления книжки бар. Врангель. О Екатерине Николаевне Раевской, о которой Пушкин говорил, что мнением этой женщины он дорожит больше чем мнениями всех журналов на свете, — сказано несколько слов; легенда Щеголева о Марии Николаевне Раевской, как о единственной «утаенной любви» Пушкина, не нашла себе ни подтверждения, ни опровержения, а она очень стоила этого. Автор же ограничился только цитатой из Марии Николаевны, что «в сущности он обожал только свою поэзию и то, что видел». Никакой «Семьи Раевских» в книжке нет, между тем Пушкин жил с Раевскими и впоследствии вспоминал, что счастливейшие минуты жизни он провел в этой семье и что он очень многим обязан Раевским.

Бар. Врангель назвала свою книжку «образами минувшего века», но в этой книжке-брошюрке (а Раевские заслуживают большого исследования!) нет ни одного живого образа. А ведь бар. Врангель обладала громадным количеством материалов (и в том числе замечательным архивом Раевских под редакцией Б. Л. Модзалевского).

Не так надо писать о таких замечательных людях, как Раевские. Книжка эта, увы, является пустым местом в истории декабризма и пушкинизма и не заслуживает снисхождения. Единственное

положительное, что можно сказать о «Семье Раевских», это то, что в ней нет фантазий, но в ней нет и ни одной мысли, которая заставила бы задуматься и приковывала бы внимание читателя. Не следовало приниматься за задачу, которая не под силу, и выходить из своего маленького мирка, в котором автор был хорош.

М. Гофман

ГЛЕБ СТРУВЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ. Из-во имени Чехова. Нью Иорк. 1956.

Как первый «опыт исторического обзора» эмигрантской литературы, книга Г. П. Струве заслуживает серьезного внимания. Задача, поставленнаая себе автором, была не из легких. Писать историю современной литературы вообще трудно, а литературы эмигрантской — в особенности. Подобно самой эмиграции она пребывает в рассежкий и потому лишена той «организованности», которая в той или иной мере присуща всякой литературе, развивающейся в пределах национальной территории. Трудность эта несомненно учитывалась и самим автором. О книге своей он говорит, как о «предварительных итогах» и «так сказать приблизительном инвентаре» зарубежной русской литературы в первый, довоенный период ее существования. На самом деле это гораздо более чем инвентарь, в котором итогов вообще не бывает. Автор распределил весь собранный им материал в соответствии с определенной схемой и, как это и полагается историку литературы, сопроводил его критическим комментарием.

Книга разделена на две части, из которых первая посвящена периоду «становления» (1920-1924 гг.), а вторая — периоду «самоопределения» (1925-1939 гг.) эмигрантской литературы. В пределах каждой части в первых главах говорится об общих условиях се существования (в том числе - о журналах, издательствах, писательских организациях). Дальше рассматриваются отдельные писатели, сначала прозаики, потом поэты, при чем и те и другие разделены на старшее и младшее поколения (во второй части со старшим поколением соединено еще среднее). Во многих случаях это ведет к тому, что об одном и том же писателе говорится в обеих частях, а иногда — когда писатель и поэт и прозаик — єще и в двух разных отделах каждой части. Если хронологическое «рассечение» творчества писателя кажется мне в историческом обзоре оправданным, то я не могу сказать того же о разлучении его прозы н поэзии. Впрочем, это едва ли создает большие практические неудобства, так как с помощью очень подробного оглавления, читатель без особого труда сможет найти всё относящееся к тому или другому писателю.

В некоторых уже появившихся отзывах о книге Г. П. Струве значительное место занимали указания на неполноту его обзора эмигрантской литературы. Я готов сму сделать противоположный упрек — в том, что он стремился включить в него слишком много. Вопреки довольно распространенной в России традиции (еще дореволюционного происхождения), я считаю, что предметом истории литературы должна быть только литература «художественная». Это не исключает, конечно, введения в историко-литературную работу некоторых смежных тем в качестве вспомогательного материала. Считаю, что Г. П. Струве поступил правильно, уделив некоторое место эмигрантской журналистике и литературной критике. Большинство указываемых им периодических изданий относится к категории либо чисто литературных журналов, либо журналов боле общего содержания, с постоянными литературными отделами. Но иногда и почему-то (на мой взгляд, напрасно) он говорит и о журналах к литературе, — в том более узком смысле, в каком я здесь это слово употребляю, — отношения не имеющих. На его месте я не включил бы в книгу ни публицистики, ни философской прозы, ни мемуарной литературы в целом. Конечно, как всякое правило, и это не может быть соблюдаемо без исключений. Воспоминания Герцена к литературе несомненно относятся, тогда как воспоминания Витте столь же несомненно не относятся. Думаю, что в том различении, которое я делаю, ничего произвольного нет. Поскольку литература есть словесное искусство, критерий здесь может быть только эстетический. «Былое и думы» художественное произведение, а воспоминания Витте, будучи выдающимся историческим документом, к художественной прозе отнесены быть не могут. Не вижу оснований, почему такое же разграничение не должно быть применено и к эмигрантской литературе. В ее историю я включил бы воспоминания Ф. А. Степуна (вышедшие уже после того, как книга Г. П. Струве была написана), но не включил бы ни воспомчнаний В. Н. Коковцева, ни воспоминаний П. Н. Милюкова.

В одном месте своей книги, упоминая о младороссах и национальном союзе нового поколєния, Г. П. говорит, что уделять им место в истории зарубежной литературы не приходится, так как они «принадлежат скорее к политической истории эмиграции». Но он тут же делает исключение для группы «пореволюционного течения» на том основании, что она «сыграла роль в зарубежной литературе в широком смысле слова». Вот это-то расширение понятия «литературы» я и считаю ошибкой. Мне кажется, что ни «пореволюционное течение», ни сменовеховство, ни евразийство на место в исто-

рии эмигрантской литературы претендовать не могут, как не может претендовать на него и какое-либо другое политическое тєчение. О них можно было бы упомянуть только в том случае, если бы в художественной литературе нашлось их отражение. Да и тогда, с литєратурной точки зрения, их идеи были бы интересны не столько сами по себе, сколько как материал для литературного творчества. То же самое относится, конечно, и к философским идеям.

Думаю, что можно было обойтись и без страниц, на которых говорится о «литературе около литературы» (характеристика эта принадлежит Г. П. Струве). Автор ссылается на факт ее популярности в широких кругах эмиграции. Но факт этот относится скорее к истории читательских вкусов, чем к истории литературы. По соображениям другого порядка, я склонен считать излишним и включение в книгу периода после 1939 года (хотя бы и в форме послесловия). Сам же автор признаєт, что к литературе последних пятнадцати лет нельзя еще подходить исторически — даже в той мере, в какой это более или менее возможно по отношению к литературе довоенного периода.

Мне кажется, что по вопросу о том, что составляет предмет истории литературы, у нас с Г. П. Струве большого расхождения быть не может. Если же он всё-таки включил в свою книгу материал «нелитературного» характера, то боюсь, что он сделал это подлаешись соблазну «полноты». Этим он напрасно усложнил свою и без того непростую задачу, а вместе с тем лишился некоторого числа страниц, которые могли бы быть использованы с большей пользой для книги. Страниц этих, правда, не так уж много, но при обилии материала и при заведомо ограниченном размере книги автору следовало быть особенно экономным. Лишние страницы дали бы ему возможность расширить части, посвященные отдельным писателям, и развить некоторые из своих критических замечаний. Так меня, например, очень заинтересовало его утверждение о влиянии Андрея Белого на прозу В. В. Набокова-Сирина, но он не говорит, в чем именно он это влияние усматривает. Есть у него ряд и других интересных замечаний, которые хотелось бы видеть в более развернутом виде. Со многим из того, что Г. П. Струве говорит о разных писателях, я согласен, но кое с чем и несогласен. Смущает меня например, его категорическое заявление, что в романах того же Набокова «нет живых людей» и что у «персонажей его нет души». В литературной критике убедительность аргумента «от души» всегда казалась мне сомнительной: разные бывают души и по-разному могут они себя выражать. Создачные писателем образы могут быть «живыми» совсем по-иному чем живые люди, встречаемые нами «во плоти». Достаточно сослаться на Гоголя, у персонажей которого «души» во всяком случае не больше чем у набоковских. Отмечу также, что, на мой взгляд, Г. П. Струве недооценивает поэзию Георгия Иванова и что определение её как «нигилистической» сути ее отнюдь не выражает.

Есть в книге Г. П. Струве как отдельные фактические неточности так и некоторые стилистические погрешности, которых я у него вообще встречать не привык. Предполагаю, что тут сказалась та спешка, в какой ему пришлось эту книгу писать. Но несмотря на эти и на другие, указанные мною, недостатки, я всё же признателен ему за выполненную им пионерскую работу. Думаю, что не только я, но и другие его читатели найдут в его книге много для себя интересного и полезного, иногда — нового, а часто — основательно забытого.

М. Карпович

НАТАЛЬЯ КОДРЯНСКАЯ, Глобусный человечек. Париж. 1955.

Писать сказки — подвиг в наши дни. Сказку давно отдали детям. В ней наше серьезное время не любит того, что составляет ее отличительный признак — вымысел. Вот почему особое значение приобретает опыт тех писателей, что упорно стоят на позициях сказочного вымысла. Н. В. Кодрянская не впервые выступает в этом жанре. В старину сказочный мир так же мало подвергался сомнению как в XIX веке мир реалистических романов. И ныне как бы ни относилась к сказке толпа или литературная элита, сказочник не должен ни словом вызывать сомнения в правдивости всего, о чем он рассказывает. Больше всего он должен бояться позитивистской мотивировки чудесного. Если глобус начинает светиться, и его таинственный обитатель появляется после того как Дикси засыпает, если спасение от погони ужасного Надума происходит посредством пробуждения, если все вообще волшебные приключения Дикси оказываются сном, то в этом прямая угроза для сказки. Сон есть сон. И было бы неправильно ссылаться в этом случае на А. М. Ремизова, отметившего большую близость между сном и сказкой. Его замечания относятся к родственности этих двух стихий, но не к отождествлению их друг с другом. Сон в конце концов явление нашего мира. Сколько бы ни погружаться в сны, они всегда будут видением на экране, а не трехмерным реальным миром. Обаяние же сказки в том, что она есть мир, а не видение.

Объяснение сказочного посредством сна возникло в эпоху реализма и означает робость рассказчика перед трезвым позитивным духом времени. То был компромисс между сказочником и писателем-реалистом. Сейчас как будто настало время выйти из этого унизительного положения и повествовать о чудесном без реалистической мотивировки. Для писателей-сказочников это верный путь к успеху.

Н. Ульянов

письмо в редакцию

Необходимые исправления

В статье В. Маркова о Моцарте (в 44-й книге «Нового Журнала») меня особенно поразили две ошибки, которые, на мой взгляд, нельзя оставить без исправления.

- 1. В. Марков утверждает (стр. 102), что «Пушкин не ценил Расина». Это совершенно неверно: Пушкин ценил Расина чрезвычайно высоко. Я не буду останавливаться на отдельных замечаниях, которые на первый взгляд могут казаться пренебрежительными («бессмертный подражатель», «кто напудрил и нарумянил Мельпомену Раскна»), каковыми они на самом деле отнюдь не являются. Как Пушкин оценивал Расина, яснее всего выражено в его неоконченной статье «О народной драме и драме 'Марфа Посадница'» (написана осенью 1830 г.). В этой статье Пушкин пишет: «Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места, то и тут мы увидим, что величайшие драматические писатели не повиновались сему правилу». Кого же Пушкин считал величайшими драматическими писателями? Он продолжает: «У Шекспира римские ликторы сохраняют обычаи лондонских алдерманов. У Кальдерона храбрый Кориолан вызывает консула на дуэль и бросает ему перчатку. У Расина полускиф Ипполит говорит языком молодого благовоспитанного маркиза («напудренная Мельпомена»! Ю. Д.)... Со всем тем, Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосягаемой и их произведения составляют вечный предмет наших изучений и восторгов».
- 2. В. Марков сравнивает (стр. 94) «Лакримозу» в «Реквиемах» Верди и Моцарта. По єго словам, у Верди «начинается красивее, мелодически прочнее и роскошнее, но через несколько тактов Верди уже не знает, что делать с мелодией; а Моцарт как раз в развитии и показывает, на что он способен». Но «как раз» в «Лакримозе» Моцарт этого и не показывает, потому что в ней именно развитие написано не им, а Зюсмайром, который после смерти Моцарта закончил оставшийся неоконченным «Реквием». Самому

Моцарту в «Лакримозе» принадлежат только первые восемь тактов. Выдающийся музыковед Альфред Эйнштейн в своей знаменитой книге о Моцарте (стр. 403 немецкого издания) называет это начало «Лакримозы» Моцарта «страшным крещендо..., которое Моцарт несомненно развил бы шире, чем это сделал Зюсмайр». Но В. Марков хотел побить бедного Верди именно этим зюсмайровским «развитием»!

Ю. Денике

ИСПРАВЛЕНИЯ

В № 45 «Нов. Журн.» в «Комментариях» М. Карповича надо сделать следующие исправления: стр. 276, 8-я строка сверху, напечатано «на общественную сцену», нужно «на общеевропейскую»; стр. 277, 2-я строка снизу, после слов «И разве» пропущены слова «В его глазах»; стр. 281, 3-я строка сверху, нужно читать «бросится к демосу».

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА ОТ ИЗД-ВА ИМ. ЧЕХОВА

- Н. ГОРЧАКОВ История советского театра. Н. И. 1956.
- С. МАКСИМОВ Бунт Дениса Бушуега. Н. И. 1956.
- ФЕДОР СТЕПУН Бывшее и несбывшееся. Н. И. 1956.
- В. РОЗАНОВ Избранное. Под ред. Ю. Иваска. Н. И. 1956.
- С. Г. ПУШКАРЕВ Россия в XIX веке (1801-1914). Н. И. 1956.
- Г. СТРУВЕ Русская литература в изгнании. Н. И. 1956.
- Ю. АРБАТСКИЙ Этюды о русской музыке. Н. И. 1956.
- С. Л. ФРАНК Биография П. Б. Струве. Н. И. 1956.
- ГРИГОРИЙ ЗАБЕЖЕНСКИЙ *Стихи*. Кн. 2. Изд. «Кремень». Н. И. 1956.
- С. ВЕРБОВ По Днепру через пороги. Из воспоминаний. Париж. 1956.
- СЕРГЕЙ ЛЕСНОЙ История «Руссов» в неизвращенном виде. Кн. I, II, III, IV, V. Париж. 1953-1954-1955.
- НИКОЛАЙ ВОДНЕВСКИЙ Голубой родник. Стихи и рассказы. Виннипег. 1956.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1955 ГОД

КНИГА 44-я. ПРОЗА: Мих. Иванников — Правила игры. Г. Альтшуллер — Дело Тверитинова. В. Яновский — Болезнь. СТИХИ: Георгий Иванов — Дневник; Вл. Корвин-Пиотровский — Заклинания; Игорь Северянин — Очаровательные разочарования; Лидия Алексеева, Кира Славина. ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО: Г. Адамович — Наследство Блока. В. Марков — Моцарт. Е. Каннак — Неизвестная пьеса А. Чехова. ВОСПОМИНАНИЯ и ДОКУМЕНТЫ: Ек. Кускова — Давно минувшее. Г. Андреев — Трудные дороги. А. Бургина — Неизданные письма Софии Ковалевской. ПОЛИТИКА и КУЛЬТУРА: М. Вишняк — Мемуарист, историк, политик, человек в «Воспоминаниях» П. Н. Милюкова. Н. О. Лосский — Мысли Н. А. Бердяева о назначении человека. А. Добровольский — Фиктивные и действительные закономерности. С. Шварц — ХХ-й съезд КПСС. О. Анисимов — Большая стратегия советской внешней политики. М. Карпович — Комментарии: 1) Постскриптум к статье О. Анисимова, 2) К нашим читателям. БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Ульянов — Книга о В. Э. Мейерхольде. А. Гольденвейзер — R. Maurach. Handbuch der Sowjetverfassung. Р. Плетнев — Ю. Сазонова. История русской литературы. Ю. Денике — В. Варшавский. Незамеченное поколение. В. Варшавский — С. Жаба. Русские мыслители о России и человечестве. М. Добужинский — С. Маковский. Портреты современников. В. Эфер. — Ал. Браиловский. Дорогою свободной. Роман Гуль — Б. Ольшанский. Мы приходим с востока.

Книга 45-я. ПРОЗА: Е. Гагарин — Охота на гусей. И. Одоевцева — Когда бушевала буря. Л. Ржевский — Человек, которому было всё равно. СТИХИ: А. Величковского, В. Злобина, О. Ильинского, И. Одоевцевой, Ю. Одарченко, И. Легкой, А. Шишковой. ЛИТЕ-РАТУРА И ИСКУССТВО: Дм. Чижевский — Шиллер в России. 3. Юрьева — И. Анненский о Гоголе. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУ-МЕНТЫ: Ек. Кускова — Давно минувшее. Н. Валентинов — Встречи с Андреем Белым. Б. Фондан — Разговоры с Львом Шісстовым. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Г. Андреев — Иные времена. Н. Тимашев — Очернение Сталина. Ю. Денике — Проблемы коллективной диктатуры. Н. Ульянов — Комплекс Филофея. М. Карпович — Комментарии: 1) О русском мессианстве, 2) Достоєвский, Белинский, Шиллер. БИБЛИОГРАФИЯ: К. Солнцев — I. Fedorov's Primer of 1574. Роман Гуль — Кн. Сергей Щербатов. Художник в ушедшей России. М. Коряков — С. Максимов. Бунт Дениса Бушуева. Е. Климов — А. Бенуа. Жизнь художника.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1956 году выйдет ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу, т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки, в Бразилии — 40 крузейро

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»: The New Review, Inc., 223 West 105th Street, New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня